

Чеслав Милош

Долина Иссы

I

Начать нужно с описания Озерного края, в котором жил Томаш. Эта часть Европы долго была покрыта ледником, и в пейзаже ее чувствуется суровость севера. Земля здесь в основном песчаная и каменистая, пригодная только для картошки, ржи, овса и льна. Это объясняет, почему человек не уничтожил леса, которые несколько смягчают климат и защищают от ветров с Балтийского моря. Преобладают в них сосна и ель, есть березы, дубы и грабы, но совсем нет буков — граница их распространения проходит гораздо южнее. По лесам здесь можно ходить долго, не утомляя глаз, потому что у сообществ деревьев, как у человеческих городов, есть свои неповторимые особенности: они образуют острова, полосы, архипелаги, тут и там отмеченные какой — нибудь дорогой с колеями в песке, домиком лесника или старой смоловарней, чьи разваливающиеся печи оплетены растительностью. И всегда рано или поздно с пригорка открывается голубая гладь озера с белым, едва различимым пятнышком чомги, с вереницей уток, летящих над камышами. На болотах здесь водится бесчисленное множество птиц. Весной в здешнем бледном небе висит накатывающий волнами гул, «ва-ва-ва» бекасов — так шумит воздух в их рулевых перьях, когда они совершают свои монотонные пируэты, означающие любовь. Этот слабый гул, бормотание тетеревов, будто где — то далеко кипит горизонт, и кваканье тысяч лягушек в лугах (от их числа зависит число аистов, вьющих гнезда на крышах изб и овинов) — таковы голоса той поры, когда после бурного таянья снегов цветут калужница и волчье лыко — мелкие лилово-розовые цветочки на безлистных еще кустах. Два времени года присущи этому краю, словно он создан для них: весна и осень — долгая, чаще всего погожая, полная запаха мокнущего льна, стука трепалок и доносящегося издалека эха. Гусей охватывает тогда беспокойство: они неловко срываются с места, желая взвиться в небо вслед за перекликающимися в вышине дикими братьями; порой кто-нибудь приносит домой аиста с переломанным крылом: это тот, что спасся от клювов блюстителей закона, предающих смерти неспособного лететь к Нилу товарища; люди рассказывают, что где-то в округе волк утащил кабанчика; в лесах слышится музыка охотничьих собак: сопрано, бас и баритон лают на бегу, гоня зверя, и тембр лая выдает, по чьему следу они идут — зайца или косули.

Фауна здесь смешанная, еще не вполне северная. Попадают белые куропатки, но есть и серые. У белки зимой мех становится дымчатым. Есть два вида зайцев — один обыкновенный, русак, который зимой и летом выглядит одинаково. Второй, беляк, меняет шерсть и становится неотличим от снега. Такое сосуществование видов дает ученым пищу для размышлений, но дело осложняется еще и тем, что, как говорят охотники, у русака есть две разновидности: полевая и лесная, которая иногда скрещивается с беляком.

До недавнего времени местные жители производили дома всё, что им было необходимо. Они носили грубое полотно — женщины раскладывали его на траве и поливали водой, чтобы оно побелело на солнце. Поздней осенью, когда наступала пора сказок и песен, пальцы под мерный стук прялки тянули из кудели пряжу. Из этой пряжи хозяйки ткали на домашних станках сукно, ревниво оберегая секреты рисунка: в елочку, в клеточку, такой цвет в основу, такой — в уток. Ложки, кадки и все нужные в хозяйстве вещи вырезали из дерева, как и башмаки. Летом носили большей частью лапти из липового лыка. Только после Первой мировой войны стали появляться кооперативные молокозаводы, пункты хлебо — и мясозаготовки, а потребности деревенских жителей начали меняться.

Избы здесь строят из дерева и кроют не соломой, а гонтом. Журавли — поперечная жердь с грузом на одном конце, опирающаяся на раздвоенный столб, — служат, чтобы вытаскивать ведро из колодца. Гордость местных хозяек — маленькие палисадники перед домом. В них выращивают георгины и мальвы — цветы, которые разрастаются вдоль всей стены, а не украшают одну лишь землю, так что из-за забора не видно.

От этой общей картины перейдем к долине реки Иссы, которая во многих отношениях необычна для Озерного края. Исса — река черная, глубокая, с ленивым течением и берегами, густо поросшими лозняком; кое-где ее поверхность еле видна из-под листьев водяных лилий; она вьется среди лугов, а поля, раскинувшиеся на пологих склонах по обоим ее берегам, отличаются плодородной почвой. Долина известна редким у нас черноземом, буйными садами и, быть может, отрезанностью от мира, которая никогда не представлялась здешним жителям обременительной. Деревни здесь зажиточнее, чем в других местах. Лежат они либо по сторонам большой дороги, идущей вдоль реки, либо выше, над ней, на косогорах, и вечерами глядят друг на друга огоньками окон через пространство, которое, как резонатор, повторяет стук молотка, лай собак и голоса людей, — может, потому долина так славится своими старыми песнями, которые здесь поют, раскладывая на голоса, не в унисон, стараясь победить соперников из деревеньки напротив более красивым медленным угасанием фразы. Собиратели фольклора записали на берегах Иссы много сюжетов, восходящих к языческим временам, — как, например, рассказ о Месяце (у нас это мужчина), покидающем супружеское ложе, где он спал со своей женой — Солнцем.

II

Особенность долины Иссы — большее, чем в других местах, количество чертей. Может быть, трухлявые ивы, мельницы и заросли по берегам особенно удобны для существ, которые показываются людям, только когда сами того пожелают. Видевшие их говорят, что черт невысок, ростом с девятилетнего ребенка, носит зеленый фрак, жабо и белые чулки, волосы заплетает в косицу, а в башмаках с высокими каблуками пытается скрыть копыта, которых стесняется. К этим рассказам следует относиться с некоторой осторожностью. Весьма вероятно, что черти, зная суеверный трепет народа перед немцами — людьми торговыми и учеными, — стараются придать себе серьезности, одеваясь как Иммануил Кант из Кенигсберга. Недаром на берегах Иссы нечистую силу называют еще «немчиком» — имеется в виду, что черт стоит на стороне прогресса. Однако трудно предположить, что они носят такие костюмы ежедневно. Например, их любимая забава — пляски в осетях,¹ пустых сараях, где треплют лен, обычно стоящих в стороне от построек: как же им во фраках поднимать клубы пыли и кострики,² не заботясь о сохранении приличного вида? И почему, если им дано своего рода бессмертие, они должны выбрать именно костюм XVIII века?

Толком неизвестно, до какой степени они могут менять обличье. Когда вечером накануне дня святого Андрея девушка зажигает две свечи и смотрит в зеркало, она может увидеть будущее: лицо мужчины, с которым будет связана ее жизнь, а иногда лицо смерти. Черт ли так рядится, или тут действуют другие магические силы? И как отличить существ, появившихся здесь с приходом христианства, от других, прежних местных жителей: от лесной колдуньи, подменяющей детей в колыбелях, или от маленьких человечков, выходящих ночью из своих дворцов под корнями черной бузины? Есть ли между чертями и прочей тварью какой-то сговор, или они просто живут друг возле друга, как сойки, воробьи и вороны? И где тот край,

¹ Осеть (польск. osiec) — сушильня, в частности для льна. Здесь и далее, если не указано иначе, примечания переводчика.

² Коприка (костра) — жесткая часть стебля волокнистых растений (льна, конопли и др.), раздробляемая и отделяемая от волокна при трепании, чесании и т.п.

куда прячутся те и другие, когда землю давят гусеницы танков, у реки копают себе неглубокие могилы приговоренные к расстрелу, а среди крови и слез, в ореоле Истории, встает Индустриализация? Можно ли представить себе съезд в пещерах — глубоко в недрах земли, где уже жарко от огня жидкого центра планеты, — на котором сотни тысяч маленьких чертей во фраках серьезно и с грустью слушают ораторов, выступающих от имени центрального комитета ада? Вот ораторы возвещают, что в интересах общего дела пора перестать резвиться в лесах и лугах, что момент требует иных средств, и отныне высококвалифицированные специалисты будут действовать так, чтобы умы смертных не подозревали об их существовании. Раздаются аплодисменты, но вынужденные, ибо слушатели понимают, что нужны были только в подготовительный период, что прогресс загоняет их в мрачную бездну, и не видать им больше закатов солнца, летящих зимородков, искрящихся звезд и всех чудес необъятного мира.

Крестьяне из долины Иссы ставили на пороге избы мисочку с молоком для неядовитых водяных ужей, не боящихся людей. Потом они стали ревностными католиками, и присутствие чертей напоминало им о брани, ведущейся за окончательное господство над человеческой душой. Кем станут они завтра? Рассказывая, не знаешь, какое выбрать время — настоящее или прошедшее, — как будто то, что минуло, остается еще не совсем минувшим, пока хранится в памяти — поколений или одного летописца.

Может, черти облюбовали Иссу из-за ее воды? Говорят, она обладает свойствами, влияющими на нрав людей, которые рождаются на этих берегах. Они склонны к эксцентричному поведению, далеки от спокойствия, а их голубые глаза, светлые волосы и грузноватое телосложение — лишь обманчивая видимость нордического здоровья.

III

Томаш родился в Гинье на берегу Иссы в ту пору, когда спелое яблоко со стуком падает на землю в послеполуденной тишине, а в сенах стоят кадки с коричневым пивом, которое здесь варят после жатвы. Гинье — это прежде всего гора, поросшая дубами. В том, что на ней построили деревянный костел, кроется замысел врага старой религии или, возможно, желание перейти от старой к новой без потрясений: когда-то на этом месте совершали свои обряды жрецы бога громов. Если опереться на каменную ограду, то с лужайки перед костелом можно увидеть внизу петлю реки, паром, перевозящий тележку, медленно движущийся вдоль каната, который мерно тянет рука паромщика (здесь нет моста), дорогу, крыши между деревьями. Немного в стороне стоит плембания³ с серой крышей из деревянного гонта, похожая на ковчег с картинки. Поднявшись по ступенькам и нажав ручку, ступаешь на пол из стершихся кирпичиков, уложенных наискось, елочкой; свет падает на них сквозь зеленые, красные и желтые стеклышки, приводящие в восторг детей.

Среди дубов, на склоне — кладбище, а на нем, в квадрате цепей, соединяющих каменные столбики, лежат предки Томаша из семьи его матери. С одной стороны к кладбищу примыкают покатые увалы, где летом ящерики вышмыгивают из-под листьев чабера. Это Шведские валы. Их насыпали либо шведы, приплывавшие сюда из-за моря, либо те, кто с ними сражался; иногда здесь находят обломки доспехов.

За валами начинаются деревья парка; по его краю проходит дорога, очень крутая, которая в распутицу превращается в русло потока. У дороги из таинственных зарослей терновника торчит перекладина креста. Чтобы добраться до него, нужно пройти по траве на остатках ступеней, и тогда внизу обнаруживается круглая ямка родника; лягушка таращит глаза из-под края, а встав на колени и отодвинув ряску, можно долго всматриваться в вертящийся на дне водяной шарик. Ты задираешь голову, и глазам твоим предстает поросший мхом деревянный Христос. Он сидит в чем-то вроде часовенки, одну руку положил на колени,

³ Дом священника.

а на другую опирается подбородком, ибо Он печален.

От дороги аллея ведет к дому. Словно туннель — так густы здесь липы — она спускается к пруду возле свирна.⁴ Пруд зовется Черным, потому что до него никогда не дотягиваются солнечные лучи. Ночью ходить сюда страшно; здесь не раз видели черную свинью, которая хрюкает, топает копытцами по тропинкам, а когда ее перекрестишь, исчезает. За прудом аллея опять идет вверх, и внезапно глазам открывается яркость газона. Дом — белый и такой низкий, что кажется, будто крыша, тут и там поросшая мхом и травой, придавливает его. Дикий виноград, чьи ягоды вызывают оскмину, оплетает окна и две колонны крыльца. Сзади пристроен флигель — туда все переезжают на зиму, так как старый дом гниет и разваливается от влаги, проникающей из-под пола. Во флигеле много комнат — в них стоят прялки, ткацкие станки и прессы для валки сукна.

Колыбель Томаша находилась в старой части дома, со стороны сада, и первым звуком, который его приветствовал, были, должно быть, крики птиц за окном. Научившись ходить, он потратил немало времени на обследование комнат и закоулков. В столовой он боялся приближаться к клеенчатому дивану — не столько из-за портрета сурово смотрящего человека в доспехах с краешком пурпурного одеяния, сколько из-за двух страшно искривленных глиняных рож на полке. В ту часть, которую называли «гостиной», он не заходил никогда и, даже немного подросши, чувствовал себя там неуютно. В «гостиной» за сенями всегда было пусто, в тишине паркет и мебель сами собой поскрипывали, и было ясно, что там кто-то незримо присутствует. Больше всего он желал оказаться в кладовке, что случалось редко. Тогда рука бабки поворачивала ключ в красной крашеной дверце, и из кладовки вырывался запах. Сначала запах копченой колбасы и ветчины, которые висели под потолочными балками, но с ним смешивался другой аромат — из ящичков, висевшихся один над другим вдоль стен. Бабка выдвигала ящички и разрешала их нюхать, объясняя: «Это корица, это кофе, это гвоздика». Выше — там, куда могли дотянуться только взрослые, — блестели вожеленные кастрюльки темно-золотого цвета, ступки и даже меленка для миндаля, а еще мышеловка — жестяная коробочка, на которую мышь могла забраться по мостику, вырезанному лесенкой, а когда она притрагивалась к сыру, открывалась западня, и мышь падала в воду. Маленькое оконце кладовки было зарешечено, и, помимо запаха, здесь царили прохлада и тень. Еще Томаш любил комнату со стороны коридора, возле кухни, где часто сбивали масло. Он принимал в этом участие — ведь это так забавно: двигать мутовкой вверх-вниз, когда в отверстии шипит пахта; правда, ему это быстро надоело — надо долго работать, прежде чем, подняв крышку, увидишь, что крестовину мутовки облепили желтые комки.

Дом, фруктовый сад за ним и газон перед ним — вот что поначалу знал Томаш. На газоне три агавы — большая посередине и две поменьше по бокам — распирала кадки, на которых оставляла следы, повыше и пониже, ржавчина обручей. До этих агав дотягивались верхушки елей, росших внизу, в парке, а между ними — мир. Можно было сбегать вниз, к реке и в село — сначала только когда Антонина шла стирать, оперев на бедро лохань с бельем, на которой лежал валеk или, как его еще называют, пральник.

IV

Предки Томаша были панами. Как это получилось, никто уже не помнит. Они носили шлемы и мечи, а жители окрестных деревушек должны были работать на их полях. Их богатство измерялось не столько площадью земель, сколько числом душ, то есть крепостных. Когда-то, давным-давно, деревни платили им только оброк натурой; потом оказалось, что зерно, которое грузят на барки и отправляют к морю по реке Неман, приносит хорошую прибыль и, стало быть, выгодно вырубать лес под пашни. Тогда случалось, что принуждаемые к работе люди поднимали бунты и убивали панов, а предводительствовали ими старики,

⁴ Свирон (род свирна) — в северо-восточной Польше, Литве и западной Белоруссии амбар.

ненавидевшие и панов, и христианство, принятое в то самое время, когда свободе пришел конец.

Томаш родился, когда усадьба уже клонилась к упадку. Угодий осталось немного, и на них пахали, сеяли и косили несколько батрацких семей. Платили им в основном картофелем и зерном, и этот годовой паек записывали в книги как натуроплату. Кроме них держали еще немногочисленную челядь, кормившуюся «с господского стола».

Дед Томаша, Казимир Сурконт, ничем не напоминал тех мужчин, которые когда-то занимались здесь в основном отбором верховых лошадей и спорами об оружии. Невысокий, несколько грузный, чаще всего он сидел в своем кресле. Когда он дремал, подбородок упирался в грудь, седые пряди, зачесанные на розовую лысину, соскальзывали на лоб, а на шелковом шнурке свисало пенсне. Лицо у него было гладкое, как у ребенка (только нос от холода часто приобретал цвет сливы), глаза — голубые, с красными прожилками. Он легко простужался и открытому пространству предпочитал свою комнату. Дед Сурконт не пил, не курил и, хотя ему следовало бы носить сапоги и даже шпоры, чтобы в случае нужды ехать в поле, ходил в длинных, вытянутых на коленях брюках и шнурованных башмаках. В усадьбе не было ни одной охотничьей собаки, хотя во дворе возле конюшни чесалась и выкусывала блох целая свора разных Жучек, свободных от каких бы то ни было обязанностей. Не было и ни одного ружья. Превыше всего дед Сурконт ценил спокойствие и книги по растениеводству. Быть может, к людям он тоже относился немного как к растениям: человеческие страсти с трудом выводили его из состояния равновесия. Он старался понять других, и его «чрезмерная доброта» в сочетании с нелюбовью к картам и шуму отталкивала от него соседей. Говоря о дедушке, они пожимали плечами, не будучи в состоянии упрекнуть его в чем — то определенном. Любого приезжего пан Сурконт принимал, оказывая ему почести, совершенно не соответствовавшие рангу и должности. Все знают, что со шляхтичем, евреем и мужиком надо обходиться по-разному, а он отступал от этого правила даже в отношении ужасного Хаима. Каждые несколько недель Хаим появлялся на своей бричке и с кнутом в руке, в черном кафтане, с пузырями штанов, спускавшимися на голенища, вступал в дом. Борода его торчала, как опаленное огнем полено. Он заводил разговор о ценах на рожь и телят, но это было лишь преддверие взрыва. Тогда, вопя и жестикулируя, он бегал за домочадцами по всем комнатам, рвал на себе волосы и клялся, что обанкротится, если заплатит, сколько они требуют. Кажется, не разыграв этого отчаяния, он уезжал бы с чувством, что не выполнил всех обязанностей хорошего торговца. Томаша удивляло внезапное прекращение воплей. На лице Хаима уже было нечто вроде улыбки, и они с дедом сидели, дружески беседуя.

Доброжелательность к людям вовсе не означала, что Сурконт был склонен к уступкам. Давние обиды между усадьбой и селом Гинье миновали, а земельные участки располагались так, что повода для ссор не было. Другое дело — деревенька Погиры с противоположной стороны, на краю леса. Она вела непрерывные споры о правах на пастбища, и давалось ей это с трудом. Крестьяне сходились, разбирали дело, их гнев нарастал, и они выбирали делегацию старейшин. Однако, когда старейшины садились с Сурконтом за стол, на котором стояла водка и лежали ломти ветчины, вся подготовка шла насмарку. Дед поглаживал тыльную сторону ладони и не спеша, дружелюбно объяснял. Чувствовалась в нем уверенность человека, который просто старается разобраться — чтобы было по справедливости. Старейшины поддакивали, смягчались, заключали новый уговор и только по дороге домой вспоминали всё, чего не сказали, и злились, что Сурконт снова околдовал их, и придется им краснеть перед деревней.

В молодости Сурконт учился в городе, читал книги Огюста Конта и Джона Стюарта Милля, о которых на берегах Иссы, кроме него, мало кто слышал. Из его рассказов о тех временах Томаш запомнил в основном описание балов, на которые мужчины надевали фрак. У деда и его приятеля фрак был на двоих, и пока один из них танцевал, другой ждал дома, а через несколько часов они менялись.

Из двух дочерей Хелена вышла замуж за местного арендатора, а Текла — за горожанина; она и была матерью Томаша. Случалось, что она приезжала в Гинье на несколько месяцев, но

редко, ибо сопровождала мужа, которого носили по белу свету поиски заработка, а потом война. Для Томаша она была слишком красива, чтобы с этим можно было что — либо сделать, и, глядя на нее, он сглатывал слюнки от любви. Отца он почти не знал. Женщины вокруг него — это Поля, когда он был совсем маленьким, а затем Антонина. Полю он ощущал как белизну кожи, лен, мягкость и в дальнейшем перенес свою симпатию на страну, название которой звучало похоже: Польша. Антонина выпячивала живот в полосатом переднике. На поясе она носила связку ключей. Смех ее напоминал ржание, а в сердце она прятала дружелюбие к каждому. Говорила она на мешанине двух языков, то есть литовский был ее родным языком, а польский — приобретенным. Ее польский звучал, как об этом свидетельствует, например, такой зов доброты: «Томаш, пади сюда, я тебе дам кампитюр».

Томаш очень любил деда. От него приятно пахло, а седая щетина над верхней губой щекотала щеку. В маленькой комнате, где он жил, над кроватью висела гравюра, изображавшая людей, которых привязывали к столбам, а другие полуголые люди подносили к этим столбам факелы. Одним из первых упражнений Томаша в чтении были попытки сложить по слогам подпись: «Факелы Нерона». Так звали жестокого царя, но Томаш дал это имя одному из щенков, потому что взрослые, заглядывая ему в пасть, говорили, что у него черное небо и значит, он будет злой. Нерон вырос и не выказывал признаков злобы, зато отличался ловкостью. Он съедал сливы, упавшие с дерева, а когда не находил их, умел упираться лапами в ствол и трясти. На столе у деда лежало множество книг; на картинках в них можно было рассматривать корни, листья и цветы. Иногда дед вел Томаша в «гостиную» и открывал рояль с крышкой цвета каштана. Пальцы, как бы опухшие, сужающиеся на концах, бегали по клавишам; это движение удивляло, и удивляли сыпавшиеся капли звука.

Часто можно было видеть, как дед советуется с управляющим. Это был пан Шатыбелко, носивший бородку на две стороны, которую он разглаживал и раздвигал во время разговора. Он был маленького роста, ходил на согнутых ногах, а сапоги, чьи голенища были слишком широкими, с него сваливались. Шатыбелко курил непомерно большую трубку: ее чубук загибался вниз, чаша закрывалась металлической крышкой с дырочками. Его комната в конце здания, где размещались конюшня, каретная и людская, зеленела от кустиков герани в горшках и даже в жестяных кружках. Все стены были увешаны святыми образами, которые его жена Паулина украшала бумажными цветами. За Шатыбелко всюду семенил песик Мопсик. Когда хозяин засиживался в дедушкиной комнате, Мопсик ждал его во дворе и беспокоился, так как среди больших собак и людей нуждался в ежесекундной опеке.

Гости — за исключением таких, как Хаим или крестьяне по разным делам, — появлялись не чаще раза-двух в год. Сам хозяин их не ждал, но и не был им не рад. Однако почти каждое их появление портило настроение бабке Сурконтовой.

V

От бабки Михалины, или Миси, Томаш ни разу не получил ни одного подарка. Она не интересовалась им совершенно, зато какая это была личность! Она хлопала дверьми, всех бранила, ей не было дела до людей и до того, что они думают. Когда она злилась, то запиралась у себя на целые дни. Томаша, когда он был возле нее, охватывала радость — та самая, какую испытываешь, встретив в чаще белку или куницу. Как и они, бабушка Мися была лесным существом. На их мордочки было похоже ее лицо с большим прямым носом между щеками, которые так выдавались вперед, что еще немного — и он исчез бы между ними. Глаза — как орехи, волосы темные, гладко зачесанные; здоровье, чистота. В конце мая она начинала свои походы к реке, летом купалась по нескольку раз в день, осенью пробивала пяткой первый лед. Зимой она тоже посвящала много времени всевозможным омовениям. Не меньше заботилась она и о чистоте в доме, а точнее, лишь в той его части, которую считала своей норкой. Помимо этого никаких других потребностей у нее не было. За стол бабка с дедом и Томаш садились вместе редко, ибо Мися не признавала регулярного питания, полагая, что этого одна морока. Когда ей приходила охота, она бежала на кухню и уминала целые крынки простокваши, заедая

ее солеными огурцами или холодцом с уксусом — бабка Мися обожала острое и соленое. Эта нелюбовь к ритуалу тарелок и блюд — когда приятнее забраться в угол и подеять, чтоб никто не видел, — была следствием ее убеждения, что церемонии только понапрасну отнимают время, а также скупости. Что касается гостей, то ее раздражало, что их надо развлекать, когда нет настроения, и кормить.

Она не носила кофточек, шерстяных нижних рубашек и корсетов. Зимой ее любимым занятием было становиться возле печи, задирая юбку и греть задницу — эта поза означала, что она готова к разговору. Такой вызов приличиям очень импонировал Томашу.

Раздражение бабушки Миси, вероятно, оставалось на поверхности, а в глубине души, тайно, она покатывалась со смеху и, предоставленная самой себе, отгородившись равнодушием, должно быть, всю развлекалась. Томаш догадывался, что она сделана из твердого материала и что тикает в ней какая-то не требующая завода машинка, вечный двигатель, не нуждающийся во внешнем мире. Она прибегала к разным хитростям, чтобы сворачиваться внутри себя клубком.

Интересовалась она прежде всего колдовством, духами и загробной жизнью. Из книг читала только жития святых, но, по-видимому, ее не занимало их содержание, а пьянил и приводил в мечтательное состояние сам язык, звучание благочестивых фраз. Никаких нравоучений Томаш от нее никогда не слышал. По утрам (если она показывалась из своего пахнущего воском и мылом логова) они с Антониной садились и толковали сны. При вести, что кто — то увидел чёрта или где-то по соседству дом не годился для жилья, потому что в нем звенели цепи и катились бочки, ее лицо озарялось улыбкой. Ее приводил в хорошее настроение любой знак с того света — доказательство, что человек на земле не один, а в компании. В разных мелких происшествиях она угадывала предостережения и указания Сил. Ибо в конечном счете важны знание и умение правильно себя вести — тогда окружающие нас Силы служат и помогут. Бабушке Мисе были так любопытны эти существа, которые роятся в воздухе вокруг нас и с которыми мы, сами того не ведая, ежесекундно соприкасаемся, что к бабкам, знающим тайны и заклятья, она относилась иначе, чем к другим, и даже давала им то отрез полотна, то кружок колбасы, чтобы развязать язык.

Хозяйством она занималась мало — ровно столько, чтобы контролировать, не выносит ли дед что — нибудь своим протеже, ибо он, боясь скандалов, подворовывал. Не оказывая никому услуг — чужие нужды были недоступны ее воображению, — не испытывая угрызений совести и не задумываясь ни о каких обязанностях перед ближними, она просто жила. Если Томашу удавалось застать ее в кровати, в отгороженной портьерой нише, возле скамеечки для молитвы с резным пюпитром и подушкой из красного бархата, он садился у нее в ногах и прислонялся к скрытым под шерстяным одеялом коленям (ватных одеял она не выносила); тогда вокруг ее глаз собирались морщинки, а яблоки щек выдавались вперед больше обычного, что означало дружелюбие и смешные рассказы. Иногда какой-нибудь шалостью он навлекал на себя ее ворчание, и она называла его паскудником и паяцем, но это его не смущало: он знал, что она его любит.

В воскресенье она надевала в костел темные блузки, застегивавшиеся под горло на английские булавки (над жабо), вешала на шею золотую цепочку со звеньями, похожими на булавочные головки, а медальон, который она разрешала открывать (в нем ничего не было), прятала в кармашек за поясом.

VI

Разнообразные Силы наблюдали за Томашем на солнце и среди зелени и оценивали его в меру своих знаний. Те из них, кому дано выходить за пределы времени, меланхолично кивали прозрачными головами, ибо способны были осмыслить последствия экстаза, в котором он жил. Силам этим известны, например, сочинения музыкантов, пытающихся выразить счастье, но такие попытки кажутся неуклюжими, когда присаживаешься на корточки у кровати ребенка, просыпающегося в летнее утро, а за окном слышен свист иволги, хор

кряканья, кудахтанья и гоготания со двора, и все эти голоса залиты светом, который никогда не кончится. Счастье — это еще и осязание: босыми пятками Томаш перебежал от гладкости досок пола к прохладе каменных плит коридора и округлости булыжников на дорожке, где подсыхала роса. И — надо иметь это в виду — он был одиноким ребенком в царстве, которое менялось по его воле. Черти, быстро съезживавшиеся и прятывшиеся под листьями, когда он подбегал, вели себя как куры, которые, всполошившись, вытягивают шею и таращат глупый глаз.

Весной на газоне появлялись цветы, которые называют ключиками св. Петра. Они радовали Томаша: трава однородно зеленая, и вдруг эта светлая желтизна на голом стебельке, действительно как связка маленьких ключей, и в каждом — небольшой красный глазок. Листья внизу сморщенные, приятные на ощупь, как замша. Когда на клумбах расцветали пионы, Антонина срезала их, чтобы отнести в костел. Он вперивал в них взгляд и хотел бы целиком войти в этот розовый дворец; солнце просвечивает сквозь стены, а на дне в золотой пылище копошатся жучки. Одного он как-то втянул в нос — так сильно нюхал. Подпрыгивая на одной ножке, он бежал за Антониной, когда та шла за мясом в вырытый в саду погреб. Они слезали вниз по приставной лестнице, и Томаш пальцами ног пробовал мороз от присыпанных соломой ледяных плит с Иссы. Наверху жара, а здесь всё по-другому — и кто бы там сверху догадался! Он не мог поверить, что погреб не тянется далеко, а кончается там, где стена укреплена каменной кладкой с влажными подтеками. Или улитки. Через мокрые после дождя дорожки они переправлялись с одного газона на другой, протягивая за собой след из серебра. Когда их брали в руки, они прятались в свой домик, но тут же высовывались снова, стоило сказать: «Улитка, улитка, высуну рога, дам тебе пирога». Если все это и доставляло взрослым удовольствие, то, как могли убедиться Силы, немного стыдное. Например, задумываться над белым колечком на домике улитки — это не для них.

Река казалась Томашу огромной. Над ней всегда разносилось эхо: пральники стучали «так-так-так»; откуда-то отзывались другие, словно был уговор, что они должны отвечать друг другу. Весь оркестр и стирающие женщины никогда не ошибались — если начинала новая, то сразу попадала в такт. Томаш забирался в кусты, залезал на ствол ивы и, слушая, целыми часами глядел на воду. По ее поверхности носились водомерки с водяными ямками вокруг ног, жуки — капли металла, такие скользкие, что вода их не берет, — исполняли свой танец по кругу, все время по кругу. В солнечном луче — леса водорослей на дне, между ними стоят косяки рыбок, которые разлетаются во все стороны и снова собираются — несколько движений хвостиком, разгон, несколько движений хвостиком. Иногда из глубины на свет выплывала большая рыба, и тогда сердце Томаша колотилось от волнения. Он подскакивал на своем стволе, когда на середине реки раздавался всплеск, что-то сверкало и расходились круги. Если проплывала лодка, это было необыкновенно: она появлялась и исчезала так быстро, что заметить удавалось немного. Рыбак сидел низко, почти на воде, загребал веслом с двумя лопастями, а за ним тянулась бечева.

Томаш рано смастерил себе удочку и был терпелив, но у него ничего не получалось. Лишь дети Акулонисов, Юзюк и Онуте, научили его правильно привязывать крючок В их избу на краю села он поначалу забегал на минутку, потом освоился, и, если не возвращался домой, все знали, где его искать. В полдень он получал деревянную ложку и садился вместе со всеми за стол, черпая, как другие, из общей миски бандуки⁵ со сметаной. Акулонис был большой, с такой плоской спиной, что Томаш дивился — он не знал никого, кто держался бы так прямо. Полотно штанов на икрах он обматывал оборами лаптей до самых колен. Рыбачил он увлеченно, но главное — у него был челнок За яблонями, возле свирна, земля спускалась к заливу, заросшему аиром. В этом аире челнок продавил след и лежал, наполовину вытянутый

⁵ Бандуки (от лит, *bandutes* — булочки, клецки) — вероятно, автор имеет в виду блюдо, некогда распространенное в окрестностях Кедайняя, квадратные булочки, пекущиеся из пшеничной муки и тертого вареного картофеля. Как правило, подаются со сметаной. Последняя жительница Шетеняя (деревни близ усадьбы, где родился Милош), умевшая готовить это блюдо, умерла в июне 2011 года.

на берег. Детям было запрещено сталкивать его на воду, поэтому они могли только изображать, что плывут, раскачиваясь на его конце. Он был шаткий, состоял из выдолбленного бревна и двух крыльев для равновесия. Акулонис плавал на нем ловить щук на блесну. Бечеву, которая разматывалась следом, он цеплял за ухо, чтобы сразу почувствовать рыбок. На ночь он ставил жерлицы и одну дал Томашу. Возле самого шестика была привязана лещиновая рогулька, на нее намотана бечева, которая защемлялась в расщепе, и дальше, на свободном конце — двойной крючок. В качестве живца лучше всего использовать маленького окуня, потому что если насадить его на крючок за спинку, разрезав ножиком кожу, он может ходить всю ночь. Другие рыбки не так живучи — слишком быстро умирают. Заслугу в случившемся следовало бы приписать Акулонису, который выбрал место и забросил удочку. Томаш не мог спать, вскочил спозаранку и сбежал к реке, когда еще стоял рассветный туман. Над розовой гладью, где клубился пар, он увидел рогульку — пустую. Он не верил, тянул, и бечева шла с трудом, что-то плескалось. Наверх он несся бегом, счастливый, чтобы всем показать рыбу величиной с руку. И точно, все сбежались и смотрели. Это была не щука, а какая-то другая рыба, и Акулонис объявил, что попадаетея она редко. Никогда прежде с Томашем не случилось ничего подобного, и он с гордостью рассказывал об этом еще несколько лет.

К жене Акулониса, белой, как Поля, он льнул, ища ее ласк. Разговаривали в избе по-литовски, и он даже не замечал, как переходил с одного языка на другой. Дети смешивали оба — разумеется, не там, где приличествует созывать друг друга веками устоявшимся кличем. Например, когда мальчишки бегут голые, чтобы бухнуться в воду, они не могут кричать ничего кроме: «Ej, Vugai!»,⁶ то есть: «Эй, мужчины!» Vir, как узнал Томаш впоследствии, по-латыни значит то же самое, но литовский, вероятно, старше латыни.

Однако лето проходит. Дожди, нос, расплющенный о стекло, пристаивания к взрослым. Вечерами на кухне, куда Антонина и другие девушки приходили прясть или лущить фасоль, царило ожидание новых рассказов, и отчаяние брало, если, как это иногда случается, что-нибудь портило удовольствие. Томаш слушал песни, а одна интриговала его особенно, потому что Антонина вела себя таинственно и говорила, что это не для него. При этом пела она только припев:

Платье по ветру струится.
Страшно ли тебе, девица?

а остальное он уловил урывками. Там было о рыцаре, который поехал на войну и погиб, а потом, став призраком, вернулся ночью к своей возлюбленной, посадил ее на коня и повез в замок. На самом же деле замка у него не было, а была только могила на кладбище.

Одна из девушек, со стороны Поневежа,⁷ часто повторяла песню, которая, как представлялось Томашу, была о плотниках, строящих дом:

Дайте мне расчет, пан мастяр,
Я работать ня иду.
Всё сполна мне заплатится,
Бо пора мне в дорогу.

и это последнее слово тянулось долго, чтобы показать, что дорога дальняя.

Чямадан я упаковал
И поставил за порог,

⁶ Так у автора. Правильно по-литовски пишется: "Ei, vugai"

⁷ Поневеж (ныне Паневежис) — город в северной Литве.

Касю крепко расцеловал,
Она горько слезы льет.

Веселее были короткие припевки, например такая:

Взял бутылку и картишки
И отправился в Гринкишки,
А потом пошел в Вайводу
Поискать жену молодую.
Цок-цок, мой конек,
На костеле галка.
Не пойду ни за кого,
Окромя Михалка.

Или:

Паненки, пляшится,
Башмачков не стопчитя.
— Дам их брату Кондрату,
Он поставит заплату,
А кудлатый мой псище
Башмачки мне отыщет.

В литье воска самый волнующий момент наступает, когда жидкий воск шипит в холодной воде и из него складываются фигуры Судьбы. Потом надо поворачивать их, рассматривая тени, пока собравшиеся охают и ахают, узнавая венки, зверей, кресты и горы. Впрочем, из-за гаданий на св. Андрея Томаш натерпелся страху. Смотреть в зеркало должны только девушки, причем серьезно, запершись в комнате в полночь. Он попытался сделать это ради шутки, при всех, и дело кончилось слезами, потому что в зеркале показались красные рога. Может, это вышивки на кофточках блеснули из-за спины — точно неизвестно, но еще долго он обходил всякое зеркало стороной.

Однажды зимой (а каждую зиму бывает то первое утро, когда ступаешь на выпавший ночью снег) Томаш видел на берегу Иссы горностаия или ласку. Мороз и солнце, ветки кустов на крутом противоположном берегу, как золотые букеты, подернутые кое-где серой и голубой синькой. Появляется балерина необыкновенной легкости и грации — белый серп, который гнется и распрямляется. Томаш глазел на нее с раскрытым ртом, остолбенев, и мучился от вожделения. Обладать. Если бы у него в руках было ружье, он бы выстрелил, потому что нельзя так стоять, когда восторг призывает навсегда сохранить порождающий его предмет. Но что бы тогда случилось? Ни ласки, ни восторга — мертвая вещь на земле. Оно и лучше, что у него только глаза вылезали из орбит, а больше он ничего не мог.

Весной, когда расцветала сирень, можно было снять ботинки и выворачивать ступни, потому что каждый камушек колелся словно гвоздь. Но вскоре кожа грубела, и до самых заморозков Томаш сбивал голые пятки на дорожках, а в воскресенье башмаки жгли его, и он избавлялся от них сразу после костела.

VII

Не всякий становится героем такого приключения, какое выпало на долю Пакенаса. Томаш всегда приближался к нему с благоговением. Пакенас, похожий на окуня, с острым блестящим носом, занимался тканьем на большом станке и обслуживал пресс, где домотканое сукно клали между двумя кусками картона, почерневшими от долгого использования и красителей. Окрестные жители часто приносили в усадьбу сукно для валки и прессовки.

Несмотря на то что упомянутое приключение случилось уже давно, память о нем сохранилась. К тому же было живое доказательство, что это не пустые слухи: Пакенас мог в любую минуту (хоть и неохотно) все подтвердить.

Это было связано с Леском — купой сосен недалеко от Иссы. В ветвях сосен гнездились грачи, с граем кружившие над верхушками. Лесок пользовался дурной славой. Когда-то в нем похоронили старого скердзя,⁸ то есть старшего пастуха, который поперхнулся сыром. Как это поперхнулся? — спрашивал Томаш. Ну, поперхнулся, обедая на выгоне, и, наверно, из-за необычной смерти его и не похоронили на кладбище. Кроме того, в Леске лежал сундук, зарытый армией Наполеона. Говорят, что когда копали могилу для скердзя, наткнулись на железное кольцо. Почему же тогда его не выкопали? Не смогли найти его край, не хватило времени и сил — объяснения были смутные.

Пакенас возвращался поздно, около полуночи, с вечерки на другом берегу реки. Он нашел спрятанный в кустах челнок и переправился. Однако едва он прошел несколько шагов по полю, как со стороны Леска к нему начал приближаться как бы столб пара. Он двинулся быстрее — столб за ним. Волосы встали у него дыбом, он бежал, а столб плыл позади, все время держась на одном и том же расстоянии. В гору к парку Пакенас скакал как заяц, и с ревом ужаса колотил в дверь Шатыбелко, ища спасения.

Некоторое смущение, с которым он об этом вспоминал, объяснялось событиями на вечерке. В появлении духа скердзя он усматривал наказание и знак — то есть, как это принято говорить, грешил суеверием. Если бы он, подобно своему брату, эмигрировал в Америку и гладил брюки в каком-нибудь ателье на унылой улице Бруклина, память о той ночи быстро бы стерлась — сначала он перестал бы рассказывать о ней другим, а потом и себе. То же самое случилось бы, если бы его взяли в армию. Но верхушки деревьев Леска, которые он видел каждый день, идя из своего жилища в свирне в комнату со станком, поддерживали связующую нить. Впрочем, напомним, что в обязанности летописца не входит сообщение подробностей обо всех героях, появляющихся в поле зрения. Никто не проникнет в эту жизнь, и упоминается она здесь лишь для того, чтобы отметить, что жил такой Пакенас, когда-то, в свое время, — гораздо позднее, чем многие мудрецы, писавшие, что ни призраков, ни богов не существует. Достаточно сказать, что излишняя совестливость и робость не позволили ему жениться, а когда девушки и Антонина корили его, что мол живет бобылем, Пакенас только шмыгал носом и ничего не отвечал.

Под жилеткой — белый треугольник рубахи, заканчивавшийся вышитым красным воротом, отсутствующее выражение лица и судорожность в движениях, когда на станке рвались нити. Кроме того, во власти Пакенаса был огромный ключ от свирна. Выходя, он прятал его в щель под деревянным порогом. Внутри — когда Томаш научился открывать усеянную железными шипами дверь — надо было идти по рассыпанной пшенице и черным крысиным катышкам, а в сусеках приятно было сесть на холодное зерно и засыпать себе ноги. На чердаке сквозь маленькое оконце (к нему вел туннель — такие толстые стены) можно было любоваться видом на всю долину. В комнате Пакенаса стояли мешки с мукой, кровать, над ней висел крест с оловянной миской для святой воды и заткнутое за перекладину креста кропило.

Иногда, играя с Юзюком и Онуте в поле, где паслись гуси, Томаш забегал на край Леска. Шум ветра наверху, птичий грай, внизу тишина — таинственно и неприятно. Раз, подбадривая друг друга, они добрались до самой могилы скердзя, заросшей густым малинником и крапивой. Так значит, из этой зелени поднимался привлеченный лунным светом белесый столб, блуждавший среди деревьев. Колыхались тогда листья крапивы или нет? — размышлял Томаш.

VIII

⁸ От лит. skerdzius — старший пастух.

В костел ходили через Шведские валы. Одетый в куртку из домотканого сукна, коловшуюся сквозь рубашку; Томаш следил за движениями министрантов⁹ в комжах.¹⁰ Им можно было подниматься по ступенькам прямо к сверкающему золотом алтарю, они махали кадилницами, без страха отвечали ксендзу и подавали ему кувшинчики с носиками, похожими на полумесяцы. Как такое возможно — ведь это те самые мальчишки, которые с криками бродят по воде, ловя раков, ерошат друг другу волосы и получают ремня от отца? Ему было завидно, что раз в неделю они становятся другими оттого, что все на них смотрят.

Несколько раз в году в Гинье устраивали ярмарку. Городские лоточники ставили свои полотняные палатки внизу, у дороги, прямо вдоль тропинки, спускающейся от дубов кладбища. Они продавали пряники-сердечки и глиняные свистульки-петушки, но взгляд Томаша притягивали фиолетовые, красные и черные квадратики скапуляриев¹¹ и связки четок — тут тебе и цвет, и множество мелких деталей.

Ни один праздник не мог сравниться с Пасхой — не только потому, что тогда можно тереть мак в макитре и выковыривать орехи из мазурок. В Страстную неделю в костеле, где образа были завешены черной тканью, а вместо колокольчиков глухо стучали колотушки, люди ходили смотреть Гроб Господень. Перед пещерой стояла стража, вооруженная пиками и алебардами, в посеребренных шлемах с гребнями и перьями. Иисус лежал на возвышении — тот же, что на большом распятии, только перекладина креста была прикрыта листьями барвинка.

Томаш всегда с нетерпением ожидал представления в Великую субботу. Пятнадцати — и шестнадцатилетние парни, которые задолго до того сговаривались и готовились, с воплями вбегали в костел, неся палки с привязанными к ним дохлыми воронами. Набожные старушки молились часами и, изнуренные строгим постом, склоняли головы все ниже. Мальчишки будили их от дремоты, подсовывая под нос ворону, или били ею людей, приносивших в узелках яйца, чтобы святить. На траве под деревьями мальчишки разыгрывали комедии. Больше всего Томашу нравились мучения Иуды. Он удирал, как мог, а его гоняли по кругу, осыпая бранью. Наконец он вешался, высывая язык. Когда его снимали с дерева, он был уже трупом, но разве такому можно позволить легко отделаться? Его переворачивали на живот, щипали, он стонал. Наконец с него снимали штаны, один из парней вставлял ему в зад соломинку и через эту соломинку вдыхал в него душу, пока Иуда не вскакивал, крича, что жив.

Когда Томаш стал постарше, Антонина и бабка Сурконтова стали брать его с собой на пасхальный крестный ход. После печальных песнопений и литаний хор гремел «аллилуйя», процессия трогалась, толкотня в дверях, а там, снаружи, еще темно, и ветер колыхал огоньки свечей. Наверху шевелятся ветви деревьев, холодно, уже начинает светать, переливающиеся платки женщин и непокрытые головы мужчин, шествие вокруг костела вдоль ограды из валунов — все это Томаш привык считать началом весны.

Потом наступали сонные праздничные разговоры, сладость булок и катание яиц. Каток

⁹ Министрант (от лат. *ministro* — служить, прислуживать) — алтарник.

¹⁰ Комжа (от лат. *camisia* — рубашка) — белое литургическое облачение с широкими рукавами, достигающее приблизительно до колен. Комжи могут носить министранты во время мессы, а также духовные лица в различных ситуациях.

¹¹ Скапулярий (от лат. *scapulae* — плечи, спина) — в католической традиции символ опеки Божьей Матери. Монашеский скапулярий (его носят, в частности, кармелиты и доминиканцы) представляет собой длинный широкий прямоугольный кусок ткани с прорезью для головы посередине, ниспадающий на грудь и спину (отсюда его название), достигающий, как правило, до голени и надеваемый поверх рясы. Скапулярий для мирян (о котором здесь и идет речь) — это два матерчатых (обычно шерстяных) прямоугольничка, соединенных двумя веревочками. Одна его часть носится на груди, вторая — на спине.

дети сооружали из дерна — внутри он был слегка вогнут и выложен кусочками жести для разгона. Нет двух яиц, которые катились бы одинаково; надо уметь угадать по форме, как яйцо покатится, если положить его на край желобка справа, как — если слева, как — если посередине. Вот уже почти-почти, вот оно докатывается до других яиц, разбросанных, как стадо коров, — сейчас стукнет и обогатит своего владельца. Но нет, раскачиваясь по какой-то своей прихоти, оно пронесится мимо на расстоянии пальца или останавливается, не докатившись.

На праздник Тела Господня костел был украшен гирляндами из дубовых и кленовых листьев. Они свисали с потолочных балок низко, над самыми головами. Цветы перед статуей Божьей Матери ставили еще в мае, но теперь они заслоняли собой весь алтарь. Детей собирали в ризнице и давали им корзиночки с лепестками роз или пионов. Бабка Сурконтова хотела, чтобы Томаш тоже участвовал в крестном ходе. Надо было идти спиной вперед перед балдахинном, под которым ксендз нес дароносицу, и внимательно смотреть, чтобы не споткнуться о камень и не упасть. На Тело Господне почти всегда жара, все вспотевшие и взволнованные от ношения феретронов¹² и хоругвей. Но это радостный праздник: свет, щебет ласточек, звон четверных колокольчиков, белое, красное и золото.

IX

По миру катилась великая война, и еще в самом ее начале Озерный край перестал принадлежать российскому императору, чьи войска были разбиты. Немцев Томаш видел только раз. Их было трое, на красивых конях. Они въехали во двор — Томаш сидел подле Гжегожуни, который был слишком стар, чтобы работать, и занимался плетением корзин. Молодой офицер с тонкой талией, румяный как барышня, соскочил с коня, похлопал его по шее и пил молоко из кварты. Вокруг него столпились женщины из людской, только Гжегожуня остался сидеть и не отнял ножа от лозы. Чтобы у мужчины была такая яркая одежда — как трава, — одно это удивляло. А на поясе у него висел огромный пистолет в кожаной кобуре, из которой торчала металлическая рукоять и внизу — длинный ствол. Томаш почти влюбился в его гибкость и во что-то неведомое. Офицер отдал кварту, вскочил на коня, козырнул и двинулся со своими солдатами обратно, мимо коровника, в липовую аллею.

О чем еще можно рассказать, так это о его судьбе, которая навсегда останется домыслом. Он обходил костел в Гинье и, опираясь на ограду, увлеченно рисовал в своем блокноте. Быть может, ему вспоминались подобные деревянные *Kirchen*, виденные до войны в Норвегии. А когда он поднимался и опускался в стремянах под скрип седельных ремней, то вдыхал запах лугов по берегам Иссы и думал о потрескавшейся земле на западном фронте, во Франции, где он еще недавно сражался. Он не заметил Томаша ни теперь, ни (почему бы нет?) двадцать лет спустя, когда в генеральской машине, полной пледов и термосов, упершись полным подбородком в ворот мундира, он ехал по улицам одного из городов Восточной Европы, только что захваченного армией Фюрера. Томаш (предположим) сжимал в карманах кулаки и не узнал в захватчике свою мимолетную любовь.

Единственным последствием войны для Гинья было то, что поездки в местечко¹³ лишились смысла — покупать там все равно было нечего. Это породило множество действий, крайне интересовавших Томаша. Например, мыловарение. В саду разжигали костер, на треножник ставили котел и в нем, затыкая носы, помешивали палкой коричневое месиво. Вонь вонью, но сколько же при этом было суеты, криков и обсуждений, хорошо ли получается

¹² Феретрон (от лат. *fero* — носить, *thronus* — престол) — переносной двусторонний образ в узорной раме, двусторонний рельеф или статуя святого. В католической традиции феретроны носят на специальных носилках во время крестного хода

¹³ Имеются в виду Кейданы (ныне Кедайняй)

мыло. Потом месиво затвердевало, и образовавшуюся массу резали на куски. Или изготовление свечей. Для этого использовали обрезанные бутылки, которые наполняли жиром, а в середину вставляли фитиль. Обрезать бутылку можно шнурком, смоченным в керосине: если обвязать шнурок и поджечь, стекло лопнет по кругу ровно в этом месте. Были закуплены и две карбидные лампы, форма и запах которых волновали Томаша. Вместо чая бабка Сурконтова сушила земляничные листья, мед заменял сахар. Впрочем, тогда она открыла сахарин и с тех пор сахаром уже никогда не пользовалась: сладко точно так же, да еще и дешевле.

Томаш должен был учиться, но дома никто не умел за это взяться, и его посылали в село, к Юзефу¹⁴ по прозвищу Черный. Он и правда был черный — брови как два жирных штриха, лицо худое, волосы слегка седеющие на висках. Жил он у своего брата и помогал ему в хозяйстве, но вдобавок занимался всякой всячиной: получал откуда-то книги, сушил растения между прижатыми доской обрывками газет, писал людям письма и рассказывал о политике. Когда-то он сидел в тюрьмах за эту политику и работал в городах, но одевался не по-городскому и вышивками на своих рубашках давал понять, что остался крестьянином. Он принадлежал к тому племени, которое современные летописцы окрестили националистами, — иными словами, жаждал трудиться во славу Имени. И здесь была загвоздка, причина его обид. Он-то, конечно, имел в виду Литву, а Томаша должен был учить читать и писать прежде всего по-польски. То, что Сурконты считали себя поляками, он расценивал как предательство — трудно найти более здешнюю фамилию. И ненависть к панам — за то, что они паны, сменившие язык, чтобы еще больше отгородиться от народа, и невозможность ненавидеть Сурконта, который именно ему доверил внука, и надежда, что он откроет мальчику глаза на величие Имени, — все эти смешанные чувства выражались в покашливании, когда Томаш листал перед ним хрестоматию. Бабка была очень недовольна этими уроками и братанием с «холопами»; она не допускала и мысли о существовании каких-то там литовцев, хотя ее фотография могла бы послужить иллюстрацией к книге о том, какие люди веками жили в Литве. Однако специально взять в дом учительницу казалось ей пустой причудой, и она, ворча, что ребенка охолопят, по необходимости мирилась с Юзефом. Томаш всех этих сложностей и трений не понимал, а когда понял, счел чем-то исключительным. Если бы он встретил маленького англичанина, росшего в Ирландии, или маленького шведа в Финляндии, то обнаружил бы с ними много общего, но земли за пределами долины Иссы окутывала мгла, и всё, что он знал, так это, пожалуй, то, что — по рассказам бабки — англичане едят на завтрак компот (за это он испытывал к ним симпатию), русские отправили дедушку Артура в Сибирь, а он должен любить польских королей, чьи могилы находятся в Кракове. Краков оставался для бабки прекраснейшим городом мира, и она обещала, что Томаш поедет туда, как только подрастет. В конечном итоге из этого ее патриотизма, обращенного куда-то вдаль, из терпимости деда, которому вопросы национальности были более или менее безразличны, из высказываний Юзефа: «мы», «наша страна» — в душе Томаша зародилось будущее недоверие, когда в его присутствии слишком много рассуждали о гербах и знаменах. Нечто вроде двойной привязанности.

Учеба у Юзефа затянулась в хаосе переходных лет, из которого вынырнула маленькая республика Литвы. Тогда стараниями Юзефа в Гинье началось строительство первой школы, где он стал учителем.

Однако пока что война только-только затухала, а ее время отличалось тем, что можно было увидеть внизу, на дороге — например, с ветхой скамейки на краю парка. Часто там проходили скитальцы, шедшие издалека, из-за озер, со стороны городов. Они бежали от голода, неся за плечами котомки и узелки, а часто — везя в деревянных колясках маленьких детей. Одна такая семья, состоявшая из матери и двоих мальчиков, приютилась в усадьбе при

¹⁴ Юзеф — польский вариант имени Иосиф. Вероятно, так называли учителя Томаша хозяева усадьбы. Он сам и крестьяне-литовцы, несомненно, пользовались литовским именем Юозапас.

поддержке Антонины, которую приводил в восторг уже взрослый Стасек — тем, что он красиво играл на гармошке, пел городские песни, но прежде всего тем, что его польский был совершенно мазурским.¹⁵ «Он швапетит!»¹⁶ — восклицала она и жмурилась от удовольствия. Стасек с оттопыренными ушами и тонкой шеей не пришелся Томашу по душе, несмотря на то, что сделал ему арбалет с прикладом, как у настоящего ружья. Вечером под липой раздавалось девичье хихиканье, а когда Стасек сидел вдвоем с Антониной, Томаш тоже вертелся поблизости. В конце концов ему надоело, и он уходил от них. И, непонятно почему, что-то его тревожило — так бывает, когда в полдень солнце спрячется за тучей.

Х

Что до чертей, то они избрали себе в жертву прежде всего Бальтазара. Догадаться об этом было нелегко — он выглядел человеком, созданным для радости. Кожа как у цыгана, зубы белые, рост под два метра, лицо круглое и растительность на нем — как пух на сливе. Когда он появлялся в усадьбе в своей стянутой ремнем блузе и темно-синем картузе набекрень, из-под которого выбивался чуб, Томаш бежал к нему с радостными криками: либо корзина с грибами — боровики и опята, сверху цвета надрезанной ольхи, сбоку — белесые в крапинку; либо дичь — бекасы или тетерев с красной полоской над глазом. Бальтазар был лесником, хотя и не совсем. Никто ему не платил, и он никому не платил. Жил он в лесу, даром получил материалы на строительство дома, его картошка и рожь были разбросаны по полянкам, а он каждый год допахивал себе новую землю. Всякий раз, когда он приходил, хлопанье дверец и поворачивание ключей в шкафах учащалось, а у бабки Сурконтовой начиналась мигрень. До Томаша доносилось ее фырканье на деда: «Уж этот мне твой любимчик! Чтоб не смел ему ничего выносить!»

Бальтазару многие завидовали, да и было чему. Когда он стал лесником, у него ничего не было, а теперь — хозяйство, коровы, лошади, и не избушка, а дом с дощатым полом, с крыльцом, с четырьмя горницами. Он женился на дочери богатого хозяина из Гинья, у них было двое детей. Сурконт не отказывал ему ни в чем, чего бы ни попросил «Бальтазарек», и тут уже можно было крутить пальцем у виска. Врагов он себе не нажил, ибо умел обращаться с людьми: следил, чтобы не вырубали деревья в старой дубраве, но не возражал, если кто-нибудь из деревеньки Погиры сводил елку или граб — лишь бы только пень хорошо обложили мхом, чтоб следа не осталось.

Счастье. Бальтазар любил поваляться на своем крыльчке со жбаном домашнего пива рядом, на полу. Он прихлебывал из кружки, причмокивал, зевал и чесался. Сытый кот — а ведь именно тогда всё в нем кипело. Время от времени дед сажал Томаша подле себя на бричку, и они ехали к леснику, который жил довольно далеко — за полями, не принадлежавшими усадьбе. Бричка предназначалась для частого использования, как и линейка — нечто вроде бревна на четырех колесах, на которое приходилось забираться, как на коня. В каретном сарае стояли и другие экипажи, например, покрытая пылью и паутиной карета на полозьях, открытые сани и «паук» — ярко-желтый, длинный, передние колеса огромные, задние маленькие, и над ними высокое сиденье для кучера или лакея, а между двумя частями «паука» (скорее уж он напоминал осу) — только доски, пружинившие, если по ним скакали. Дед держал Томаша за пояс, когда бричка накренялась; за полями начинались пастбища и пасеки, черная вода в колеях под нависающей травой скрывала рытвины, в которые можно было провалиться по самые оси. Дым на фоне густого грабового леса означал, что сейчас послышится собачий лай, а затем покажутся крыша и колодезный журавль. Жить в

¹⁵ Мазурия — историческая область на северо-востоке Польши. Здесь имеется в виду, что Стасек говорил без акцента, характерного для литовских поляков.

¹⁶ Швапетить — на диалекте литовских поляков — говорить по-польски без местного акцента.

глуши, со зверями, которые выглядывают из чащи и следят, что делается во дворе, — Томашу хотелось бы так. Дом пах смолой, дерево не успело еще потемнеть и блестело, словно выкованное из меди. Бальтазар ухмылялся, его жена расставляла на столе угощение и уговаривала есть ветчину своим бесконечным: «Пажалста, пажалста, закушивайте». Худая, с выдающейся вперед челюстью, больше она не говорила ничего.

Томаш оставлял взрослых и бежал наблюдать за сойками или дикими голубями — птиц тут было великое множество. Как-то раз в куче камней на пасеке он нашел гнездо уодов, сунул туда руку и поймал птенца, который еще не умел летать, только топорщил хохолок на голове, чтоб испугать. Томаш взял его с собой, но уодод ничего не ел, носился вдоль стен, и пришлось его отпустить.

Уж наверняка не Томашу Бальтазар признался бы в том, что его терзало. Впрочем, он и сам этого не понимал, кроме разве того, что дела его всё хуже. Пока он ставил дом — еще ничего. Потом он останавливался за плугом, скручивал сигарку и вдруг переставал сознавать, где он, приходил в себя со сжатыми пальцами, из которых сыпался табак. Единственный выход — уработаться, но из лени он быстро справлялся с любой работой, а когда разваливался на лавке со своим жбаном пива, им овладевала отвратительная вялость, которая медленно ворочалась внутри, и в оцепенении, словно в дремоте, он кричал со стиснутыми губами — если б только он мог кричать, но нет! Он чувствовал, что должен что — то сделать: встать, хватить кулаком по столу, куда-то бежать. Куда? Шепот призывал, сливался воедино с этой вялостью, и порой Бальтазар запускал кружкой в своего мучителя, который то влезал в него, то дразнил издали. Тогда жена стаскивала с него сапоги и вела на кровать. Жене Бальтазар подчинялся, как и всему остальному, — со скукой и уверенностью, что это всё не то. Она отталкивала его своей уродливостью; в темноте еще ничего, но днем? Сон приносил облегчение, однако ненадолго; ночью он просыпался, и ему казалось, что он лежит на дне глубокой ямы, из которой не выберется никогда.

Случалось, он бил кулаком по столу и бежал — лишь затем, чтобы уйти в настоящий запой. Тогда это затягивалось на три-четыре дня, а пил он так, что однажды водка в нем загорелась, и еврейке в местечке пришлось присесть и написать ему в рот — средство известное, но приносящее позор. Весть, что Бальтазара опять понесло, расходилась быстро, и одни говорили, что это с жиру и богатства, а другие жалели, что пропадает человек, спутался с чертом. Это был не просто их вымысел — плача с перепою, Бальтазар рассказывал всякое.

Лишь спустя много лет после отъезда из Гинья Томаш размышлял о Бальтазаре, собирая воедино все услышанные о нем были и небылицы. Тогда ему вспоминалась рука с мускулом, напрягавшимся как камень (Бальтазар был силачом), и глаза с длинными ресницами, ланьи. Никакая удаля и никакая предусмотрительность не уберегут от болезни души — и, думая о нем, Томаш всякий раз тревожился о своей собственной судьбе, обо всем, что еще впереди.

XI

С бородкой, с бегающим взглядом, он мягко складывал свои руки городского господина и опирался локтями о стол: герр доктор, немчик — таким видел его Бальтазар. «Вон!» — бормотал он и пытался перекреститься, но вместо этого только скреб себе грудь, а у того слова сыпались с шелестом сухих листьев, интонация убеждала.

— Ну же, дорогой Бальтазар, — говорил он. — Я ведь только хочу помочь тебе. Ты всё беспокоишься — и совершенно напрасно. Тревожишься о хозяйстве: что земля не твоя, вроде как она у тебя есть, а вроде и нет. Легко пришла, легко и уйдет, не так ли? Барская любовь изменчива: завтра кто — нибудь другой станет хозяином в Гинье, а тебя прогонит.

Бальтазар стонал.

— Но в земле ли дело? Признайся. Нет, в глубине души ты прячешь что-то другое. Тебя сейчас так и подмывает вскочить и уйти отсюда навсегда. А мир велик, Бальтазар. Города, где ночью музыка и смех; ты засыпал бы на берегу реки — один, свободный, без прошлого. Одна жизнь кончилась, другая началась. Ты не стыдился бы греха, перед тобой открылось бы то,

что теперь навсегда закрыто. Навсегда. Потому что ты боишься. Трясешься над землей, над своими кабанчиками. Как это, у меня опять ничего не будет? — спрашиваешь ты. Ладно, в тебе есть один Бальтазар, и второй, и третий, а ты выбираешь самого глупого, предпочитая никогда не испытать, каков тот другой. Может, я не прав?

— О Господи!

— Ничего тебе не поможет. Осень, зима, весна, лето, снова осень, и так без конца; закопают тебя в землю; напейся еще — вот вся твоя радость. Ночью? Ты сам знаешь. Но ведь не я же советовал тебе жениться, когда на это нет охоты, и выбирать самую некрасивую девушку, потому что ее отец богач. Страх. Бальтазар. Всё из-за него. Ты обеспечивал себе спокойную старость. А когда тебе было лучше: в двадцать лет или сейчас? Помнишь те вечера? Твоя рука была словно создана для топора, ноги для танца, голос для пения. Помнишь, как вы подбрасывали дрова в костер, помнишь своих друзей? А теперь ты один. Хозяин. Хотя — не спорю — этот дом у тебя могут отнять.

Бальтазар цепенел. Внутри — мешок опилок. Тот сейчас же это угадывал.

— Вот выходишь ты утром во двор роса, птицы поют, но для тебя ли всё это? Нет, ты считаешь. Для тебя это еще один день, и еще один, и еще. Лишь бы тянуть ляжку. Как мерин. А раньше? Ты не заботился о счете, пел. И что теперь? Ты всматриваешься в дубы, а они будто из пакли. А может, их и вовсе нет? В книгах об этом умно написано. Ты не знаешь, что написано. Если у человека внутри такая каша, лучше сразу повеситься, ибо он уже не знает, не снится ли ему, что он ходит по земле. Так написано в книгах. Повесишься? Нет.

— Почему другим хорошо, а мне — нет?

— Потому, любезный мой, что каждому дана ниточка — его судьба. Либо он поймает ее конец и радуется, что поступает как надо, либо не поймает. У тебя не вышло, ты не искал свою ниточку, оглядывался то на одного, то на другого, чтобы быть как они. Но что для них счастье — для тебя несчастье.

— Что делать, говори.

— Ничего. Слишком поздно. Слишком поздно, Бальтазар. Идут дни и ночи, и всё меньше смелости.

Смелости, чтоб повеситься, и смелости, чтоб убежать. Ты будешь гнить.

Пиво лилось из жбана мутной струей, он пил, а внутри по-прежнему жгло. Тот усмехался.

— А об этом секрете можешь не тревожиться. Никто не узнает. Это останется между нами. Разве не каждому суждено умереть? Разве не все равно, чуть раньше или чуть позже? Мужик был молодой, это правда. Но он долго воевал, в деревне его уже подзабыли. Жена еще поплачет — утешится. Сыночек — толстенький, за шею его обнимал — слишком мал, отца не запомнил. Только не надо, напившись, плести людям о каких-то преступлениях на твоей совести.

— Ксендз...

— Да, да, ты исповедался. Но тебе ведь хватило ума понять: ничего ты в этой исповедальне не выбормочешь. Ты лгал. Конечно, обидно не получить отпущение грехов. Вот и пришлось солгать, что он бросился на тебя с топором, и тогда ты убил. Да, бросился, но что было дальше? Ну, Бальтазар? Ты выстрелил, когда он сидел в кустах и ел хлеб. Сухари с кровью ты бросил вслед за ним в яму и закопал, не так ли?

Вот тут-то Бальтазар и ревел, и бросал кружку. Появлением немчика объясняются и скандалы, которые он учинял в корчмах, переворачивая столы, табуреты и разбивая лампы.

XII

Место среди елок в котловинке быстро заросло. Бальтазар вырезал тогда лопатой дерн, а потом положил обратно. Обычно он приходил сюда под вечер, садился, слушал крики соек и шуршание копошащихся в земле дроздов. Тяжесть уменьшалась — легче было переносить это здесь, чем думать издалека. Он почти завидовал лежащему в этой яме. Покой, облака,

плывущие над деревьями. А у него — сколько еще лет впереди?

Ружьецо он опустил в дупло дуба и больше к нему не прикасался. Переделанное из военного, с обрезанным стволом, оно помещалось под свиткой, и тот думал, что Бальтазар идет безоружный. Он выскочил из зарослей у тропинки с занесенным топором, крича: «Руки вверх». Рыжая борода, рваная русская шинель: солдат, бредущий через леса из немецкого плена. Чего он хотел? Отобрать гражданское платье или зарубить? А может, помешанный? Бальтазар подбросил ружье к бедру, и тот заворотил назад. Только в кустах свистело — так он удирал. Но ему ли знать все лазейки и тропы? Зверь, даже если ходит кругами, всегда придет, куда должен. Бальтазар не спеша начал обход. Если пленник побежал в ту сторону, думалось ему, то выйдет он к ельнику и там отдохнет. Что двигало Бальтазаром? Мстительность или страх, что у того есть товарищи, что он нападет ночью? Или просто охотничья страсть? Идти за зверем: если он так, то я эдак? Бальтазар крался на цыпочках, и вот серая шинель мелькнула приблизительно там, где он ожидал. Он остановился и обошел солдата со стороны молодняка, где можно было подползти поближе. И тогда — дуло на сгорбленной спине (тот сидел к Бальтазару боком), на шее, на голове в фуражке без козырька. Потом он изо всех сил пытался вспомнить, зачем спустил курок, но иногда ему казалось, что по одной причине, а в другой раз — что по другой.

Русский упал ничком. Бальтазар ждал, было тихо, высоко в небе клекотали ястребы. Ничего, никакого движения. Удостоверившись, он кружным путем подошел к убитому, перевернул его на спину. Светло-голубые глаза смотрели в весеннее небо, вошь ползла по краю шинели. Мешочек с сухарями развязан, на нем пятна крови. Каблуки сапог полностью стоптаны — он шагал откуда-то издалека, из Пруссии. Бальтазар обыскал карманы, но нашел только перочинный ножик и две немецкие марки. Все это, да еще топор, он засунул вместе с телом под еловые лапы — надо было вернуться сюда вечером с лопатой.

Как-то раз, раздумывая на этом самом месте, он решил искать помощи. Он был почти уверен, что решение каким-то образом исходит от русского.

Может, он не напрасно его убил? В ту ночь он спал хорошо, а на рассвете двинулся в путь.

Колдун Масюлис держал много овец, и, чтобы пройти во внутренний двор, приходилось открывать одни ворота за другими. Бальтазар выложил свои дары: кадку масла и круги колбасы. Старик поправил очки в проволочной оправе. Кожа словно копченая, из ноздрей и ушей торчал седой пух. Сперва поговорили о разных местных новостях, но когда дошло до дела, и надо было перейти к тому, ради чего Бальтазар пришел, он сумел выдавить из себя немного. Он только показывал на сердце, как будто хотел его вырвать, и по-медвежьи урчал: «Мучат они меня». Колдун ничего — покивал головой и отвел его в сад, за улы, где между яблонями стояла заросшая травой старая кузница. Он снял мешочки, висевшие на жердях, набрал в углу хвороста и уложил в четыре кучки, а Бальтазара усадил на колоду посередине. Хворост он поджег и, нашептывая, сыпал в огонь травы, которые доставал из мешочков. Шел сильный дым, запах дурманил, а лицо в очках появлялось то с одной стороны, то с другой и бормотало что-то наподобие молитвы. Затем Масюлис велел Бальтазару встать и привел его обратно в комнату. Бальтазар опускал глаза под его взглядом, как будто уже признаваясь во многих грехах.

— Нет, Бальтазар, — сказал наконец старик, — я тебе помочь не могу. На короля король, на кесаря — кесарь. На каждую силу есть своя сила, а эта сила — не моя. Может, тебе и попадется человек, получивший такую, как надо. Ты жди.

Так погибла надежда. И зубы блестели в безмятежной улыбке — для тех, кто ни о чем не догадывался.

XIII

Ксендз редко посещал усадьбу, и знакомство с плетением началось в тот день, когда Томаш стоял с Антониной на крыльце, глядя на волшебные стеклышки, а та робким

движением поправляла складки платка у щеки. Настоятеля, помятого и сутулого, называли «Тейги-Тейги»¹⁷ — от словечка, которое он то и дело без видимой надобности вставлял. Он велел Томашу прочитать «Отче наш», «Радуйся, Мария», «Верую» и дал образок. Мать Божья на нем напоминала ласточек, которые лепили свои гнезда над конюшней и даже внутри, над лесенками к сеновалу. Темно-голубое платье, лицо коричневое, а вокруг него диск из настоящего золота. Томаш хранил этот образок в календаре и, листая страницы, радовался, что приближается к месту, где лежат цвета.

Катехизис давался ему легко, но свои симпатии он делил не поровну. Бог Отец с бородой сурово хмурит брови и парит над облаками. Иисус смотрит ласково и указывает на сердце, из которого исходят лучи, но Он вернулся на небеса и тоже живет далеко. Другое дело Святой Дух — вечно живой голубь, посылающий сноп света прямо на головы людей. Готовясь к исповеди, Томаш молился, чтобы Он задержался над ним, ибо с грехами дело было туго. Он считал их по пальцам и тут же сбивался, считал заново. Прижимаясь губами к стертой до гладкости решетке исповедальни и слыша сопение ксендза, он поспешно выложил весь свой список. Однако уже на Шведских валах его охватили сомнения, он шел все медленнее, пока наконец в аллее не расплакался и не прибежал в отчаянии к бабушке Мисе, спрашивая, что делать, если забыл грехи. Она советовала ему вернуться, но тогда он еще больше заходился плачем — от стыда. Делать было нечего, Антонина взяла его за руку и отвела к ксендзу — ее присутствие как-то успокаивало. Может, и нехорошо, но всё лучше, чем одному.

Как видно, у Томаша изначально была склонность к тому, что богословы называют мнительной совестью и считают причиной многих побед сатаны. Стараясь ничего не упустить, он не включал в список своих провинностей один секрет. Он не мог увидеть этого со стороны, ему и в голову не приходило, что это нечто личное, самое личное — его и Онуте Акулонис, — и в то же время, что это существовало независимо от них, что до них это уже придумали другие. Например, нечистые речи и поступки — совсем другое дело: произносить нехорошие слова, подсматривать за купающимися девушками, у которых черное гнездо внизу живота, или пугать их в субботу на вечерках, когда они выходят в перерыве между танцами и приседают в саду, задирая юбку.

С Онуте они часто отбивались от стайки детей и проскальзывали в сокровенное местечко на берегу Иссы, которое принадлежало только им. Проникнуть туда можно было, лишь проползая на четвереньках сквозь туннель под нависшим терновником, — а он изгибался, и нужно было хорошо его знать. Внутри, на небольшом песчаном бугорке безопасность сближала их, они разговаривали приглушенными голосами, и никто-никто не мог до них добраться, а они слышали оттуда плеск рыбы, стук пральников и грохот колес на дороге. Голые, они лежали головами друг к другу, тень падала на их руки, и таким образом в этом неприступном дворце у них получалось еще более укромное место, в котором всё было таинственно, и хотелось шепотом рассказывать — что? У Онуте, как и у ее матери (и у Поли) были золотистые волосы, которые она заплетала в косичку. А *это* было так: она ложилась на спину, притягивала его к себе и сжимала коленями. Они лежали так долго, наверху плыло солнце, он знал, что она хочет, чтобы он к ней прикасался, и ему становилось *сладко*. Но ведь это была не какая-нибудь другая девочка, а Онуте, и он не мог исповедоваться в том, что произошло между ним и ею.

Утром, принимая св. Причастие, Томаш чувствовал себя легко — отчасти потому, что это было натошак, и у него сосало под ложечкой. Он отходил со скрещенными на груди руками, глядя на носки своих башмачков. Представить себе, что прилипшая к нёбу облатка, которую он робко отрывал языком, — Тело Христово, — он не мог. Но что это его меняло, и по крайней мере целый день он был тихим и послушным, — было заметно. Особенно подействовали на его воображение слова ксендза о том, что человеческая душа — как горница, которую нужно прибрать и украсить к приходу Гостя. Он думал, что, может, облатка и тает,

¹⁷ По-литовски "taigi, taigi" означает приблизительно "да-с, да-с".

но там, в душе, снова срастается и возвышается среди зелени в тамошней сверкающей чаше. То, что он, Томаш, носит в себе такую горницу, наполняло его гордостью, и он вел себя так, чтобы не испортить и не разрушить ее.

Постепенно приближалось время, когда его обещали сделать министрантом, и он даже начал учить непонятные латинские ответы, но тут старый настоятель уехал, и настали большие перемены. Новый ксендз — молодой, статный, с выдающимся вперед подбородком и сросшимися на носу бровями — путал стремительностью движений. Он оставил тех министрантов, которые уже были, а новыми не занимался. Впрочем, у него были обязанности поважнее.

Его проповеди ничем не напоминали монотонного бормотания вперемежку с покашливанием и повторяющимся «тейги-тейги», к которому привыкли в Гинье. Томаш, хотя и не вполне улавливал смысл, как и все, замирал в ожидании, когда ксендз появлялся на амвоне. Сначала он по-домашнему ворчал — так, как разговаривают обычные люди. Потом через каждые несколько фраз произносил одну очень громко, и это звучало как музыка. И, наконец, воздевал руки, кричал так, что стены дрожали. Он разил грехи, его вытянутый палец целился в толпу, и все трепетали, потому что каждому казалось, что он метит в него. И вдруг — тишина. Он стоял с раскрасневшимся, пылающим лицом и смотрел; затем наклонился, опершись о край амвона, и еле слышно, ласково, от сердца к сердцу уговаривал, рисовал картины счастья, ожидающего спасенных. Тогда слушатели шмыгали носами. Слава ксендза Пейксвы быстро разошлась за пределы Гинья и соседних деревень. К нему приезжали исповедоваться из других приходо́в, и всегда его окружали платочки, склонявшиеся, когда почитательницы пытались поцеловать ему руку или столу.¹⁸

Его обожала жена Акулониса, девушки из людской, а уж особенно Антонина («Грехи чистит, — вздыхала она, — все одно как железной щеткой внутри скрябет»). Даже бабушка Мися, принципиальная противница литовских проповедей, одобрила нового ксендза, послушав несколько его речей по-польски. Однако все это воодушевление продолжалось не слишком долго. Гинье удостоилось великой чести — да, в этом женщины еще соглашались с нездешними, но уже с кислой миной, и сразу переводили разговор на другие темы. И Томаш, и деревенские дети вскоре знали, что в плебанию лучше не ходить.

XIV

За несколько дней до Успения привезли гроб Магдалены. Он лежал на большой, устланной сеном телеге, прикрытый узорчатым покрывалом. Лошади в тени, падавшей от лип, низко склоняли головы и выедали со дна мешков овес, сонно отгоняя мух; путь они проделали дальний. Весть разнеслась так быстро, что стоило приехавшему с телом вознице привязать к забору вожжи, как люди уже начали сходитьсь и стояли толпой, ожидая, что будет. Наверху, на плоских камнях дорожки, показался ксендз Пейксва. Неподвижный, он словно раздумывал, спускаться ли, а может, собирался с силами. Наконец медленно двинулся вниз, опять остановился, вынул платок и мял его, теребил пальцами.

Соблазн, связанный с Магдаленой, продолжался около полугода и начался по ее вине. Можно было его избежать. Когда Пейксва появился, она уже была экономкой в плебании, и кому какое дело, что там между ними произошло, — ксендз тоже человек. Однако она начала вести себя непристойно: ходила, выставив вперед подбородок, покачиваясь, почти танцуя. Ей доставляло видимое удовольствие так к нему подойти или что-нибудь сказать, чтобы ясно дать понять другим женщинам: вы целуете ему руки и одежды, а мне он принадлежит весь. Это навевало мысли о том, как он, тот же, что перед алтарем, лежит с ней голый в постели, как они

¹⁸ Стола (в традиции восточной Церкви — епитрахиль) — элемент литургического облачения католического клирика. Полоса материи шириной 10–20 см и длиной около 2 м с нашитыми на концах и в середине крестами. Епископ и священник надевают столу на шею таким образом, чтобы концы ее спускались до колен на одном уровне. Дьякон носит столу на левом плече, закрепляя концы на правом боку.

друг с другом говорят и что делают. Всем известно, что в подобных случаях можно многое простить, пока не появляются картины — навязчивые, которые невозможно от себя отогнать.

Обсуждая поведение Магдалены (у старого настоятеля она прослужила два года), жители Гинья после долгих, обстоятельных разговоров пришли к выводу, что и раньше с ней было не все в порядке. Если свадьба расстроилась и парень сразу женился на другой, то это случилось не только из-за ее возраста (ей было уже, должно быть, лет двадцать пять) и, пожалуй, не из-за того, что она была бедная, дочь безземельных крестьян, и пришлая. Никакие уговоры не помогали, и он готов был пойти даже против родительской воли (уже здесь следует отметить ее особые способности), но в последний момент передумал. Испугался: слишком горячая, не знает меры. Другие подобные события теперь тоже представлялись в новом свете, дополняли друг друга. А для тех, кто до сих пор сомневался, теперь еще этот гроб.

Антонина, произнося ее имя, сплевывала, поэтому Томаш относился к Магдалене неприязненно, хотя никаких причин для этого у него не было. Она зазывала его на кухню и давала пирожки всякий раз, когда он приходил в плебанию при ксендзе Тейги-Тейги. Тогда он ею попросту восхищался, и в ее присутствии у него сжималось горло. Ее юбки шелестели, застежка стягивала ее в талии, когда она склонялась над плитой и пробовала с ложки еду. Прядь волос выбивалась из-за уха, а сбоку в блузке ходила грудь. Их связывало то, что он знал, как она выглядит, а она не знала, что он знает. Он исповедовал грех и все-таки видел. На низко склонившееся над водой дерево можно было забраться и спрятаться среди листьев. Сердце бьется: придет или не придет? Исса розовеет от заходящего солнца, рыба резвится. Он загляделся на пролетающих уток, а она тем временем уже пробовала ногой, теплая ли вода, и стаскивала через голову рубашку. В воду она входила не как бабы, которые по нескольку раз с плеском приседают, — медленно, шаг за шагом. Груды расходились в стороны, а внизу живота у нее было не слишком темно, так себе. Она окунулась и плыла по-собачьи, время от времени взбивая ногой фонтан брызг, — до того места, где листья водяных лилий закрывали реку. Потом вернулась и мылась мылом.

То, что Томаш слышал краем уха, оставалось для него неясным, но ужасало. Разве возможно, чтобы тот, кто громогласно вещает об адовом пламени, сам был грешником? И если он, отпускающий грехи, такой же, как другие, то чего стоит это отпущение? Впрочем, он не задавал себе четких вопросов, и уж наверняка не решился бы приставать с ними к взрослым. Магдалена приобрела для него прелесть запретного плода. А взрослые на нее злились. Они отделяли друг от друга то, чего не мог отделить Томаш: она — это одно, а ксендз, когда он одет в комжу, — другое. Но она нарушила равновесие, смутила покой и испортила им удовольствие от проповедей.

Пейксва спускался, и всех охватывало любопытство: что он велит сделать с гробом? Когда он был уже возле телеги, люди начали отворачиваться. Ибо он плакал. Слезы стекали по его щекам, губы дрожали; он сжал их и разомкнул лишь для того, чтобы сказать, что просит отнести тело наверх, в костел. Самоубийце он готовил христианские похороны. Покрывало сняли, обнажив гроб из светлой сосны. Четверо мужчин взяли его и взбирались по склону — такому крутому, что Магдалена почти стояла.

XV

Чтобы отравиться крысиным ядом, надо потерять всякую надежду, да к тому же так поддаться своим мыслям, что они заслонят собой весь мир, пока человек не перестанет видеть ничего, кроме собственной судьбы. Магдалена могла бы узнать множество городов, стран, людей, изобретений, книг, пройти через разные воплощения, доступные человеческим существам. Могла бы, но объяснять ей это или показывать с помощью какой-нибудь волшебной палочки миллионы подобных ей и таких же страдающих женщин было бы напрасной затеей. Даже если бы она прониклась отчаяньем людей, которые в то самое мгновение, когда она лишала себя жизни, боролись еще за час, минуту существования, — наверное, и это не помогло бы. Когда же мысли, наконец, отступили и тело оказалось перед

лицом смертного ужаса, было уже слишком поздно.

Надо учесть, что она попала в очень скверное положение еще незадолго до ухода старого настоятеля. Именно тогда ее бросил жених. После краха той любви в ней остались холод и уверенность, что ничто уже не изменится, что теперь так будет всегда. Все в ней содрогалось и возмущалось: она не могла остаться одна. Что делать с уверенностью, что день будет проходить за днем, месяц за месяцем, год за годом, и вот уже, смотрите — старуха? Она просыпалась на заре и лежала с открытыми глазами, а встать и начать повседневную работу казалось ей чем-то ужасным. Она садилась в кровати и обнимала ладонями груди — отверженные, как она сама, которые должны были разделить с ней стародевичество и бесплодно увянуть. И что же дальше? Ловить парней на вечерках, чтобы шли с ней на сеновал или на луг, а потом смеялись? Так она погружалась в полную безнадежность, пока в плебании не появился Пейксва.

Есть на качелях момент остановки — а потом летишь вниз, аж дух захватывает. Земля и небо внезапно преобразились; то самое дерево, на которое она смотрела из окна, было другим; облака не похожи на прежние; все живые существа двигались, словно наполненные струящимся из них живым золотом. Она и не подозревала, что такое бывает. За страдание ей была уготована награда, и если потом придется страдать века — все равно оно того стоит. Не последнюю роль в ее упоении играло блаженство удовлетворенного самолюбия: ее, бедную, почти неграмотную, которая не могла найти себе мужа, выбрал он, ученый, с которым никто не мог сравниться.

И тогда — надо это понять — она лишилась всего и была отринута в холод, на этот раз навсегда. Пейксва, сознававший скандальность положения и вынужденный выбирать, отдал ее в экономки настоятелю дальнего прихода — такого дальнего, что неизбежность разрыва стала очевидна каждому. В том доме на берегу озера, один на один с желчным стариком, Магдалена не прожила долго — ровно столько, чтобы вернуться в черную ночь, знакомую ей до прихода счастливых времен. Она отравилась, когда ветер свистел в камышах и волна оставляла на гальке клочья белой пены, плещась о дно привязанных к мосткам лодок.

Тамошний настоятель не захотел ее похоронить. Он предпочел дать свою телегу, пару лошадей и возницу, лишь бы избавиться от хлопот.

Последнее путешествие Магдалены — прежде чем она отправилась в те края, где ее встретили дамы былых времен, — началось ранним утром. В вышине плыли клочковатые барашки, лошади бежали бодрой рысцой, на отавах мужчины точили косы, и оселки звякали о металл. Потом по песчаной дороге, между кустов можжевельника, через сосновые рощицы, все выше, вплоть до перепутья, откуда видны три водные глади, скрепленные друг с другом зеленью — как ожерелье из светлых камней. Оттуда опять вниз, в леса, и там, на деревенской улице Магдалена смотрела в полуденные часы на листья старого клена — до той поры, когда тени начали удлиняться, жара уже не мучила лошадей, и можно было ехать дальше. На плотине, выложенной круглыми бревнами, колеса подпрыгивали, хотя лошади шли шагом; раздавался вечерний концерт дроздов; уже открывалось звездное небо, искрящееся вращением сфер и вселенных. Глубокий покой, темно-синее пространство: Кто смотрит оттуда — и видит ли Он маленькое существо, которое смогло само остановить движение своего сердца, течение крови и по собственной воле превратиться в неподвижную вещь? Запах лошадей, лениво говорящий им что-то человек возле нее — и так до поздних вечерних часов. А утром — через холмы, дубравы, уже недалеко, вот уже спуск в долину Иссы, а там, повернувшись к искрам реки в лозняке, ксендз Пейксва читает бревиарий.¹⁹

Летом тело портится быстро, и люди удивлялись, чего он медлит, словно ему не хочется отдавать ее земле. Однако когда ее выносили, никто не заметил никакого неприятного запаха — позже об этом факте вспомнили. Он похоронил ее на краю кладбища, там, где земля круто

¹⁹ Бревиарий (от лат. *breviarium* — краткое изложение) — часослов, т. е. молитвенник, по которому читается литургия часов.

уходит вниз, а узловатые корни держат сыпкую почву.

Проповедь в день Успения он произнес недлинную, ровным, спокойным голосом. Он описывал, как Та, что была непорочна, возносится на небеса — не духом, но вся, такая, какой Она ходила меж людей. Сначала Ее ноги прямо над травой, и, не переступая ими, Она медленно поднимается все выше; дуновение ветра колышет Ее длинное платье — такое, как носили в Иудее, — пока Она не становится лишь точкой среди облаков. И то, что нам, грешным, будет даровано в долине Иосафата, если мы того заслужим, Она уже обрела: всеми земными чувствами, в вечной молодости, Она созерцает лик Всевышнего.

Вскоре после этого Пейксва покинул Гинье, и с тех пор никто о нем ничего не слышал.

XVI

Об этом говорили соседки, опершись локтями о забор. Мужчины молчали, вперив взгляд в щепотку табака, слюнили бумажку и делали вид, что все их внимание сосредоточено на этом занятии. Постепенно нарастала тревога, хотя пока все только искали причины, пытались угадать и остерегались неосторожных слов.

Распространению слухов способствовал прежде всего новый ксендз, Монкевич, — круглый, лысый и нервный. Он перепугался и не смог этого долго скрывать. Почему все время раздается этот стук в стену (по три раза), невозможно было объяснить никакими естественными причинами. После того, что он узнал, в доме ему было не по себе, и он плохо переносил присутствие, проявлявшееся в этом самом стуке или в медленном нажатии на дверную ручку. Он вскакивал и открывал дверь, но за ней никого не было. Он надеялся, что эта явления пройдут, но они, напротив, только усиливались. В плебанию позвали спать ризничего, и с тех пор уже не приходилось ограничиваться догадками. Впрочем, не зная, что делать, ксендз Монкевич вскоре попросил помощи у сельчан. Они собирались по несколько человек и дежурили по ночам в кухне.

Бедный дух Магдалены не хотел покинуть места, где она вкусила счастья. Невидимым колуном расщеплял он невидимые поленья и разжигал огонь, который бушевал и трещал как настоящий. Он двигал кастрюли, бил яйца и жарил яичницу, хотя плита оставалась холодной и пустой. Какие инструменты были в его распоряжении? Только ли звуки, нечто вроде широкого спектра шумов, подражающих звукам природы, или же духу дана некая другая, иная кухня, с ведром, сковородой и поленицей как таковыми — чем-то вроде квинтэссенции всех ведер, сковородок и поленьев, какие могут существовать? Разрешить этот вопрос нельзя — можно лишь прислушиваться и, в крайнем случае, не верить собственным чувствам. Святая вода не помогала. Ксендз кропил, перерыв продолжался недолго, и вскоре работа начиналась сызнова, с каждым вечером все смелее — с шумом, звяканьем кастрюль, плеском воды. Хуже того, все это перенеслось в спальню. Кроме стука и поворотов ручки, теперь раздавались шаги, бумаги и книги валились на пол, и появилось еще одно — нечто вроде приглушенного смеха. Ксендз Монкевич крестил и кропил один угол — ничего, второй — ничего, третий — ничего, но когда он подходил к четвертому, раздавались хихиканье и свист, как из пустого ореха.

Весть об этих событиях быстро разнеслась по соседним деревням, и если бы жители Гинья не считали, что это их дела и чужих к ним допускать не след, то не трое оставались бы на ночь в кухне, а все триста пытались бы туда пробраться. Лишенные возможности принимать деятельное участие, они по крайней мере болтали, и весь приход тряся от преувеличенных слухов.

То, что духу Магдалены плебании уже недостаточно, выяснилось отчасти благодаря Бальтазару. Все его приключение было бы достойно лишь смеха — ну, разве с той толикой серьезности, с какой поддакивают рассказням пьяниц, чтобы их не обидеть, — если бы не одна деталь. Бальтазар утверждал, ни много ни мало, что только сейчас видел, как Магдалена на белом коне спускалась к реке со стороны кладбища. Она была голая; и она, и конь блестели в темноте. Когда в избе его тестя собралось много народу, он без конца твердил одно и то же и обижался, если его припирали к стенке, осторожно намекая, что, мол, всё это ему

примерешилось. Тогда кому-то пришло в голову пойти на конюшню настоятеля и посмотреть, стоит ли там его гнедой. Гнедой был на месте, — но вспотевший, словно на нем скакали галопом.

В усадьбе, разумеется, все бурлило, а Антонина ежедневно приносила новую порцию слухов. Бабушка Мися повторяла: «Какой ужас!» — и, радуясь загробным проделкам, пригласила ксендза, чтобы тот выговорился. Прихлебывая земляничный чай, Монкевич с озабоченным видом признался, что у него уже нет сил, и, если это не прекратится, он попросит перевести его в другой приход. Торжество бабушки Мисы было полным, и в ее возгласах недоверия: «Что вы говорите!» — слышался восторг: ведь она была на стороне духов, а не людей. Вскоре, однако, кое-что случилось совсем уж близко. У Томаша, который был допущен к постели Шатыбелко, когда тому стало немного лучше, мурашки бегали по коже. Больной говорил слабым голосом, борода была уложена поверх одеяла, а на коврик, свернувшись калачиком, лежал Мопсик, который повел себя бесславно — удрал, поджав обрубок хвоста. Впрочем, хозяин не корил его за это. А вот подробное описание случившегося. В усадьбе тогда молотили зерно. Локомотив стоял в сарае возле овина, и после работы в этот сарай, запиравшийся на ключ, клали драгоценный передаточный ремень. В тот вечер Шатыбелко сидел в мягких тапочках в своей комнате и курил трубку, как вдруг забеспокоился: ему никак не удавалось вспомнить, повернул он ключ в замке или нет, и эта невозможность представить себе исполненную обязанность очень его мучила. Наконец, полный опасений, что ремень может кто-нибудь украсть, он, сердито ворча, надел сапоги, кожух, взял фонарь и вышел из тепла на холод и дождь. Темно было хоть глаз выколи, и он видел только то, что очерчивал круг фонаря. Сарай действительно оказался незапертым. Шатыбелко прошел внутрь по тесному проходу между стеной и котлом локомотива и проверил — ремень лежал на месте. Однако когда он двинулся обратно, на него вылезло чудовище. Он описывал его как нечто вроде толстой колоды, скользившей горизонтально, во всю свою ширину. Из колоды торчали три головы — татарские, как утверждал Шатыбелко, оскаленные в отвратительных гримасах. Чудовище теснило его, а он крестился и отступал, но потом спохватился, что таким образом отрезает себе путь к бегству, и, размахивая фонарем, попытался проскочить. Тогда-то он и наступил сапогом на тело чудовища — мягкое, «как мешок с мякиной». Выбравшись наружу, он хотел бежать, но не смел повернуться. Шаг за шагом, пятясь, проделал он весь путь от дворовых построек до своих дверей, а три жуткие головы все это время вились в двух шагах от него на низком туловище без ног. Шатыбелко едва дышал и свалился на пороге. У него тут же началась сильная горячка — а ведь всё происшествие длилось не больше четверти часа, и до сих пор его здоровье было безупречным.

Быть может, как полагала бабушка Мися, ему явился дух магометанина с Татарского кладбища на холме. Память о татарских пленниках, давным-давно работавших в Гинье, изгладилась бы, если бы не это название. Однако почему он явился именно теперь? Кто-то подстрекал его или велел нарушить порядок. Это могла быть только Магдалена — вероятно, ставшая теперь предводительницей подземных сил.

Все эти факты постепенно привели к раздору между селом и ксендзом Монкевичем. Сойдясь во мнении относительно причины, крестьяне логично рассуждали, что следует ее устранить. Сначала они робко намекали на это в общих фразах, кружа вокруг да около, прибегая к сравнениям и притчам. Когда это не возымело действия, сказали прямо, что надо положить этому конец и что есть верный способ. В ответ ксендз махал руками, кричал, что никогда, никогда на это не согласится, и обзывал их язычниками. Он уперся, и убедить его было невозможно. Некоторые советовали не спрашивать разрешения, но было ясно, что и они не отважатся. Поэтому никто ничего не предпринял. Между тем к настоятелю приехал на несколько дней другой ксендз, и они вместе занялись экзорцизмом.²⁰

²⁰ Экзорцизм (от греч. — заклинать) — обряд изгнания злого с помощью молитвы.

XVII

Томаш боялся бегать после захода солнца, однако лишь до тех пор, пока не увидел сон. То был сон, исполненный великой сладости и силы, но в то же время и ужаса, и трудно сказать, чего в нем было больше. Его нельзя было выразить словами — ни наутро после той ночи, ни потом. Слова не передают мешанины запахов или того, что влечет нас к тем или иным людям, а уж тем более погружения в колодезь, через который пролетаешь насквозь, на другую сторону известного нам бытия.

Он видел Магдалену в земле, в одиночестве огромной земли, и она была там уже много лет и навеки. Ее платье истлело, и хлопья материи смешивались с сухими костями, а прядь волос, падавшая на щеку над кухонной плитой, прилегла к мертвому черепу. И в то же время она была рядом с ним такой же, как тогда, при входе в реку, и в этой одновременности заключалось познание иного времени, нежели то, которое нам обычно доступно. Чувство, сжимающее горло, пронизывало его насквозь, форма ее груди и шеи словно отпечатывалась в нем, а ее прикосновения перерождались в жалобу наподобие распева: «Ах, зачем я умираю, зачем руки и ноги мои умирают, ах, зачем я есть, и меня нет? Ведь я раз, всего только раз жила от начала до конца мира; ах, небо и солнце будут, а меня уже не будет никогда, останутся от меня эти кости; ах, ничего-то у меня нет, ничего». И Томаш вместе с ней погружался в безмолвие земляных пластов, где скользят камешки и черви прокладывают себе ходы; теперь и он превращался в груды истлевших костей, жаловался устами Магдалены и открывал для себя те же вопросы: почему я — это я? Как это возможно, что, обладая телом, теплом, ладонью, пальцами, я должен умереть и перестать быть собой? Собственно говоря, может, это даже и не был сон, потому что, лежа на глубочайшем дне, под поверхностью реальных явлений, он ощущал себя телесного, обреченного, разлагающегося, уже после смерти, и в то же время, участвуя в этом разрушении, сохранял способность констатировать, что он здесь тот же, что и там. Он кричал и проснулся. Но контуры предметов были частью кошмара и совсем не казались более прочными. Вскоре его снова охватил прежний дурман, и все повторялось опять — во все новых вариантах. Освободил Томаша лишь рассвет; глаза он открывал в тревоге. Он возвращался издалека. Постепенно свет извлекал из темноты перекладину, соединяющую ножки стола, табурет, стул. Как хорошо, что наяву этот мир состоит из деревянных, железных и кирпичных предметов, что у них есть выпуклости и шероховатости! Он радовался вещам, которыми вчера пренебрегал, едва замечая их. Теперь они казались ему сокровищами. Он всматривался в царапины, сучки, трещины. Однако после того переживания остался сладостный угар, воспоминания о краях, о существовании которых он прежде никогда не догадывался.

С тех пор Томаш решил не кричать, если Магдалена приблизится к нему в темной аллее, ибо она не сделала бы ему ничего плохого. Он даже желал, чтобы она ему явилась, хотя при мысли об этом у него по коже шли мурашки, но не неприятные — такие, словно он гладил бархатную ленточку. А про сон он никому не рассказал.

XVIII

Это совершилось втайне, и Томаш еще не скоро узнал о деянии, которое вызвало в нем глубокую скорбь и негодование.

Допущены были только сельские старейшины, полтора десятка хозяев. Они собрались под вечер и пили много водки. Что ни говори, каждому из них было не по себе, и они пытались взбодриться. Разрешение было получено, точнее, ксендз Монкевич сказал: «Делайте, что хотите», — но это было достаточным признанием несостоятельности имевшихся в его распоряжении средств. Вскоре после отъезда его собрата (в ту ночь в плетении как раз не было никого, кроме ризничего и старой экономки, ибо казалось, что после экзорцизма Магдалена успокоится) в спальне раздался крик, и Монкевич появился на пороге в длинной ночной рубашке, разорванной в нескольких местах, так что полотно свисало клочьями. Магдалена

стацила с него одеяло и стала рвать рубашку. Его болезнь (он заболел рожей) и он сам, и все вокруг приписывали испугу. От рожи с перепугу нет других действенных средств, кроме заговора. И так, к нему привели знахарку, которая бормотала над ним заклинания. Известно, что они заключают в себе приказы, обращенные к болезни, — чтобы она покинула тело; приказы эти подкреплены угрозами, обрывками христианских и каких-то еще более древних молитв, но слова, если их выдать, теряют силу, и тому, кто их знает, разрешено передать их перед смертью только одному человеку. Ксендз подвергался процедурам неохотно. Однако, когда речь идет о выздоровлении, не время сомневаться; в таких случаях мы надеемся на авось. Ослабшее сопротивление и робкая надежда, что мучительные явления прекратятся, склонили его дать и другое разрешение.

К таким делам надо приступать в темноте. Может, это и не правило, но хорошо бы, чтобы всё совершалось набожно, то есть, прежде всего, в тишине. А значит — без участия зевак, в кругу людей серьезных и надежных. Они попробовали острия лопат, зажгли фонари и выскользнули по одному, по двое, через сады.

Дул сильный ветер, дубы шелестели сухими листьями. Огни в сельце уже погасли, и были только чернота да этот шум. После того как все собрались на площадке перед костелом, они гурьбой отправились к могиле и встали, как могли, вокруг нее, на склоне, здесь уже *довольно* кругом. За круглыми стеклами фонарей, защищенных металлическими прутьями, языки пламени скакали и метались под порывами ветра.

Сначала крест — поставленный стоять, пока дереву хватит сил, пока его вкопанная в землю часть не сгниет, превратившись в труху, и он не покосится — медленно, спустя годы. Они вынули его и осторожно положили рядом. Затем несколькими ударами разрушили могильный холмик, на котором никто не сажал цветов, и начали работать — торопясь, потому что все-таки страшно. Человека кладут в землю навечно, и смотреть через несколько месяцев, что там с ним происходит, — вопреки естеству. Это все равно что посадить желудь или каштан и разгребать потом землю, чтобы поглядеть, не прорастает ли. Но, может, смысл их намерений в том и заключался, что нужна воля, решимость, чтобы противоестественным образом прекратить противоестественное?

Гравий скрипел, и мгновение приближалось. Вот уже лопата стучит, они заглядывают, светят — нет, это всего лишь камень. Но вот, наконец, доски; они откапывают их, отгребают землю так, чтобы можно было поднять крышку. Водка в самом деле пригодилась: она дает тот внутренний жар, который позволяет противопоставить себя, живого, другим, кажущимся тогда менее живыми, а уж тем более деревьям, камням, свисту ветра и ночным призракам.

То, что они обнаружили, подтвердило все догадки. Во-первых, тело ничуть не разложилось. Рассказывали, что оно сохранилось, словно было похоронено вчера. Доказательство достаточное: только тела святых и упырей имеют такое свойство. Во-вторых, Магдалена лежала не на спине, а лицом вниз — это тоже знак. Впрочем, они и без того готовы были сделать все, что нужно. Но поскольку доказательства были налицо, это далось им еще легче, без колебаний.

Они перевернули тело на спину, и один из них, ударив с размаху самой острой лопатой, отрубил Магдалене голову. Заостренный осиновый кол был уже наготове. Они приставили его к груди покойницы и ударили по нему обухом, так что он пробил гроб снизу и вонзился в землю. Затем, взяв голову за волосы, положили ее в ноги, закрыли крышку и закопали — теперь уже с облегчением и даже с шутками, как это обычно бывает после большого напряжения.

Быть может, Магдалена так боялась физического разложения, так отчаянно сопротивлялась, не желая входить в иное, чуждое ей время вечности, что готова была заплатить любую цену, согласилась пугать людей, обретя взамен за эту тяжелую повинность право сохранить тело нетронутым? Быть может. Видевшие клялись, что губы ее остались красными. Отрубая ей голову, сокрушая ребра, крестьяне положили конец ее телесной гордыне, языческой привязанности к своим губам, рукам и животе. Прокولاتая, как бабочка булавкой, касающаяся ногами в сапожках, которые подарил ей Пейксва, собственного черепа,

теперь она должна была признать, что превратится, как все, в соки земли.

Беспорядки в плебании прекратились немедленно, и с тех пор никто уже не слышал ни о каких проделках Магдалены. Впрочем, не исключено, что успешней, чем стряпней на невидимой кухне, стуком и свистом, она продлила свою жизнь, войдя в сон Томаша, который не забыл ее никогда.

XIX

В ту осень, когда бесчинствовала Магдалена, сады уродили на славу, а поскольку продавать фрукты было некуда, ими кормили свиней, собирая для домашних нужд и хранения только лучшие сорта. В траве гнили кучи груш и яблок, среди которых жужжали осы и множество шершней. Один укусил Томаша в губу, так что все лицо распухло. Их не всегда можно было заметить: они протискивались внутрь сладкой груши через узенькую дырочку, и лишь когда плод встряхивали, оттуда высовывалось пульсирующее полосатое брюшко. Томаш помогал собирать урожай, залезая на деревья, и испытывал гордость, что взрослые не умеют так, как он, по — кошачьи взбираться — даже на тонкие сучья. А тем временем созревали все новые сорта: цукровки, добрые серые, липовки, сапежанки, бергамоты.

Летне-осенней порой Томаш добрался до библиотеки. Раньше эта угловая комната с выкрашенными масляной краской стенами — такая холодная, что когда на дворе стояла жара, там пробирала дрожь, — казалась ему неинтересной. Теперь он выпросил ключи от шкафов и все время вытаскивал из них что-нибудь забавное. В одном из этих шкафов, застекленном, он нашел книги в красных переплетах: на обложках золотые украшения, а внутри много рисунков. Прочитать подписи он не мог, потому что написано было по-французски. Девочку на этих рисунках звали Софи, и она носила длинные панталоны с кружевами. В другом шкафу, стенном, среди паутины и пожелтевших бумаг он раскопал том трагедий Шекспира и проводил с ним много времени на газоне, с самого краю, где у зеленой стены кустов пахло мхом и чабером. Кроме него этот уголок облюбовали большие рыжие муравьи, и порой он яростно тер одну ногу о другую — кусались они больно. В просвете между верхушками елей дрожало пространство, за маленькими телегами по ту сторону долины тянулись клубы пыли. В книге люди в доспехах или коротких одеждах (голые у них эти ноги или на них такие обтягивающие штаны?) скрещивали мечи, падали, пронзенные кинжалами, от страниц с ржавыми пятнами тянуло затхлостью. Томаш водил пальцем по рядкам бутов, но, хотя написано было по-польски, к книге охладел и решил, что речь в ней идет о каких-то взрослых делах.

Больше радости приносили ему книги о путешествиях. В них голые негры с луками стояли в тростниковых лодках или тащили на веревках гиппопотама — такого же, как в естественной истории. Их тела были испещрены полосами, и Томаш размышлял, действительно у них вся кожа в линиях, или это только так нарисовано. Ему часто снилось, что он плывет с неграми по все более труднодоступным заливам среди папирусов выше человеческого роста и строит там деревню, в которую никогда не попадет никто чужой. Он прочитал две такие книги, благо написанные по-польски (собственно, по ним он и научился читать — так они его увлекли), и тогда начался совершенно новый период.

Для луков Томаш выбирал лещину, но не ту, что растет на солнце: она большей частью кривая. Он заползал в тень под кустами, где нет травы — лишь груды спутанного сушняка, а в них шмыгают королевки со своим тревожным «чик-чик-чик». Лещина там тянется вверх, чтобы выглянуть на свет, и такие прутья — совершенно прямые, без веточек — подходят лучше всего. В таком темном гроте Томаш устроил и тайник, где хранил оружие.

К стрелам он прибывал индюшачьи перья, чтобы лучше летали, и ходил с ними на охоту, а дичь придумывал сам — например, ею мог быть круглый куст крыжовника. Он подолгу просиживал на мостках, построенных, чтобы набирать в лейку воду из пруда — не Черного, а другого, между флигелем, садом и фольварковыми постройками. Он представлял себе, что плывет, и стрелял в уток; раз это привело к расследованию: одну утку нашли на середине

мертвой, но Томаш не признался. Впрочем, возможно, она умерла и по другой причине. Индейцы охотятся на рыбу с луком, поэтому он высматривал рыбу на речном мелководье (чтобы не потерять стрелу), но та всегда вовремя ускользала.

В слякотные дни, сидя за столом, намертво прибитым к крыльцу, он рисовал мечи, копья и удочки. Здесь стоит обратить внимание на одну черту его характера. Однажды он начал рисовать луки, но вдруг остановился и порвал бумагу. Луки он любил, и как-то ему пришло в голову, что любимый предмет не надо изображать, что он должен остаться в тайне.

Раз бабушка Мися взяла его с собой на чердак и показала сундук, доверху набитый всяким старьем. Там были и обложки! И Томаш наткнулся на приключения мальчика, который пробрался на корабль и плыл в трюме, где пищей его были сухари, а серьезная опасность грозила со стороны крыс. Воду он нашел в бочках — сладкую воду.²¹ Значит, она была с сахаром? Томаш так это себе представлял и этим объяснял радость мальчика, когда тому удалось просверлить в бочонке дырку.

О прочитанных историях особенно хорошо думалось в уборной. К ней вела тропинка под нависшими кустами смородины. Дверь запиралась изнутри на крючок, и через вырезанное в ней сердечко можно было наблюдать, кто туда направляется. Сквозь щели просвечивало солнце, а вокруг звенела неумолкающая музыка мух, пчел и шмелей. Иногда мохнатый шмель, тяжело гудя, пролетал сзади над ямой, вонь из которой Томаш втягивал с наслаждением. По углам плели свои сети пауки. На поперечной балке виднелись стеариновые потеки от прилепавшихся сюда свечей. В боковых стенках тоже были щели, но сквозь них не было видно ничего, кроме листьев черной бузины.

Если через сердечко в двери Томаш замечал промелькнувшую Антонину, он прерывал свои раздумья и быстро застегивал штаны. На другом конце тропинки у помойной ямы Антонина резала кур. Она выпячивала и сжимала губы, готовясь к удару секачом и укладывая куру на пенек; та — испуганная, но в меру, — наверное, размышляла, что из всего этого выйдет, или не думала ничего. Сверкал секач, лицо Антонины искажалось, словно от боли (но в то же время как будто улыбалось), а дальше — хлопанье и подсакивание пернатого комка на земле. Томаша тогда пробирал озноб — ради этого он и приходил. Однажды это произошло действительно необычным образом. Петух — огромный, со взъерошенными, отливающими золотом перьями — взлетел уже без головы, неся перед собой красный обрубок шеи. Этот безгласный полет стоил открытого от изумления рта Антонины и как бы одобрения, потому что петух упал, лишь ударившись о ствол липы.

Теперь Томаш реже ходил на реку с удочкой и реже бегал к Акулонисам — может, из-за Магдалены, а может, из-за книг. Уединенные места на берегу Иссы стали казаться ему опасными. Что до охоты с луком, то ему как-то не хотелось разделять ее ни с кем из детей: его бы сразу засмеяли — то ли дело серьезные занятия вроде рыбалки или вырезания ивовых дудочек. А еще он предпочитал, чтобы никто не видел некоторых его игр, слишком ребяческих для большого мальчика: он расставлял две армии из воткнутых в песок палочек и сражался то за одну, то за другую, атакуя солдат противника артиллерией из камней.

XX

В начале зимы из Дерпта в Эстонии приехала бабка Дильбинова. Комната, которую она заняла, очень привлекала Томаша. Ненамного выше его ростом, розовощекая, бабка была полной противоположностью бабушки Мисы: обо всем хлопотала, штопала Томашу носки и штаны, устраивала ему уроки и экзаменовала по Закону Божию. Но важнее всего была ее несхожесть с остальными. Бабка курила сигареты с длинным мундштуком — научили ее этому, как она сама говорила, невзгоды, а сигареты помогали немного успокоиться. Из сундука, который она с собой привезла, можно было вынуть плоский ящик, и тогда открывался

²¹ В польском, как и во многих других языках, выражение "сладкая вода" означает воду пресную.

доступ к жестяным и деревянным шкатулочкам, к мешочкам, перевязанным ленточками, к разным маленьким вещицам, тщательно завернутым в газету. Обряд раскладывания содержимого сундука совершался нечасто, сохраняя свой праздничный характер. В такие дни Томашу всегда доставался какой-нибудь подарок, например, брусок настоящей китайской туши. Бабка объяснила, для чего она служит, но его восхищали прежде всего форма, чернота и острота углов.

Никогда прежде не узнавал он о мире так много нового, как теперь. Бабка провела молодость в Риге и рассказывала ему о прогулках в Майоренгоф:²² о купании в настоящем море, о том, как однажды ее чуть не смыла волна, о своем отце, прадеде Томаша, докторе Риттере, который лечил детей бесплатно, если их родители были бедными; о том, как его любили и каким считали балагуром, поскольку он часто выкидывал разные невинные штучки: передевался, строил забавные гримасы, и однажды ее мать даже бросила ему в шляпу монетку, решив, что это нищий — так хорошо он изменил внешность. Услышал Томаш и о театре, об опере: на сцену, покачиваясь, выплывал лебедь, и можно было поклясться, что его действительно несет вода. Бабка произносила имя певицы — Аделина Патти²³ — и вздыхала. Вздыхала она и при воспоминании о вечерах в Риге, где собиралось много молодежи: они играли, пели, ставили живые картины. А еще деревня — поместье Имброды²⁴ близ Динабурга, принадлежавшее Молям, семье ее матери. И, стало быть, путешествия в карете через полные разбойников леса; одинокие постоялые дворы, чьи хозяева были с разбойниками в сговоре; кровать-гильотина, балдахин которой ночью падал и убивал постояльца, а кровать с телом опускалась в подвал — такой механизм. Карета на пароме — кони испугались, и все утонули. Горничная в Имбродах — парни пугали ее, просовывая за зеркало (она любила прихорашиваться) длинные чубуки своих люлек и внезапно выпуская на нее дым. Раз они вынесли ее вместе с кроватью и поставили в озеро, а она не проснулась — только потом кричала, не понимая, где находится. И прогулки по этому озеру в белой лодке под парусами. Все это Томаш вылавливал из других событий и имен, которые его не слишком интересовали.

От бабки он услышал и истории о проделках знаменитого на всю Литву обжоры и оригинала Битовта. Когда наступало лето, Битовт велел закладывать деревянную бричку, а на задок класть фураж для лошадей. Облаченный в пыльник, он устраивался позади возницы и отправлялся в путешествие, длившееся несколько месяцев, ибо он часто останавливался, заезжая во все попадавшиеся по дороге имения. И везде его принимали по-царски — отчасти потому, что боялись его острого языка, чтобы потом на них не набрехал. На этой своей бричке он курил сигары, а окурки бросал за спину и однажды еле успел выпрыгнуть, потому что лежащее сзади сено вспыхнуло. Как-то на рыночной площади местечка он подошел к еврею, продававшему апельсины, и спросил, сколько можно съесть зараз; еврей ему, что пять, а Битовт на это, что он съест копу;²⁵ еврей в ответ, что отдаст даром тому, кто сумеет это сделать. Битовт закончил пятый десяток, а еврей уже в крик «Гевалт, ун съел копу апельсин, ун сейчас помрет!» В своей усадьбе Битовт держал превосходного повара, с которым постоянно вступал в перепалки. Вечером он требовал повара к себе и стонал: «Негодник, выгоню я тебя! Опять так вкусно приготовил, что я обожрался и спать не могу». Но вскоре звал его снова и спрашивал, что будет завтра на обед.

Благодаря разговорам с бабкой Томаш узнавал и кое-что из истории. Над бабкиной

²² Майоренгоф — ныне Майори, один из курортных поселков, входящих в состав современной Юрмалы.

²³ Аделина Патти (1843–1919) — знаменитая итальянская оперная певица.

²⁴ Ныне литовская деревня Имбрадас неподалеку от границы с Латвией и города Зарасай.

²⁵ Копа — старинная европейская счетная единица, равная шестидесяти предметам.

кроватью висел извлеченный из сундука ринграф²⁶ с Божьей Матерью, а над столиком — маленький портрет прекрасной девушки с открытой шеей, выступавшей из распахнутого воротника. Девушку звали Эмилия Платер, и между ней и Томашем было дальнейшее родство через Молей, чем Томаш должен был гордиться, потому что о ней сохранилась память как о героине. В 1831 году она села на коня и командовала в лесах повстанческим отрядом. Умерла она от ран, полученных в битве с русскими. А ринграф принадлежал дедушке, Артуру Дильбину, который в молодости тоже выбрал лес. Это было в 1863 году (запомни, Томаш: в тысяча восемьсот шестьдесят третьем). Девиз повстанцев: «За нашу и вашу свободу» — означал, что они сражаются и за свободу русских, — но царь тогда был могуществен, а у них были только двустволки да сабли. Командира дедушки Артура, Сераковского,²⁷ царь повесил, а самого деда сослал в Сибирь, откуда тот вернулся лишь спустя много лет и вскоре женился. Отец и дядя Томаша сейчас в Польше, в армии, и тоже воюют с русскими.

Бабка Дильбинова ходила по комнатам одетая так, словно собралась в город, — даже с янтарной брошкой. Вниз, как подсмотрел Томаш, она надевала несколько шерстяных рубашек, да еще стягивала талию чем-то вроде корсета с китовым усом. Ее бледно-голубые глаза становились беспокойными, а на губах появлялось незащитное выражение, когда бабушка Мися по своему обыкновению задирали юбку у печи. Ее раздражало, что та насмешничала и глумилась над человеческими чувствами. Например, если она говорила, что кто-то любит девушку, Мися терлась задом о кафель печи и, по-литовски растягивая слова, спрашивала: «А почему, скажите, он ее любит?» И всегда это «почему» — как будто недостаточно того, что люди желают, дрожат и страдают. Гневное пожатие плечами, ворчание о «языческих нравах» — да, но Томаш не склонялся на сторону бабки Дильбиновой, ибо угадывал в ней слабость. И это несмотря на всю ее доброту. Она заламывала над ним руки — что он запущенный, оборванный, растет дичком — и этим его портила: раньше он считал обычным делом самостоятельно пришить себе пуговицы ниткой и иголкой Антонины, а теперь обращался за каждой мелочью, потому что кто-то о нем пекся и был к его услугам.

В сутулости круглых плеч бабки Дильбиновой, в жилках на ее висках крылось что-то хрупкое. Томаш убедился, что в какой бы ранний час он ни заглянул в ее комнату — хоть в шесть, хоть в пять, — она всегда сидела в кровати и читала молитвы — громко, почти с криком, — а взгляд к нему обращала отсутствующий, заплаканный, и две влажные струйки прочерчивали дорожки по ее щекам. Бабушка Мися зимой спала до десяти, а проснувшись, сладко по — кошачьи потягивалась. По вечерам в комнате бабки Дильбиновой долго слышались шаги. Она ходила и курила свои сигареты. Монотонный топот в тишине дома убаюкивал Томаша. Днем на прогулку по саду бабка никогда не выходила одна — она нуждалась в его присутствии, ибо страдала головокружениями. Она останавливалась на середине дорожки с протянутыми руками и кричала, что падает, чтобы он ее поддержал. Когда однажды они ехали на лошадях к соседям, в том месте, где дорога проходит по краю обрыва, она закрыла глаза и, минутой спустя, спросила, позади ли уже эта пропасть.

Томаша так и подмывало сделать ей какую-нибудь гадость или испытать ее терпение. На призывы взять ее под руку на прогулке он отвечал не сразу, прятался за дерево и вообще делал все, чтобы вырвать из этого круглого розового комка боязливые причитания: «О-е, о-е».

XXI

Дочь графа фон Моля вышла замуж за доктора Риттера, и от этого брака родилось шесть

²⁶ Ринграф — металлическая пластинка с гербом или изображением святого, которую носили на груди военные.

²⁷ Зигмунт Сераковский (1827–1863) — организатор тайного Кружка польских офицеров в Петербурге, один из руководителей восстания 1863–1864 гг. Казнен в Вильне на Лукишкской площади.

дочерей, младшей из которых, Брониславе, со временем суждено было превратиться в бабушку Дильбинову. В память о днях тепла, любви и счастья, продолжавшихся до восемнадцатого года жизни, она хранила в сундуке исписанные мелким почерком тетради. В те времена она сочиняла стихи. Несколько засушенных цветов пережили близких ей людей.

Константин прекрасно играл на рояле, пел баритоном и на вечеринках рижской молодежи слыл декламатором патриотической поэзии. Но родители были против, слишком молод, легкомыслен, да к тому же без гроша за душой. Вскоре после разрыва появился новый кандидат, и Бронча впервые извела одинокий плач в ночи и смятение, когда решается судьба. Артур Дильбин, тогда уже не первой молодости и даже пожилой, пользовался репутацией человека солидного; кроме того, его озарял ореол мученичества. Имение у него конфисковали за участие в восстании, но будущее его было обеспечено: он управлял поместьями родственников. Его предложение было принято, и Бронча покинула город своей молодости, переехав в глухую деревню, где ее ждали хлопоты с прислугой и разбор счетов в молчаливые вечера под абажуром лампы, при свете которой Артур курил трубку.

Вот его портрет: высокий лоб, узкое лицо, гордый и резкий взгляд, щеки, впалость которых подчеркивают пышные белокурые волосы. Широкоплечий, сухопарый, руку закладывает за кожаный ремень с пряжкой. Во дворе держит свору собак и каждую свободную минуту посвящает охоте. Питает слабость к гонкам на тарансах, этому состязанию между возницей и лошадьми, когда натянутые вожжи сдирают кожу с ладоней. Будучи нежным мужем, передает кое-какие средства матерям своих окрестных внебрачных детей так, чтобы жена этого не замечала. Впрочем, дети появились в основном еще в холостяцкие времена. Все в округе знают, что в юности Артур Дильбин спас от угасания один аристократический род, навещая графиню, чей муж впал в полный идиотизм. Эта болтовня его ничуть не задевает. Он поглаживает усы и при встрече исподлобья смотрит на молодого графа, который вырос парнем хоть куда.

Самоотречение и долг. Потом дети, и на них Бронислава переносит всю свою любовь. Когда старшему, Теодору, исполняется семь, она берет его с собой на лето в Майоренгоф, на море, но уже не находит там той красоты, какую знала прежде. Младший сын рождается в год смерти Артура, простудившегося на охоте. Она называет его Константином.

Как бы далеко ни углубляться в историю рода Дильбинов, Риттеров и Молей, невозможно отыскать там какие-либо следы фамильного сходства с Константином. Темные глаза, низкий лоб, заросший черными как смоль волосами, оливковая кожа южанина, горбатый нос. Худой и нервный. В детстве все его обожают: у него золотое сердце, и стоит его о чем-нибудь попросить, как он тут же готов отдать всё, даже собственные пальто и куртку. К тому же это необычайно одаренный, подающий большие надежды мальчик. Однако когда Бронислава переезжает в Вильно, чтобы дать сыновьям образование (а удастся ей это с трудом, ибо рассчитывать она может только на собственную изворотливость), выясняется, что Константин не хочет учиться. Его утомляет малейшее усилие. Мать умоляет его, падает перед ним на колени, сулит подарки, угрожает. Он знает, что угрозы останутся невыполненными, что до подарков, то нет такой вещи, которой бы он не добился от матери. Вскоре он попадает в дурную компанию картежников и распутников, пьет, залезает в долги, путается с девками из кафешантанов. Наконец его исключают из четвертого класса гимназии, и на этом образование его заканчивается.

Между тем старший сын, Теодор, учится в Дерпте на ветеринара и, получив диплом, содержит мать и брата. Похожий лицом и сложением на отца, он более мягок и склонен к романтическим мечтаниям. Его тяготит бремя ответственности и добросовестности, манят путешествия и приключения — все Дильбины немного авантюристы, а один из них даже служил в наполеоновской армии и участвовал в итальянской и испанской кампаниях. Он женится на Текле Сурконт, с которой знакомится, когда приезжает на каникулы к кузенам, живущим недалеко от Гинья. Он — отец Томаша. Начало войны он воспринимает без недовольства, как предвестие перемен: для него это предсказанная без малого столетие назад «война народов», которая должна положить конец могуществу Северного тирана.

Слезы Брониславы Дильбиновой, которые она поначалу украдкой глотала, все смелее прочерчивали дорожки по ее щекам. Она молила Бога помиловать Константина и простить ему ее грехи, если он наказан за них. Ее просьбы возносились к небесам в рассветный час, когда выяснилось, что он подделывает подпись брата на векселях, и потом, когда, мобилизованный в русскую армию, он получил назначение в унтер-офицерскую школу, откуда должен был отправиться на фронт. Когда он сражался на фронте, она дрожала за него, а не за Теодора, который, будучи специалистом, находился где-то в тылу. Наконец она получила известие, что он ранен и попал в плен. С тех пор посылки в обшитых холстом фанерных ящиках, адресованные Красному Кресту, доходили до него в неизвестной точке Германии. Она считала дни от посылки до посылки, шила мешочки для сахара и какао, прикидывала, как бы напихать в ящик побольше. Но вот 1918 год и его письмо, в котором он сообщал, что от той шрапнельной раны остался только шрам на груди; что из лагеря он пытался бежать через подкоп, но его поймали; что теперь он уже на свободе и поступает в польскую кавалерию.

А война продолжалась — между Польшей и Россией, где убили царя. Теодор с женой навестили бабушку Дильбинову в Дерпте, направляясь из-под Пскова на юг по зову патриотического долга. Она перебирала бусинки четок, представляя себе ночные марши, Константина, сутулящегося на коне в дождь и метель, кавалерийские атаки с поднятыми саблями и его уже однажды разорванную грудь, подставленную под пули. Ее преследовали мертвые лица: заняв Дерпт, немцы расстреляли большевистских комиссаров, а тела бросили на площади, запретив хоронить. Они лежали, скованные инеем, остекленевшие.

Она молила оставить Константина в живых. Но в эти рассветные часы ее пронизывала другая тревога — тревога времени, переплетения прошлого и будущего. Все его измышления. Все те случаи, когда она заставляла его склонившимся над ящиком Теодора и тайком вытаскивавшим оттуда ассигнации, и ее дрожь, когда нужно было сказать, что она заметила. Он бледнел и краснел, ему было жаль ее. И всегда потом этот миг: вскинута голова, переход к наглости. Он верил в свою ложь, и это было самым горьким. В нем крылась какая-то неспособность переживать мир таким как есть, — он украшал его своими фантастическими идеями, вечно был уверен, что открыл новый способ сколотить состояние, оправдывающий минутную подлость. Она знала, что он не изменится. Мольба, призывавшая его вернуться, не была чистой. Перед ее глазами постоянно вставали картины неизбежных последствий его слабости, неспособности к какому-либо труду, отсутствия профессии. Какие-то сутенерские притоны в больших городах, мужчины, играющие в карты с прислонившимися к их плечу проститутками, и среди всего этого он, ее маленький Костусь. Мольба не была чистой, и она чувствовала себя виноватой — потому и возвышала голос и раскачивалась в такт словам литании, пытаясь этим движением отогнать страдание. Именно эти возгласы: «Башня из слоновой кости», «Хранилище Завета»²⁸ — и слышал Томаш через дверь.

Ее грехи. Об этом никто не узнает. Может, только вникая в себя, в движение своей крови, во всю свою телесную самость, которую язык не в состоянии передать другим, она натыкалась там на изъян, на вину самого своего существования и рождения детей. Это тоже можно предположить. Вероятно, мнительную совесть и склонность к самобичеванию Томаш унаследовал от нее. Впрочем, дразня ее, он мстил за то, что стыдился, словно речь шла о нем самом, когда слышал ее причитания: «О-е, о-е».

XXII

Близилась весна, лед на пруду покрылся водой, и на нем исчезли царапины от башмаков Томаша — он катался или просто забавлялся, стуча по зеленой поверхности, в которую вмерзли недосыгаемые насекомые и листья водорослей. Снег был уже усталый, в полдень с

²⁸ Воззвания из Литании Пресвятой Деве Марии.

крыши капало, и капли пробивали вдоль дома линию из дырочек. Вечером светло — розовый свет на белых бугорках сгущался, становясь желтым и карминовым. Следы людей и зверей темнели собравшейся в них влагой.

Томаш увлеченно рисовал, а толчком к этому послужили немецкие иллюстрированные журналы, привезенные бабкой Дильбиновой. В них он разглядывал пушки, танки и аэроплан «Таубе», который ему чрезвычайно понравился. Аэроплан два раза появлялся над Гиньем, но высоко — люди собирались и показывали пальцами в небо, откуда доносился гул. Теперь Томаш увидел, как он выглядит на самом деле. На его рисунках солдаты бежали в атаку (движение ног передать нетрудно — нужно согнуть их палочки там, где колени), падали, из стволов вырывались пучки прямых линий и летели пули — ряды прерывистых черточек. А над всем этим парил «Таубе».

Прежде чем перейти к случаю, имеющему некоторое отношение к тем сценам, которые Томаш придумывал на бумаге, надо рассказать о расположении комнат во флигеле. Зимой жили только в той его части, окна которой выходили в сад, то есть внутрь угла, образуемого старой усадьбой и пристройкой. Сначала ткацкая (там работал Пакенас), затем кладовка для шерсти и семян, дальше комната бабки Дильбиновой, а за ней та, в которой спал Томаш. Потом логово бабушки Миси и уже в самом углу — дедушка.

В то утро Томаш проснулся рано — ему было холодно. Он вертелся и ежился, но ничего не помогало: на него дул морозный воздух. Отвернувшись от окна, он натянул на себя одеяло и стал разглядывать солнечные блики на стене. У стены на большом куске полотна рассыпали муку, чтоб подсыхала. Лениво водя по ней глазами, он вдруг заинтересовался: что-то в ней блестело, словно кристаллики льда или соли. Томаш вскочил и, присев, потрогал: осколки стекла. Тогда он удивленно оглянулся на окно. В стекле была дыра размером с два кулака, а вокруг звездообразно расходились трещины. Он тут же побежал к бабушке Мисе, крича, что ночью кто-то бросил из сада камень.

Однако это был не камень. Искали долго. Наконец, покопавшись под кроватью Томаша, дед вытащил из самого угла черный предмет и велел его не трогать. Послали в село за кем-нибудь служившим в армии. Черный предмет (Томаш потом мог рассматривать его сколько душе угодно) был похож на большое яйцо и очень тяжел. Посередине его опоясывало как бы зубчатое кольцо. В саду под окном обнаружили следы сапог и взрыватель. Кто — то вспомнил еще, что ночью собаки лаяли с особым остервенением.

Граната не взорвалась, хотя могла, и тогда, наверное, схоронили бы Томаша под дубами, недалеко от Магдалены. Мир продолжал бы жить, вернулись бы, как обычно, из заморских странствий ласточки, аисты и скворцы, а осы и шершни все так же выедали бы изнутри сладкие груши. Зачем понадобилось, чтобы она не взорвалась, не нам здесь судить. Она ударилась о стену, отскочила и катилась к кровати Томаша, а внутри нее зрело решение на самой границе «да» и «нет».

Дедушка Сурконт обеспокоился. В ответ на все рассказы о нападениях на усадьбы, чему было немало примеров совсем близко, на востоке, он благодушно покашливал и обращал эти страхи в шутку. Даже когда по лесам бродили толпы русских «пленников», промышленавших разбоем, он не принял никаких мер предосторожности. Кто из окрестных жителей мог бы на него напасть? Разве его не знали здесь с детства, и разве он причинил кому-нибудь зло? Ну, если только невольно... Что до ненависти между поляками и литовцами, то он убеждал поляков: литовцы имеют право на свое государство, а они, говорящие по-польски, — тоже «gente Lithuani».²⁹ Однако гранату кто-то бросил. Кто и в кого?

Посчитали окна: одно — деда, два — бабушки Миси, два — в комнате Томаша. Если бы это сделал человек, хорошо знающий дом, он бы, наверное, не метил в ребенка. Значит, либо это кто-то издалека, либо он ориентировался лишь приблизительно и ошибся.

Бабушку Мисю ничуть не взволновало, что ее могли до такой степени не любить. Она

²⁹ "Родом литвины" (лат)

излила на деда обычную порцию язвительных замечаний о его литвомании и крестьянофильстве, и чем ему теперь за это отплатили. Казалось, она не слишком печется о своей безопасности. Впрочем, предпринять какие-либо предохранительные меры было трудно: деревянные ставни закрывались снаружи, и только для ставней бабушки Дильбиновой отыскивали теперь всякий замок, поскольку она в самом деле боялась. После этого чудесного спасения она баловала Томаша как никогда и извлекла из глубин сундука, вмещавшего непостижимые сокровища, продолговатую коробочку с настоящими красками и кисточкой. Первым его рисунком был снегирь, потому что снегири (а они все время клевали зернышки в кустах перед домом) — это много красного, к которому добавляется голубое, смешанное с каплей серого и черного. Снегирь и пестрый дятел с красной головой, стучащий высоко над землей и стряхивающий с деревьев белый смерзшийся снег, — самые большие сюрпризы зимы.

Случай с гранатой выходил за рамки первопроходческих и военных фантазий Томаша. Крадущаяся сила, ночная тьма — это было совсем не то, что его солдаты и пираты. Следы на снегу заставляли его представлять высокие сапоги, стянутые ремнем куртки, перешептывание. В нем зарождалась подозрительность, и он пугался, когда встречал кого — нибудь из тех крестьянских парней, от которых веяло чем-то угрожающим, приобретенным в армии. Правда, еще летом, подходя к Иссе, он ступал осторожно, как индеец, — ведь они сидели там в зарослях. Раздавались смех и свист. Они стреляли из винтовки, и пули скакали по поверхности воды, как плоские камушки. Уважением в селе они не пользовались и отгораживались от других. Акулонис грозил им кулаком и называл бандюгами, потому что они пугали рыбу, а однажды даже глушили ее фанатами, чем вызвали всеобщее осуждение. — так рыбачить слишком легко, негоже.

Собственно говоря, меру безопасности предприняли только одну: в ткацкую поставили кровать, и туда переселился из свирна Пакенас, что было не слишком надежной защитой. Он слыл ужасным трусом — возможно, эта слава закрепилась за ним с тех времен, когда он поднял крик, добравшись до живых людей после бегства от духа скердзя. Впрочем, к таким подозрениям склоняет внешний *вид* человека — в данном случае его выпученные глаза,двигающиеся как у рака. У Пакенаса, кроме суковатой палки, был старый револьвер, но патронов к нему не было.

XXIII

Юзеф Черный сосредоточенно взбирался по дороге в село. Он вяз в каше снега, смешанного с конским навозом, а в колеях, продавленных полозьями саней, журчали ручейки. Юзеф расстегнул куртку из серого домотканого сукна. Перед крестом он снял шапку и прищурил глаза от блеска: белый склон, а на его вершине, на краю парка, — белая стена барского амбара. Внизу, над Леском, в заливчике Иссы, с весенним карканьем кружили вороны.

Юзеф не свернул в аллею и, пройдя место, где она начиналась, двинулся вдоль сада к куметыне.³⁰ Раньше во всех избах по обе стороны дороги жили кумети — работавшие в поместье батраки. Теперь они занимали только несколько изб — в остальных ютилась всякая беднота, ходившая на заработки то туда, то сюда. Юзеф вежливо отвечал на приветствия, но слишком торопился, чтобы останавливаться. За куметыней, у креста с голубцом,³¹ он повернул направо, к деревеньке Погиры и темной линии леса.

Погиры — деревня длинная, ее главная улица тянется больше версты, а есть еще и другая, поперечная. Довольно зажиточная деревня — здесь не встретишь крыш, крытых

³⁰ Куметыня (отлит. kumetynas) — батрацкие избы Kumetis — наемный работник, батрак в имени

³¹ Голубец — двускатная крыша.

соломой, или курных изб. Сады здесь немногим хуже, чем в Гинье. Кроме того, местные жители держат много пчел, которые собирают темный мед с гречихи, клевера и лесных лугов. Возле третьей избы, за выкрашенным в зеленый цвет домом американца Балудиса Юзеф остановился и заглянул за острые доски забора. Старый мужик в коричневом шерстяном кафтане (овцы в Погирах в основном коричневые и черные) тесал во дворе бревно. Юзеф толкнул ворота и после рукопожатия заметил, что елка знатная. Старик ответил, что ничего — пригодится, а то вон свирон подпереть надо. Видимо, елка попала сюда благодаря Бальтазару, но это было уже не Юзефово дело.

Молодой Вацконис вылез откуда-то заспанный. Вычесывая из волос солому и перья, он оказывал Юзефу несколько смущенные знаки почтения и смотрел на него неуверенным взглядом. Одет он был в темно-синие галифе и военную гимнастерку. Его широкое лицо помрачнело, когда Юзеф объявил, что пришел по делу.

Поставив цинковую кружку и утерев тылом ладони усы, Юзеф молча всматривался в него. Наконец облокотился на стол и сказал:

— А вот, я знаю.

Тот — в углу, на краю лавки — заморгал веками, но тут же сонно опустил их и пожал плечами.

— Нечего тут знать.

— Может, нечего, а может, и есть чего. Я к тебе пришел, потому что ты дурень. Кто тебя читать научил? Али не помнишь?

— Вы.

— Ай-ай, а может, затем научил, чтобы ты в людей гранаты бросал?

Вацконис поднял веки. Теперь его лицо было взрослым и серьезным.

— А если и я, то что? Не в людей, а в панов.

Юзеф положил на стол табакерку из карельской березы и скрутил сигарку. Вставил ее в мундштук, закурил, затянулся.

— Ты, может, видел, чтоб я за панов был?

— Не видел, но вижу.

— Отец тебе не скажет, так я скажу. Ты слушай тех, кто умнее, а не таких же, как ты. У вас головы пустые.

Вацконис сложил руки на груди, желваки у него заходили.

— Паны нашу кровь пили, и нам их не надо. Убьешь одного, второго — удерут в свою Польшу. А земля наша.

Юзеф издевательски покачал головой.

— Панов нам в Литве не надо, земля наша. От кого ты это слышал? От меня. А теперь учить меня вздумал? Хочешь жечь и убивать, как русаки?

— Царя у них нет.

— Нет, так будет. Ты — литовец, а литовцы — не бандиты. Землю у панов мы и так отберем.

— Кто там у них отберет...

— Литва отберет. А все славяне — что поляки, что русские — одна дрянь. Я в Швеции работал — по — ихнему нам жить.

Вацконис нахмурил брови и слушал, глядя в окно.

— Каждый поляк — наш враг.

— Сурконты — спокон веку литовцы.

Вацконис засмеялся:

— Какой же он литовец, ежели пан?

Юзеф опять покачал головой.

— Ай-ай, хорош, нечего сказать. Благодарю Бога, что граната не взорвалась. А кого бы она убила, тебе говорили?

— Не говорили.

— Малого Томаша. Под его кроватью нашли.

— Дильбинюка?

— Ага.

Они помолчали. Не отрывая губ от кружки, Вацконис процедил:

— Все знают, где его отец. Яблоко от яблони...

— Дурак. А на похороны пришел бы?

— А чего мне ходить?

Губа Юзефа поднялась, обнажив зубы. Он покраснел.

— Ты, Вацконис, теперь смотри. Кто тебя подговорил и кто ночью с тобой был, я тоже знаю. И твоих «Железных волков»³² не боюсь. Вы только с бабами да с детьми воевать умеете.

Вацконис вскочил.

— Не ваше дело, подговорил или не подговорил! Юзеф откинулся назад на своем табурете и посмотрел на него снизу вверх.

— Ты что? Видать, из поляков, раз такой гонористый, — сказал он презрительно.

XXIV

Лед на Иссе трогался с грохотом пушечных выстрелов. Потом по реке шли льдины и несли доски, солому, вязанки хвороста, мертвых кур, а по всему этому мелкими шажками расхаживали вороны. В это же время во дворе оценилась собака Мурза, но долго сохранять в тайне свое логово ей не удалось — щенки пищали. Томаш прижимал к лицу эти теплые комочки и заглядывал им в глаза, подернутые голубой дымкой. Рыжеватая Мурза с замызанной пятнистой мордочкой — не то волк, не то лиса — тяжело дышала, свесив язык, и благосклонно разрешала брать своих детенышей.

Пакенас положил щенков в корзинку, а Мурзу запер в деревянном сарае с одним, самым крупным и резвым, которого ей оставили. Томаш побежал за Пакенасом и догнал его у крутояра над рекой — такие обрывы сверкали желтой глиной, изрешеченной гнездами ласточек-береговушек. Лед уже сошел, в выпуклом омуте кружились вихри водоворотов.

Пакенас размахнулся и бросил песика. Всплеск, тишина; течение разорвало и погнало вниз круги, пока его голова не вынырнула немного дальше. Он перебирал лапками, опять исчез и в конце концов показался на повороте. Теперь Пакенас брал из корзинки по два щенка — одного бросал, другого прижимал к груди. Последний погрузился в воду лишь на секунду; он отчаянно боролся, но его вынесло на середину, и Томаш проводил его взглядом.

Из тепла, из окружения вещей, которых они еще не различали, — в ледяную воду. Они даже не знали, что такая вода где-то есть. Томаш возвращался в раздумье. В его любопытство закралась тень из сна о Магдалене. Он открыл дверь деревянного сарая и погладил Мурзу, которая тревожно поскуливала и сразу же вырвалась, приносиваясь.

Первые погожие дни. На дровоколье копошились куры, а старый Гжегожуня уселся на свою лавку и что-то стругал. Ножиком, таким стертым от постоянного употребления, что лезвие сужалось почти как шило, он перерезал прутик одним махом — не то что Томаш, которому даже этим самым ножиком приходилось подрезать с двух сторон, прежде чем прутик ломался.

К дедушке Сурконту пришла Малиновская — арендовать сад. Необычная просьба, но она сказала, что хочет попробовать: сыну Домчо уже четырнадцать, и вместе они управятся. Дед пообещал, и она выгадала от того, что пришла раньше: через несколько дней с грохотом подкатила бричка Хаима, который приехал предложить в арендаторы своих родичей. В пользу Хаима говорили профессиональные гарантии и обычай — ведь арендуют всегда евреи. Но слово надо держать, и дело кончилось обычным вырыванием волос, криками и воздетыми к

³² "Железный волк" (лит. Gelezinis Vilkas), или Ассоциация железных волков — крайне правая литовская организация фашистского толка, созданная в 1927 году. В 1930 г. была запрещена, но продолжала действовать в подполье. В 1934 г. члены движения предприняли неудачную попытку государственного переворота. Милош переносит эту организацию в более ранний период — примерно в 1919 или 1920 год.

небу кулаками.

Малиновская — вдова, самая бедная во всем Гинье, — не сеяла и не жала: у нее была только изба рядом с паромом, без земли. Она была низкорослой и коренастой, а край платка возвышался над ее веснушчатым лбом как крыша — чуть ли не больше ее самой. Ее появление предвещало новую дружбу Томаша.

Спустя несколько месяцев, забежав в ту часть сада, что за рядом ульев (ульи стояли возле самой тропинки, и пчелы часто нападали), он увидел шалаш. Великолепный шалаш — не такой, какие строят табунщики, чтобы ночевать в лугах. Стоя посередине, не приходилось нагибать голову, а покрытие было из целых снопов соломы, прижатых жердями. Соединение на остром конце этой перевернутой буквы V укрепляли гвозди. У входа горел костер, а возле него сидел мальчик и пек на палочке зеленые яблоки. Он показал Томашу шалаш со всех сторон и изнутри.

Доминик Малиновский, веснушчатый, как мать, но высокий и с копной рыжих волос, сразу же стал кумиром Томаша, который испытывал неловкость, обращаясь к нему на «ты». Какое-то неприятное чувство тяготило его из-за этой привилегии по отношению к почти взрослому парню. Домчо допустил его к курению трубочки из ружейной гильзы, в которой была просверлена дырка, а в нее вставлен мундштук. Прежде Томаш никогда не курил, но теперь чмокал, хоть в горле у него и першило, стараясь поддерживать тление свернутого листа домашнего табака. Любой ценой — и с тех пор уже постоянно — он силился завоевать расположение холодных серых глаз.

Раньше, если он исчезал, Антонина отвечала на расспросы: «Томаш опять к Акулонисам побег». Теперь она говорила: «Томаш в шалаше». Неодолимая прелесть дымка, вьющегося среди деревьев, а внутри — запаха подгнивших яблок, соломы. И часов, проведенных у костра. Домчо умел плевать на несколько саженей, выпускать дым через нос (тогда в воздух поднимались две струйки), ставить ловушки на птиц и куниц (в парке куница гонялась за белкой вокруг ствола липы, но с установкой этих ловушек надо было подождать до следующей зимы), и, кроме того, учил Томаша ругаться. А от него требовал рассказов о том, что пишут в книгах. Сам он читать не умел, и все-то ему было интересно. Поначалу Томаш стеснялся: знания, приобретенные с помощью букв, казались ему неполноценными (это было так же стыдно, как, например, солидарность с бабкой Дильбиновой), но Домчо настаивал и никогда не довольствовался простыми ответами. Вечно: «а зачем?», «а как?», «а если так, то почему?». И Томашу не всегда удавалось объяснить — раньше он об этом не задумывался.

Тяга и покорность. Быть может, тяга к резкости и язвительности? Домчо выступал в роли первосвященника правды — его ирония и невысказанная насмешка взрывали поверхность знакомых Томашу явлений, и он чувствовал, что как раз под этой поверхностью бурлит нечто настоящее. И даже не длинные слизняки, которых они собирали и прижигали углями, чтобы те корчились, и не оводы, которым втыкали в брюшко соломинку и отпускали летать, и даже не крыса, которую Домчо запустил в туннель между раскаленными углями. Еще дальше и глубже. В каждом походе в садовый шалаш крылось новое обещание.

В конечном счете догадки были верны, ибо Домчо раскрывал перед Томашем только часть своей природы и относился к нему сдержанно. Ему не нужно было демонстрировать свое превосходство, и он снисходительно принимал почести. Кроме того, он щадил Томаша — потому что наивное доверие разоружает, а может, потому, что разумнее было не портить отношения с усадьбой. В том, как он говорил «хм-м-м» и обхватывал руками колени, когда Томаш упрямо хотел докопаться до недозволенных, не предназначенных для него сведений, заключалось очень многое — то самое, к чему малец тянулся. Если эта сдержанность в конце концов была внезапно нарушена, то произошло это по вине чертей с берегов Иссы или же по глупости самого Томаша, который пренебрег правилом, что нельзя всегда и везде таскаться за теми, кого обожаешь. Впрочем, откуда у него взяться такту, если он жил своими фантазиями и еще никто по-настоящему не утер ему нос.

Малиновская заглядывала в шалаш редко. В полдень она приносила сыну обед, но тоже не всегда, и Домчо варил себе щи, перочинным ножиком отрезал краюхи от большого черного

каравая и уплетал их с ломтиками сала. А еще — печеные яблоки и груши. Груши в золе вкусны необычайно, а картошка, которую они тоже пекли, покрывается хрустящей корочкой, и узнать, готова ли она, можно, вбив в нее острый прутик. Антонина приходила в шалаш, чтобы вытащить оттуда за шкуру Томаша, или с корзинами за «инспекцией» — так называется часть фруктов, отдаваемая арендатором на текущие нужды усадьбы, — и тогда нужно было помогать ей. Домчо она называла игриво и грубо: «ряпужук»,³³ то есть родич всех жаб.

XXV

Здесь следует отметить, что Домчо был тайным королем. Правил он при помощи скрытого террора, и строго следил, чтобы всё обходилось без шума. На королевскую позицию ему удалось выдвинуться благодаря силе и призванию повелевать. Получившие по зубам его крепким кулаком соблюдали запрет и никогда не осмеливались жаловаться родителям. Двор, окружавший его на сельском выгоне, как и полагается, состоял из ближайших приспешников — министров — и обычных лизоблюдов для мелких поручений — например, чтобы гонять коров, если те травили поле. К самым серьезным опытам Домчо допускал только приспешников.

Его критический ум, ничего не принимавший на веру и всегда требовавший научных доказательств, обращал пристальное внимание на все, что бегают, летает, скачет и ползает. Он отрывал лапки и крылья и таким образом пытался постичь тайну живых механизмов. Не обходил он вниманием и людей, и тогда его министры держали объект — тринадцатилетнюю Верчу — за ноги. Достижения техники его тоже интриговали: он долго смотрел, как строят мельницу, пока не смастерил ее точную модель — даже с собственными усовершенствованиями, — которую установил там, где в Иссу впадал ручеек.

Навязывая свою волю ровесникам, Домчо мстил за все, чего натерпелся от взрослых. Сызмальства он видел одни унижения: и мать, и он работали на чужих людей, чаще всего богачей, владевших шестьюдесятью-восемьюдесятью гектарами, — хуже не придумаешь. Смотреть им в глаза, угадывать и предупреждать их желания — якобы весело и добровольно, — бояться, что, когда дойдет до дела, они не дадут обещанного пуда ржи или пары старых сапог, — все это порождало ненависть и сомнения, не основан ли этот мир на какой-то лжи.

В начале того лета, прежде чем Домчо поселился в садовом шалаше, в его жизни произошло важное событие. Он хлопотал, угадывал и выполнял чужие капризы до тех пор, пока один бывший солдат не разрешил ему время от времени пользоваться своей винтовкой. Впрочем, это была плата за молчание о кое-каких делишках.

Обладание винтовкой совпало по времени со случаями бешенства в округе: в селе подозревали, что одного пса укусила бешеная собака. Поговаривали, что надо бы его убить, но никто не спешил за это браться, а тут как раз подвернулся Домчо, предложивший свои услуги. Пса ему отдали не слишком охотно: мало ли, может, на самом деле никто его и не кусал. Пес — большой, черный, с задраным хвостом и седой шерстью на морде — ластился к нему, радуясь, что его спустили с цепи и, вместо того чтобы зевать и искать блох, можно пойти на прогулку. Домчо дал ему поесть, а затем привел на берег озерца. Во время весенних паводков река подпитывала это озерцо на полуострове в излучине Иссы через заболоченную канавку — тогда на его теплом мелководье нерестились щуки. Летом озерцо высыхало, и в нем оставалось больше ила, чем воды. Постоянно там обитали только рыбки-колюшки. Вокруг — густая камышовая стена высотой с всадника на коне.

У одного из берегов, внутри кольца камышей, росла груша. К ней Домчо и привязал на толстой веревке пса, а сам с винтовкой уселся чуть поодаль. Из патронов он вытащил пули и

³³ От лит. guruziokas — жабий сын, жабеньш.

на их место вставил деревянные, выструганные специально на этот случай. Пес вилял ему хвостом и весело лаял. Момент настал: он мог выстрелить или нет. Он упирал приклад в плечо и все еще медлил, наслаждаясь самой возможностью. Ведь в том-то и суть, что пес ни о чем не догадывается, а он, Домчо, стоит перед выбором, решает. И еще в том, что от одного движения его пальца пес наверняка превратится во что — нибудь новое — не такое, как прежде. Но во что? Упадет он или будет дергаться? Так или иначе, под грушей и вокруг всё тотчас изменится. С убийством пулей никакое другое не сравнится: тишина, покой, точно и не было человека. И без гнева, без усилий он скажет: пора.

Камыш шумел, красный влажный язык свешивался из открытой пасти. Пасть с клацаньем захлопнулась: пес поймал муху. Домчо целился в блестящую шерсть.

Пора. На какую-то долю секунды пес содрогнулся, словно от изумления. И тут же бросился вперед, заливаясь хриплым лаем и натягивая веревку. Рассердившись на эту враждебность, Домчо выпустил вторую пулю. Пес упал, встал и вдруг понял. С оцетинившейся шерстью он отступал перед зловещим видением. Он получал новые пули изредка — так, чтобы умер не слишком быстро, и с каждой пулей все менялось, вплоть до момента, когда пес волочил зад, скулил и конвульсивно дергал лапами, лежа на боку.

В саду у костра Домчо вспоминал то мгновение и предавался богословским размышлениям. Если он так превосходит пса, что решает его судьбу по своему усмотрению, то не так ли и Бог поступает с человеком? На Бога он затаил обиду. Прежде всего — за Его глухоту к самым искренним мольбам о помощи. Когда однажды перед Рождеством в доме не было даже хлеба, а мать плакала, стоя на коленях перед святой иконой и читая молитву, Домчо потребовал чуда. Он залез на чердак, встал на колени, перекрестился и своими словами сказал: «Не может быть, чтобы Ты не видел, как терзается моя мать. Сделай чудо, а я отдам Тебе всего себя, и убей меня хоть сейчас — позволь только чуда дождаться». Спрыгнув с лестницы, он, уверенный в результате, спокойно уселся на лавку и стал ждать. Но Бог проявил полное безразличие, и они пошли спать голодными.

Кроме того, Бог, держащий в руке молнию — оружие получше винтовки, — явно благоволит лицемерам. В воскресенье они надевают праздничные костюмы, женщины зашнуровывают зеленые бархатные корсеты и завязывают под подбородком извлеченные из сундуков переливающиеся платочки. Они поют хором, возводят очи горе и складывают руки. Но стоит им только вернуться домой! У них есть всё, но хоть ты подыхай у них на пороге — не дадут, а сами будут жрать бандуки со шкварками и сметаной. Бить они умеют, затащив в свирон, чтоб не было слышно. Один другого ненавидит и очерняет перед людьми. Злые и глупые, раз в неделю они притворяются хорошими. А взамен? Самым богатым в селе Бог сделал человека, который спит со своей дочерью. Домчо подглядывал за ними: в щели ее голое колено, сопение старика и ее любовные стоны.

Ксендз учит, что надо быть смиренным. Но ведь каждый зверь преследует и убивает другого зверя, каждый человек угнетает другого человека. Когда Домчо был еще маленьким, все над ним измывались. Только когда он подрос и поздоровел достаточно, чтобы выбивать зубы и разбивать в кровь носы, его начали уважать. Бог следит, чтобы сильным было хорошо, а слабым плохо.

Вот бы полететь на небо да схватить Его за бороду! Люди уже придумали летающие машины и наверняка еще лучше изобретут. Однако пока что Домчо терялся в догадках. Например, кого черти утаскивают в ад? Может, Бог только притворяется, что Его ничего не волнует, хитро отворачивает голову, как кот, который отпускает мышку, а зачем на нее набрасывается? Если бы не страх перед адом, можно было бы жить совсем по-другому — ставить на своем, а кто против, так из винтовки в него.

Обхватив руками колени и снисходительно слушая лепет Томаша, он искал выход из этого запутанного лабиринта. И однажды его осенила новая идея. А что если ксендзы плетут байки, и Бог вовсе не занимается миром? Что если на самом деле Он всего не видит? Может, у Него нет на это ни малейшей охоты? Ад, конечно, где-то есть, но это уже решается между

людьми и чертями — те, как прозрачная колдунья Лауме,³⁴ принимающая то одно, то другое обличье, охотятся на простофиль, готовых с ними спутаться. Может, Бога даже вовсе нет, и на небесах никто не живет? Но как в этом убедиться?

Домчо, как уже было сказано, отличался умом, придававшим большое значение эксперименту. И вот какое умозаключение он постепенно построил. Если человек для собаки — то же, что Бог для человека, то когда собака кусает человека, тот хватается за палку; значит, и Бог, укушенный человеком, тоже разгневется и покарает его. Главное — найти что-нибудь настолько оскорбительное для Бога, чтобы Ему пришлось прибегнуть к Своим молниям. А если ничего не случится, то будет получено доказательство, что тревожиться из-за Него не стоит.

XXVI

Острое сапожное шило. Домчо пробовал острие пальцем, пока нес его в кармане. В это воскресенье солнце встало в тумане, потом туман рассеялся, и в воздухе колыхались сверкающие нити бабьего лета. Недалеко от одного из обрывов над Иссой лежал большой, поросший хрустящим лишайником камень. Верх у него был плоский, словно алтарь. Министры Домчо — в башмаках и чистых рубашках, прямо из костела — сидели на траве напротив этого валуна и попыхивали сигарками, храбрясь друг перед другом. Не исключено, что вокруг них уже собирались невидимые существа, которые вытягивали шеи и облизывались в предвкушении предстоящего зрелища.

Между тем Домчо стоял на берегу реки и задумчиво бросал в воду камушки. Он еще мог пойти на попятную. А что если все это правда? В таком случае тут же ударит молния и убьет его. Он поднял голову. Небо без единого облачка, солнце стоит высоко, полдень. Хоть бы можно было увидеть этот гром среди ясного неба — но нет, тогда он уже не успеет. Волны, разбегавшиеся друг за другом все более широкими кругами, колыхали распростертые листья. Один из них загнулся, и вода заливала его зеленую кожу. Так что же? Страшно стало? Он метнул камень далеко, под тень противоположного берега, сжал в карманах кулаки и нащупал шило.

Домчо подошел к валуну. Его подданные начали пятиться. Они быстро отходили все дальше и дальше, и он оглянулся на них с презрением. Вытащил из кармана скомканный голубой платок, осторожно развернул и разгладил уголки на твердой шероховатой поверхности.

Сразу после костела Томаш хотел подойти к Домчо, но потерял его из виду. Кто-то видел, как он шел в сторону выгона, и Томаш, взяв след, припустил туда. Напрасно он это сделал. Чтобы разозлить Домчо, довольно было и того, что он все время за ним таскается, но хуже было, что он явился в момент наивысшего накала, когда вертикальная морщинка между бровями выражала решимость и бесстрашие. Почему Домчо должен заботиться о чем-то, кроме предстоящего деяния? А может, наоборот, надо свести счеты именно сейчас — например, признаться, что симпатия была мнимой, и на самом деле он лишь терпел общество барчука? Домчо рявкнул на Томаша, который ничего не понял, хотя уже уловил свою неуместность, какой-то отвратительный комизм, читавшийся на обращенных к нему лицах мальчишек. По приказу своего предводителя министры бросились на Томаша, повалили его и уселись сверху. Он вырывался, но их воняющие табаком лапы прижимали его к земле. Он был в состоянии лишь поднять подбородок. Ему велели лежать смиренно.

Каменный стол доходил Домчо чуть выше пояса. На середине платка белела круглая облатка — тело Бога. Приняв святое Причастие и шагая со скрещенными на груди руками, он нес ее на языке, а затем ловко выплюнул в платок. Сейчас все станет ясно. Он взял шило и направил его вниз, к Богу. Медленно опускал, опять поднимал.

³⁴ Лауме (Лаума) — в балтийской мифологии первоначально богиня родов и земли, позже — злой дух, ведьма.

Ударил.

И держал острие в этой ране, оглядываясь по сторонам, жажда наказания. Но ничего не произошло. Стайка маленьких птичек, поблескивая хлопающими крылышками, летела с ржаного жнивья. Ни единого облачка. Он наклонился и смотрел, не вытечет ли из проколотой шилом облатки капля крови. Ничего. Тогда он начал наносить удар за ударом, разрывая белый кружок в клочья.

Томаш, которого как раз отпустили, бросился бежать со сдавливающими горло рыданиями. Он бежал, и ему казалось, что он убегает от всего мирового зла, что ничего худшего случиться не могло. Это был не только ужас перед смертным грехом. Внезапно он осознал свою ненужность, всю фальшь тех мгновений, когда он думал, что Домчо — друг. Ни один из них ему не друг. Он убегал навсегда. Дома он трясся и цеплялся за руку бабки Дильбиновой — теперь уже он нуждался в помощи, а она выспрашивала, что стряслось, но не добилаь ничего, кроме судорожных всхлипываний. Вечером он кричал, что боится, чтоб не гасили лампу. Бредил он и сквозь сон, и бабка несколько раз вставала, с тревогой кладя ладонь ему на лоб.

Ксендза Монкевича, которому он исповедался, не дожидаясь следующего воскресенья и еле сумев выдавить из себя рассказ о чудовищном деянии, так взбудоражило святотатство в его приходе, что он вертелся и подсакивал в исповедальне. Он пытался тянуть Томаша за язык, чтобы поскорее вырвать зло с корнем. Однако тот не выдал виновника, хоть ксендз и объяснял ему, что в таких случаях это даже входит в обязанности христианина. Как-то у него язык не поворачивался произнести это имя. Он получил отпущение грехов, и это его немного успокоило.

Шалаша в саду он избегал, хотя это было лучшее время для сбора фруктов, и пользовался разными уловками, когда Антонина совала ему в руки корзинку. Вечно он тогда куда-нибудь исчезал. Если между деревьями мелькали холщевые портки Домчо, он прятался, а при случайной встрече опускал глаза и делал вид, что не замечает.

В сущности, весь обряд на берегу Иссы кончился тогда ничем. Мальчишки, разочаровавшись (если бы ударил гром или, по крайней мере, показалась кровь — тогда другое дело) и не будучи в состоянии постичь научный смысл открытия, сочли самым уместным начать резаться в дурака. Домчо — стоит обратить внимание на эту деталь — сгреб крошки облатки и съел. Прокалывание прокалыванием, но рассыпать их по ветру или топтать как-то неудобно. Он свесил ноги с обрыва, стучал каблуком по глине и курил свою люльку из ружейной гильзы. Его томила какая-то пустота. Ведь даже подраться с отцом, даже палку об него обломать или выстрелить в него — все лучше, чем когда биться не с кем. Его охватила тоска сиротства, двойного сиротства. Так значит, никого, никого нельзя ни о чем попросить. Один, совсем один.

По поверхности Иссы тянулась легкая дорожка. Водяной уж переправлялся с одного берега на другой, вертикально неся выставленную из воды голову, а за ней наискосок расходились складки волн. Домчо прикидывал расстояние, а рука его чувствовала, что бросок будет метким. Но водяной уж священен, и кто убьет его, накликает на себя беду.

XXVII

Каждую осень Томаш наблюдал за молотьбой. Машина интереснее всего при запуске и когда из нее выпускают пар. На котле, немного сбоку, ближе к топке, куда бросают поленья, крутились два больших шара на металлических штырьках, опущенных словно руки. Поднимались ли когда-нибудь эти руки, он так и не узнал. Однако на шары мог смотреть, забыв обо всем вокруг. Если они двигались медленно — «пру-так, пруж-так», — он прекрасно их видел, но при очень быстром движении они сливались в вертящийся круг и летели — «теф-теф — теф», — едва показывая свои черные бока. В углу покрашенного в желтый цвет сарая (из его крыши торчала труба локомотива) стояли две лавки. На одной из них целыми днями просиживал Томаш, и на нее же присаживались на минутку подышать мужики, приходившие

из овина. На другой — напротив — обычно лежал, подстелив тулуп, молодой Сыпневский, племянник Шатыбелко, следивший за котлом. Он поджимал ноги, подпирал голову ладонями и размышлял, но о чем — останется тайной. Время от времени он слезал, проверял манометр, открывал дверцу и швырял в пышущую огнем прорву дубовые поленья; иногда смазывал что-нибудь из масленки со щелкающей крышечкой, хотя вообще-то самой машиной занимался кузнец.

С пылающим лицом, с носом, полным запахов смазки, Томаш выскакивал на ветерок колыхавший листья тополя. Снаружи его увлекало другое движение — ремня. Шириной в локоть, из латаной-перелатаной кожи, он соединял большое колесо локомобиля с маленьким колесиком молотилки. Каким образом он не соскальзывал с этого большого колеса? Правда, он сваливался, когда падали обороты, и тогда раздавались предостерегающие окрики, чтобы никто не подвернулся, потому что падал ремень с грохотом и мог легко переломать кости. Когда работа прерывалась, кузнец и Сыпневский прижимали ремень палками (а жать приходилось сильно) и таким образом успокаивали его колебания, затем отскакивали, и он бесшумно сползал на землю. О том, что машина замедляла ход, можно было догадаться, когда заплаты на ремне снова становились заметными.

В овине клубы пыли, гомон, хлопотня. Мешки вешали на железные крюки, и они быстро наполнялись. Томаш погружал руку в струю прохладного зерна, сыпавшегося из отверстий. Полные мешки кузнец оттащивал в сторону, под тополь, на весы. На току (пыль щипала глаза, так что едва можно было что-то различить) — белые косынки женщин и потные лица. Сноп на вилах описывал дугу, и тогда молотилка захлебывалась — «в-в-в-х». Сзади неуклюже гребли лапы бледно-красного цвета (когда — то молотилка была красной), а из них высыпалась солома.

Чтобы сдвинуть локомотив или молотилку с места, нужно много запряженных парами лошадей.

Порой, хотя и редко, ее возили к соседям — перекликаясь, шелкая кнутами и подкладывая ветки под колеса. Во всей округе такая машина была только в усадьбе да у Балуодиса, погирского американца. Остальные молотили цепями. Если уж ее одалживали, то никогда не возили вниз, к реке — под гору — то еще туда-сюда, а в гору лошадям тяжело.

Томаш, который на молотье всегда был своим, после приключения с Домчо впервые почувствовал себя здесь отчужденно. Разговоры мужчин, сонно сплевывавших желтую от табака слюну и не обращавших на него внимания, отделяли его от них. Задумчивость Сыпневского; нетерпеливое цыканье женщин, чтоб не мешал, когда он взбирался на ток; чумазные дети его возраста, у которых была своя обязанность: вытаскивать из-под молотилки полотнище с озадками, — все это как-то отодвигало его в сторону.

И, может быть, другие неудачи виделись ему теперь яснее. Например, шутливая снисходительность мужчин, когда он пробовал косить или пахать. А еще гонг — кусок железа, подвешенный на проволочках, по которому Шатыбелко стучал молотком: утром — что пора на работу, в полдень — на обед, потом опять на работу, а вечером — возвращаться с поля (на молотье вместо него использовался сигнал локомобиля, свистевшего так громко, что приходилось затыкать уши). Шатыбелко выстукивал на нем целую мелодию, а люди смеялись, что гонг говорит: «Пан-болван, пан-болван». Смеялись они беззлобно, но Томаша это немного задевало.

В людской Антонина и женщины часто говорили о панах: какими они были раньше, как мучили. Одна их забава особенно поразила воображение Томаша: девушке приказывали залезать на дерево и куковать и в это время стреляли в нее. Девушек, влезавших на деревья при сборе вишен или яблок, Томаш любил и старался заглянуть в темноту под юбкой (трусов в Гинье отродясь не носили). Они хохотали и обзывали его, но были как будто довольны. Как же это? С дробовиком под деревом — и стреляли? Во вздохах Антонины он уловил не только гнев, но и чувство превосходства над ним — тоже паном.

Так или иначе, Томаш начал тянуться к дедушке. Покачиваясь, подложив ладони под бедра, он слушал его рассказы об азоте, который вдыхают растения, и кислороде, который

выдыхают; о том, как раньше выжигали лес и год за годом сеяли зерно, пока земля не истощалась, а потом придумали трехполье, и в чем оно заключается. Постепенно дедушка стал главным товарищем, и Томаш листал страницы его книг, теперь уже требуя объяснений. В то время как листья желтели и опадали, он вступал в зеленое царство растений, — и оно отличалось от действительности. В этом царстве он был в безопасности: растения не бывают злыми, не отталкивают.

Со стороны дедушки ему тоже ничто не угрожало. Никогда не раздражавшийся, не занятый взрослыми делами настолько, чтобы оставить просьбы Томаша без внимания, он обращался к нему серьезно, со своим покашливанием, в котором чувствовались веселость и симпатия. Он отвечал на вопросы, даже если мылся или смазывал фиксатуаром и зачесывал назад волосы на лысине. Фиксатуаром, чем-то вроде мыльца в бумажном тюбике, Томаш натирал себе руки и нюхал. Обычно дедушка мылся теплой водой, препоясавшись полотенцем; его грудь и живот покрывала седеющая шерсть.

Бабка Дильбинова сокрушалась, что Томаш не готовится как следует к гимназии — у Юзефа Черного что за учеба? Сама она тоже его учила, но ведь с прежних времен столько всего изменилось. Она обещала, что приедет мама и возьмет их с собой, однако это все время откладывалось. Знания его — что греха таить — распределялись неравномерно. Читал он хорошо — его подталкивало любопытство. Писал как курица лапой — неразборчивые каракули. Говорил по-местному, вставляя литовские слова (впоследствии в школе ему предстояло пережить из-за этого немало обид). Благодаря своему внезапному обращению к дедушке теперь он приобретал неплохие знания по ботанике, а тот радовался, что, возможно, внук станет аграрием, а не солдатом или пиратом. Ни одна его фотография тех времен не сохранилась — никто его и не фотографировал. Он уже смотрелся в зеркало, но не умел видеть себя со стороны, сравнивая с другими. Воспользоваться гребешком или щеткой для укрощения волос просто не приходило ему в голову. Жесткий и густой темно-русый чуб падал ему на лоб, а он драл его щеткой сверху вниз. Пухлые щеки, глаза серые, носик вздернутый как у хрячка (такой же, как у прабабки Моль на фотографии лилового цвета). Высокий для своего возраста.

«У Томаша лицо — как татарская задница», — подслушал он как-то перешептывание двух Корейвюков. Это переполнило чашу ненависти. Двое мальчишек Корейвы, соседа с другого берега Иссы, только раз гостили в Гинье со своими родителями. Игры не клеились — они хотели командовать, а его обижали их сговоры, тычки и смешки.

Есть подозрение, что трудность общения с людьми Томаш от кого-то унаследовал — то ли это была самодостаточность бабки Сурконтовой, то ли пугливость бабки Дильбиновой. А может, все дело было просто в отсутствии навыка. Как-то раз бабка с дедом взяли его с собой в гости к дальним соседям. На дочку хозяев он поглядывал искоса и вздрогнул, когда она взяла его за руку, чтобы показать сад. Он шел на негнущихся ногах и сдерживал дыхание, боясь этих узких голых локтей, приводивших его в волнение. На мостике через ручей в парке они облокотились о березовые перила, и он чувствовал, что она от него чего-то ждет, но молчал. Видимо, повеяло прежними играми с Онуте, и это его испугало.

Манеры: кланяясь гостям, он расшаркивался и краснел. Несколько раз бывал в местечке, но для знакомства с большим миром этого, пожалуй, маловато. На рыночной площади он торчал возле телеги и помогал Антонине раскладывать яблоки, которые та продавала. Некоторые дома местечка почти мокли в Иссе, которая была здесь совсем другая, широко разлившаяся. Улицы были вымощены такими большими булыжниками, что выворачивались ноги. Евреи стояли на деревянных ступеньках и приглашали в свои лавки. Самое большое здание, белый княжеский дворец, возвышавшийся над покрытыми ряской прудами, теперь пустовал, а внутри его переделывали в школу или больницу. Из-за железнодорожной станции, которая была несколько в стороне, он предпочитал возвращаться более дальней, зато более приятной дорогой, пересекавшей пути, потому что тогда удавалось увидеть поезд. Возвращался Томаш с облегчением. Антонина давала ему вожжи, и он щелкал кнутом. Если они ехали одни, она следила, чтобы запрягли лучших лошадей: можно было встретить

машину. Томаш стаскивал одеяло, которым накрывали сиденье из сена, мчался и обматывал им морды, чтоб не пугались.

С дедушкой — без манер и принужденности, которые подстерегают, когда имеешь дело с людьми, — он бродил по сказке о подземном прорастании зерен, о росте стеблей, о венчиках, лепестках, пестиках и тычинках цветов. И решил, что следующим летом будет уже достаточно разбираться в семействах растений, чтобы составить гербарий.

XXVIII

Когда Томаш был совсем маленьким, его сажали на медвежью шкуру, и никаких тебе забот: он поднимал руки, чтобы не коснуться мохнатого зверя, и замирал — полуиспуганный, полувосхищенный. Шкура, потрепанная и изъеденная молью, принадлежала, вероятно, последнему медведю в округе, убитому давно, еще во времена дедушкиного детства. Медведи, знакомые Томашу по этой шкуре и по картинкам, вызывали у него теплые чувства. Может быть, не только у него, потому что взрослые часто о них рассказывали. Раньше их держали в поместьях и обучали разным работам — например, вертеть жернова или носить дрова. С ними случались забавные истории. Здесь, в Гинье, сохранилась память о привередливом медведе: он любил сладкие груши, и, если хозяин допускал его к общему столу, приходилось следить, чтобы дележ был честным — получив зеленую или подгнившую, медведь обижался и рычал. Томаш возбужденно ерзал на стуле, слушая о смекалке другого медведя, который душил кур, так что пришлось посадить его на цепь. Тогда он придумал новый способ: сидя на земле, пересыпал передними лапами песок; глупые куры шли к нему, а когда попадали в пределы его досягаемости, он бил их лапой и прятал добычу под себя, делая невинный вид, как будто ничего не случилось. Героем самого диковинного приключения (о нем рассказала бабка Дильбинова) стал медведь, который, когда бричка остановилась у крыльца усадьбы, а возница куда-то отлучился, залез внутрь. Лошади понесли, а он, тоже испугавшись, не успел выскочить. Так они вылетели на большак. На перепутье стоял крест, бричку занесло, и медведь уцепился за него, крест вырвало из земли, и вместе с ним медведь въехал в деревню, где вызвал переполох, потому что выглядело это в самом деле сатанински.

Один большой вельможа воспользовался медведями, чтобы продемонстрировать свое презрение русским. К нему с визитом приехал губернатор, и вот что он увидел, перед крыльцом два медведя с алебардами, а на ступенях этот самый вельможа в русской крестьянской рубахе низко бьет поклоны. Губернатор понял, что это означало: «Мы, дикие подданные императора, полузвери-полулюди, покорнейше просим в гости», — сжал губы и велел поворачивать назад.

Во всех этих байках медведи изображались существами с почти человеческой смышленостью, и, может быть, зря их мучили — как в Сморгонской академии,³⁵ о которой рассказывал Томашу дед. Пол в ней был сделан из железа, под ним разжигали огонь, а медведей выпускали в лаптях. Играла музыка, железо жгло, и бедные мишки вставляли на задние лапы, потому что передние им оставляли босыми. Потом, слыша эту музыку, они всякий раз вспоминали раскаленное железо и танцевали.

Вызывало симпатию, что у таких больших сильных зверей нрав был кроткий и даже пугливый. Об этом свидетельствует история, приключившаяся с одним крестьянином во времена, когда медведи еще часто встречались в лесу. У этого крестьянина пропала корова, которая из-за своей строптивости часто отбивалась от стада. В ярости он схватил жердь и, найдя ее в малиннике, изо всех сил огрел. Раздалось рычание — это оказался медведь. Мужик удирал в одну сторону, а он в другую, да еще и обдристал при этом весь малинник. Недаром понос от страха называют «медвежьей болезнью».

³⁵ Сморгонская академия — шутовское название школы дрессировки медведей, основанной в Сморгони князьями Радзивиллами в XVII в. (возможно, существовала и ранее, с XVI в.).

Дедушка запомнил, что когда убили того медведя, от которого осталась шкура, и накопили из него ветчины, собаки узнавали мясо по запаху, и шерсть у них вставала дыбом.

Зимой бабушка Мися клала у своей кровати коврик из лосиной шкуры. Но главная польза от лося — его выделанная кожа, очень толстая и мягкая. Если у Томаша протирались подошвы тапочек, бабушка извлекала из укромного места лоскут лосиной кожи, отмеривала и вырезала ножницами новую подошву точно по карандашному контуру. Этот лоскут тоже сохранился с прежних времен — теперь лосей осталось мало. В лесах, верстах в двадцати от Гинья, их иногда еще убивали браконьеры.

Шкуры упомянуты здесь в связи с любовью Томаша. Однажды осенним днем появился Бальтазар и сказал, что привез подарок, — мол, надо бы сходить за ним к возку. Там на соломенной подстилке стояла деревянная клетка, а в ней — филин.

Дело не обошлось без ворчания бабки Сурконтовой, что эта птичище загадит весь дом, но филина все же оставили. Бальтазар поймал его, когда тот еще не умел летать, и выходил. Филин был вовсе не такой уж дикий: позволял брать себя под брюхо и при этом пищал — тоненько, как цыпленок, — поэтому Томаш назвал его Цыпусем. Трудно было поверить, что он способен издавать подобные звуки. Правда, был он не больше курицы, но его распростертые крылья — шире, чем расставленные в стороны руки Томаша, клюв загнутый, мощный, когти убийцы. С тех пор из всех крысоловок стали вынимать крыс. Цыпусь придерживал мясо когтями и рвал клювом. Он щелкал им, когда Томаш подносил руку к решетке, но ни разу не схватил за палец. В сумерках Томаш выпускал его полетать по комнате. Летал он тихо — струя воздуха, больше ничего. На середине комнаты он сбрасывал разбрызгивавшийся с хлопаньем помет (Томаш сразу же вытирал следы преступления тряпкой, чтобы не раздражать взрослых), а затем ухал на печке — теперь уже басом. После того как он налетался, надо было сажать его обратно в клетку.

Перья у него были мягкие, глаза красно-желтые; он поднимал и опускал голову, как близорукий человек, желающий прочесть какую-то надпись. Томаш привязался к нему и наблюдал за разными его повадками. Если он сажал филина на лосиный коврик, тот вел себя так, что можно было лопнуть со смеху, — его сотрясали нервные судороги, когти сами сжимались, и он мялся, переступая с ноги на ногу. Видимо, прикосновение к короткой шерсти вызывало у него воспоминания всех его предков, терзавших косуль и зайцев. Однако на медвежьей шкуре с ним не происходило ничего особенного.

Томаш наверняка стыдился бы признаться в некоторых своих смутных ассоциациях. Он размышлял о мохнатости как таковой. Почему, по словам взрослых, он поднимал руки, сидя на этой пушистой шкуре? Почему медведей все считают славными? Не потому ли, что они такие мохнатые? Ему вспомнилась Магдалена, тогда, в реке. Не чувствовал ли филин, переживая свои спазмы, того же, что он, — этого содрогания во сне? Словно отождествляя себя с филином, преображаясь в него, когда тот подергивался на лосе, Томаш уже был близок к тому, чтобы спросить, не хотел ли и он растерзать Магдалену, и не потому ли ему становилось сладко, что она умерла. Если не спросил — тем лучше.

Цыплята тоже пищат, но они так устроены. А у филина — двойственная природа: беззащитный, доверчивый, сердце бьется под пальцами, лапы неуклюже свисают, глаза затягиваются снизу веками, когда его чешут за ухом, и он же — гроза ночного леса. А может, он вовсе не бандит? Но даже если так, это как будто не меняет его внутреннюю сущность. Может, всякое Зло носит в себе скрытую беззащитность? — подозрение, не более чем тень мысли.

Когда приехавшая весной тетка Хелена увидела филина, она начала шептаться с бабкой Сурконтовой. Решено было филина продать — за него хорошо платят охотники. Они сажают его на столбик, сами прячутся в шалаш из веток и оттуда стреляют в разных птиц, которые слетаются филина бить. Томаш послушно принял приговор, словно понимая, что никакую любовь нельзя затягивать сверх меры. Правда, из обещанных денег он не увидел ни гроша.

Собираясь зайти в библиотеку, Томаш надевал колушок: там не топили, и руки у него синели от холода, когда он перебирал старые пергаменты, надеясь обнаружить книги о растениях и животных. Чаще всего он хватал по несколько томов и убегал в тепло, чтобы их просмотреть. У одной вынесенной таким образом книги заглавие было выведено извивающимися как змеи буквами, и он с трудом прочел по слогам: «О властях предержажших», но дальше разобрать не смог и пошел к дедушке, чтобы тот объяснил, о чем это. Дедушка надел пенсне и медленно прочитал: «Исповедание собора Господа Иисуса Христового / иже в Литве / из Священного Писания извлеченное. При сем оных же властей от всяких супротивников защита, Симоном Будным³⁶ сочиненная. Тако ж ясное из Священного Писания свидетельство / аже вольно христианину имети подданныя вольныя и невольныя / буде с ними обходится богобойно. Лета от Рождества Господа Иисуса Христового 1583».

Он постучал кожаным футляром от пенсне по заплесневелой обложке и полистал страницы. Затем кашлянул.

— Это не католическая книга. Видишь ли, давным-давно жил Иероним Сурконт. Должно быть, это его книга. Он был кальвином.

Томаш знал, что слово «кальвин» означает кого — то очень плохого, что это бранное прозвище. Но эти безбожники, ходящие не в костел, а в кирху, принадлежали к далекому миру городов, машин и железных дорог. Чтобы здесь, в Гинье? Он оценил оказанную ему честь приобщения к постыдному секрету.

— Еретик?

Пальцы деда спрятали пенсне в футляр. Он смотрел на снег за окном.

— Хм, да, да, еретик.

— А этот Иероним Сурконт жил здесь?

Дедушка словно очнулся.

— Жил ли он здесь? Наверное, но мы мало о нем знаем. В основном он сидел в Кейданах у князя Радзивилла.³⁷ У кальвинов там была своя община и школа.

Томаш угадывал в деде какую-то сдержанность, осторожность, эту уклончивость взрослых, которые говорят о некоторых членах семьи вполголоса и умолкают, стоит тебе внезапно войти. Лица этих людей невозможно себе представить: они утопают в тени, как на почерневших портретах — лишь контур бровей или пятно щеки. Какие-то их провинности, достаточно серьезные, чтобы взрослые за них стыдились, время их жизни, степень родства — все это растворялось в шепоте или цыканьи: мол, не встречай не в свое дело. Однако на этот раз вышло иначе.

— Есть немецкая ветвь Сурконтов — как раз от Иеронима. Почти триста лет назад, в 1655 году, сюда пришли шведы. Тогда Иероним перешел на сторону шведского короля Карла Густава.³⁸

— Он был предателем?

Дедушка любил сжимать двумя пальцами кончик носа с фиолетовыми прожилками,

³⁶ Симон Будный (ок. 1530–1593) — белорусско-польский деятель Реформации, сначала кальвинистский, а затем социнианский пастор и проповедник, автор многочисленных книг, переводчик Библии (т. н. Несвижская Библия). Социнианство (по имени Фауста Социна) — радикальное протестантское учение, отрицающее, в частности, догмат о Св. Троице и божественную сущность Христа. Получило наибольшее распространение в Речи Посполитой, где социниане именовались Польскими братьями.

³⁷ Януш Радзивилл (1612–1655) — великий гетман литовский, покровитель кальвинистов в Литве. В конце жизни пытался заключить со шведским королем Карлом X Густавом договор о переходе Великого княжества Литовского под протекторат Швеции.

³⁸ Карл X Густав (1622–1660) — с 1654 г король Швеции, начал Северную войну 1655–1660 гг. заняв большую часть Речи Посполитой (т. н. "шведский потоп").

раздувать ноздри, а затем внезапно отпустить пальцы, и тогда получался звук — «тх, тх».

— Был, — и снова: «тх, тх». — Только если бы он дрался со шведами, то предал бы князя, которому служил. И тоже был бы предателем. Радзивилл заключил с Карлом Густавом союз.

Томаш наморщил брови и размышлял над этой сложной дилеммой.

— Значит, виноват Радзивилл, — решил он.

— Да. Это был гордый человек. Он считал, что получит от Карла Густава титул великого князя и уже не будет подчиняться польскому королю. Тогда он правил бы Литвой и велел бы всем принять кальвинскую веру.

— А если бы у него получилось, мы все были бы кальвинами?

— Наверное.

Теперь дед внимательно глядел на Томаша, и неизвестно, что означала его улыбка — быть может, он угадывал мысль, которая проявлялась в быстро гаснущих вопросах. Как получается, что человек — тот, кто он есть? От чего это зависит? И кем бы он был, если бы стал кем-нибудь другим?

— На самом деле Иероним Сурконт был не Кальвином, а социнианином. Это еще одна группа тех, кто не признает Папу.

И дед рассказал Томашу о социнианах, называемых еще арианами, которые придумали новое учение: что нельзя принимать должности, быть воеводой, судьей или солдатом, потому что Христос это запретил. А еще нельзя иметь крепостных. Однако они спорили между собой, многие из них говорили, что Священное Писание это разрешает, и книга, кажется, об этом. А Иероним Сурконт уехал, когда отсюда выгнали шведов, и больше никогда не вернулся. Он поселился в Пруссии, где-то неподалеку от Кенигсберга.

Итак, зерно было брошено, и дедушка не знал, как долго пролежит оно в растительном сне всех зерен, терпеливо ожидающих своего времени. Свернувшись в маленький узелок, там лежало и поскрипывание половиц под шагами вдоль полок, с которых глядят белые карточки с цифрами на темных рядах переплетов, и локти на столе в кругу света, падающего из-под зеленого абажура, и карандаш — рука с ним балансирует в воздухе, вторя идее, которая поначалу не более чем туман без контуров и границ. Никто не живет один: человек беседует с теми, кого уже нет, их жизнь воплощается в нем, он поднимается по ступеням и, идя по их стопам, осматривает закоулки дома истории. Из их надежд и поражений, из знаков, которые после них остались — будь то даже одна высеченная в камне цифра, — рождаются покой и сдержанность в суждениях о себе. Тем, кто умеет их обрести, дано великое счастье. Они никогда и нигде не чувствуют себя бездомными — их поддерживает память обо всех, кто, подобно им, стремился к недостижимой цели. Когда-нибудь Томаш должен был достичь этого счастья — или нет. Во всяком случае, такие мгновения, как это с дедушкой, запечатлевались в нем, перекидывая мостик к тому возрасту, когда приглушенные расстоянием голоса обретают ценность.

XXX

Испанец Мигель Сервет³⁹ умирал уже больше двух часов и не мог умереть, потому что дров положили слишком мало. Сквозь пламя он, стена, роптал на скупость города Женева: «Увы мне! Я не могу даже испустить дух на этом костре! Двухсот дукатов и золотой цепи, отнятых у меня в тюрьме, хватило бы, чтобы купить достаточно дров для сожжения меня, несчастного!».⁴⁰

³⁹ Мигель Сервет (1511–1553) — испанский мыслитель, богослов, врач, естествоиспытатель и юрист. Противник догмата о Св. Троице В области медицины ему принадлежит первое в Европе описание малого круга кровообращения. По указанию Кальвина обвинен в ереси и сожжен на костре.

⁴⁰ Рассказ о последних днях Сервета Вишоватый приводит по утерянным впоследствии источникам См: Koł Stanislaw, L'influence de Michel Servet sur le mouvement antitrinitarien en Pologne et en Transylvanie в сборнике:

А Кальвин, неподвижно сидя на стуле в полумраке своей комнаты, читал Библию, и только его викарий, Гийом Фарель,⁴¹ у которого от дыма на глаза наворачивались слезы, кричал заживо жарившемуся еретiku: «Уверуй в вечного Сына Божия, Иисуса Христа!»

Вот какую судьбу уготовил Мигелю Сервету, двадцать лет скрывавшемуся во Франции среди папистов, реформатор христианства, которому он доверял, с которым вел тайную переписку и к защите которого прибег. Но дух его был силен, язык еще шевелился в полуобуглившимся губам, а слабый голос возглашал кощунственную истину: «Верую, что Христос есть истинный Сын Божий. Истинный, но не вечный».

Остался после него шепот, разносившийся по разным странам, и скрипели гусиные перья в Базеле, Тюбингене, Виттенберге, Страсбурге и Кракове, переписывая тайком позаимствованные у друзей тезисы против Троицы. «Schwärmerei!»⁴² — фыркнул герцог, когда у польских студентов в Тюбингене нашли запрещенные сочинения. Университет дрожал и пытался замести дело под ковер. Имя Сервета не произносилось вслух, и даже Петр Гонезий,⁴³ который после возвращения из Падуи распространял свое новое открытие среди общин Польши и Литвы, старался не упоминать учителя публично. Правда, сочинения Гонезия по достоинству оценил Меланхтон:⁴⁴ «Читал я книгу литвина, который пытался вызвать из ада Сервета».⁴⁵ В Трансильвании и Моравии Яков Палеолог⁴⁶ писал труд своей жизни, уже явно защищая испанца: «Contra Calvinum pro Serveto», но сундук с его рукописями попал в руки Святой инквизиции, когда его арестовали и привезли в Рим на мученическую смерть.

Рассказывая, воссоздаешь людей и события из мелких деталей, дошедших до наших дней: было бы не слишком честно утверждать, высоким был Иероним Сурконт или низким, темным или светловолосым, коль скоро об этом не осталось никаких упоминаний, так же, как не сохранились и даты его рождения и смерти. В одном можно не сомневаться: Рим он считал

Autor de Michel Servet et de Sebastien Castellion, 1953, H. D. Tjeenk. Willing and Zoon, N. Y., Haarlem. Примеч. авт. Анджей Вишоватый (1608–] 678) — внук Социна, богослов Польских братьев. После изгнания социниан из Польши жил в Амстердаме. Примеч пер.

⁴¹ Гийом Фарель (1489–1565) — известный французский и швейцарский реформатор, один из первых проповедников Реформации в Женеве, в дальнейшем сподвижник Жана Кальвина. Присутствовал при сожжении Сервета, тщетно уговаривая его признать догмат о Св. Троице.

⁴² Schwärmerei (нем) — здесь: фанатизм.

⁴³ Петр Гонезий (Петр из Гонендза; между 1525 и 1530–1573) — богослов, писатель, поборник радикальной реформации в Великом княжестве Литовском. Антитринитарий. Полемицировал с Симоном Будным. Взгляды Гонезия были подвергнуты критике Кальвином. Отвергал схоластическую традицию, признавая авторитетами лишь Св. Писание и человеческий разум. Выступал против частной собственности, социального неравенства, светской власти, войн и смертной казни.

⁴⁴ Филипп Меланхтон (1497–1560) — немецкий реформатор, богослов, гуманист и педагог, сподвижник и преемник Лютера. Систематизировал лютеранское богословие, хотя его воззрения несколько расходились с ортодоксальным лютеранством. Выступал за казни еретиков и, в частности, одобрил сожжение Сервета.

⁴⁵ Вероятно, речь идет о трактате Гонезия "De communicatione idiomatum nec dialectica nec physica ideoque prorsus nulla", который Меланхтон получил в феврале 1556 года. Цитируемое письмо было написано в июле того же года.

⁴⁶ Яков Палеолог (1520–1585) — грек с острова Хиос, утверждавший, что состоит в родстве с византийской императорской династией. В юности монах-доминиканец, в дальнейшем сторонник учения антитринитариев. Преследуемый инквизицией, странствовал по всей Европе, в частности, провел несколько лет в Польше, где примкнул к Польским братьям. Боролся с крайними взглядами (запрет частной собственности, воинской и государственной службы). Обезглавлен в Риме.

логовом Антихриста и, скача в лосиновом колете⁴⁷ по дороге вдоль Иссы, с тоской глядел на народ, неспособный принять истинную веру. Такое у них и христианство — под стать папистским суевериям: после набожного пения в костеле женщины бежали приносить жертву ужам — иначе сила покинет их мужчин, и они не смогут исполнять свои супружеские обязанности. Вместо Священного Писания — какие-то сказки о боге ветра и боге воды, которые сотрясают землю, перебрасываясь ею, словно тарелкой. Или эти языческие обряды, когда загонщики идут на зверя. Или все еще продолжающиеся тайные сборища в дубравах.

Должно быть, он был пытлив, стремился постичь суть всякой вещи и искал общества себе подобных. Эти поиски привели его в Кейданы. Вероятно, там он много учился, чтобы чувствовать себя на равных в диспутах при свечах, где оружием были цитаты из Писания: нет, сударь, диалектика ваша лукава и более софистикою именоваться достойна, ибо место сие по-гебрайски иначе толкуется; что же вы, пан брат, творите — или по-гречески и латынски неясно сказано, что так и так толковать должно? Во времена оны троичники,⁴⁸ верные ученики Кальвина, и двоебожники,⁴⁹ и даже те, кто вслед за Симоном Будным отказывался почитать Христа, не притесняли друг друга. Их взаимную ненависть смягчало влияние князя Радзивилла, который, будучи приверженцем женеvской Церкви, не возбранял вести богословские диспуты и даже склонялся к новшествам. При его дворе нашли пристанище несколько бежавших из Польши ариан, и никто не причинял им зла, хоть им и приходилось проявлять некоторую осмотрительность.

Погружался ли Иероним Сурконт в воду то есть крестился ли он в зрелом возрасте, как предписывали Братья, считавшие крещение детей недействительным? Неизвестно. Во всяком случае, троичником он быть перестал, а муки, которые претерпел Сервет без малого за сто лет до него, были все еще живы в его памяти. То, что трехглавый Цербер, поставленный по дьявольскому наущению на место Единого Бога, есть чудовище, претящее разуму, он принимал как откровение. Ему была понятна важность утверждения, перевернувшего вверх дном весь прежний порядок: Бог един, и едино Писание — ясное, не требующее толкователей его тайн. Кто читает его, сам узнаёт, как жить, и возвращается ко временам апостольским — сквозь века, пытавшиеся затемнить схоластикой простые слова Христа и пророков. Кальвин остановился на полпути, убив Сервета из страха перед истиной. Кто не уничтожит Цербера, тот не сумеет полностью освободиться от бормотания, индальгенций, месс за души усопших, молений о заступничестве святых и тому подобного колдовства.

Судя по имеющимся скудным данным, в споре, который много десятков лет разделял Братьев, Сурконт склонялся к наследию Петра Гонезия. Это значит, что, полагая надежду спасения души в Иисусе Христе («аз есмь аки пес смердящий пред лицом Господа Бога моего», — разобрали надпись на одной из его книг), он утверждал, что Христос не был единосущен по божеству Отцу, что Логос — незримое, бессмертное Слово — претворился в тело в лоне Девы, и уже от Логоса ведет начало Христос. С трепетом, благодарностью и отрадой переживал он человеческую природу Иисуса — но не так, как нонадоранты,⁵⁰ которые не видели разницы между Ним и Иеремией или Исаией, а на Ветхий Завет ссылались чаще, чем на Новый.

Однако как быть с трудом Гонезия «*De primatu Ecclesiae Christianae*»,⁵¹ который

⁴⁷ Колет — короткая приталенная мужская куртка без рукавов, обычно из светлой кожи. Колеты были распространены в XVI–XVII веках.

⁴⁸ Троичники — сторонники учения о Св. Троице.

⁴⁹ Двоебожники — дитеисты, не признававшие божественную природу Св. Духа.

⁵⁰ Нонадоранты — крайнее течение ариан, отвергавшее новозаветное откровение и поклонение Христу.

⁵¹ "О примате христианской Церкви" (лат.).

Иероним Сурконт, вероятно, изучал, и с трудами его последователей? Предок Томаша не мог пренебречь их аргументами в другой, практической сфере, — а аргументы эти долго отзывались эхом на синодах Литвы, ибо твердо опирались на Евангелие. Разве не сказано: «Биющему тя в ланиту подаждь и другую: и от взимающаго ти ризу, и срачицу не возбрани»? Разве не сказано: «Остави мертвыя погребсти своя мертвецы: ты же шед возвещай Царствие Божие»? Разве не сказано: «Слышавый же и не сотворивый подобен есть человеку создавшему храмину на земли без основания: к нейже припаде река, и абие падеся, и бысть разрушение храмины тоя велие»? Иудеи и еллины, рабы и господа должны быть равны, ибо все они братья. Христианин не проливает кровь, отстегивает меч. Дарует свободу крепостным. Продает имение свое и раздает нищим. Только так он становится достойным спасения и только этим отличается от нечестивых, чьи дела противоречат словам.

В период, о котором речь, синоды Литвы уже отвергли эти суровые требования, что привело к досадным пререканиям с Польскими братьями. Вероятно, Сурконт отражал их аргументы, ссылаясь на Ветхий Завет и примеры из опыта. Освободить крепостных (воистину страшны были кабала и нищета, в которых они жили)? Но ведь свобода привела бы их к язычеству, варварству и разбою. Когда при жмудском старосте Рекуте такая попытка была предпринята, они разбежались по лесам и оттуда совершали набеги, грабя и убивая. Впрочем, далеко ходить не надо — взять хотя бы крестьянский бунт с воскрешением старых богов, от которого пострадали и паны из долины Иссы. Отстегнуть меч? Плохое время выбрали сторонники Гонезия, чтобы убеждать в этом: на востоке, за Днестром, не утихала война с Иваном Грозным. Они проиграли голосование на синодах и уже не оправались от этого удара.

А вот Карл Густав обнажил меч и создал Империю всех протестантов. Никто не знает, какие сомнения, какие минуты выбора переживал Иероним Сурконт. Его князь разворачивал перед своими сподвижниками захватывающую картину. Точно так же, как королю поляков, литвины могли подчиняться королю шведов и с его помощью отвоевывать у папистов земли и души. Они несли бы свет и дальше, на восток и на юг, до самой Украины — всюду; где народ одурманивали темные попы, лопотавшие о святой Византии, но уже не знавшие греческого. Впрочем, другого выхода не было: засилье иезуитов, их ловкие методы прельщения умов, их театры и школы с каждым годом переманивали все больше верующих. Студенческий сброд в Вильне осквернял храмы, нападал на похоронные процессии. Еще немного, и от Реформы в Литве ничего не останется. Служа вере и исполняя свое призвание защитника веры, князь ставил все на последнюю карту. А далекой целью была корона. И, как знать, может быть, шведские, литовские и польские войска у ворот Москвы.

Есть все основания полагать, что Иеронимом Сурконтом двигала не только лояльность князю, но и презрение к крикливой шляхетской массе, которую ксендзы подстрекали к священной войне с еретиками. Не рассуждающая здраво, никогда не заглядывающая в Священное Писание стихия, слепые инстинкты.

Верный до конца. А испытания были страшные: колебания самых, казалось бы, преданных после первых же неудач, братоубийственная война, страна, разоренная армиями, грабительская беспечность союзников. Князь умер, когда паписты врывались в крепость — последнюю. Нужно было подвести итог краха, когда каждый человек повторяет за Христом: «Господи, для чего Ты меня оставил», а воля и гордость обращаются в ничто.

Будем надеяться, что Писание было ему опорой. И, возможно, память о мученике антитринитариев, чью голову обвивал пропитанный серой пучок соломы, тело приковывало к столбу цепь, а привязанная к ноге книга ждала первых языков пламени. Подробное описание кончины Сервета сохранилось только благодаря единоверцам Иеронима Сурконта из общин Польши и Литвы. Это они копировали утерянный в других местах манускрипт «*Historia de Serveto et eius morte*»,⁵² написанный Петром Гиперфрагмусом Гандавусом. Нет, изгнание не

52 "История Сервета и его смерти" (лат).

могло сравниться с телесными муками.

Но Сурконт изведal муки души, был заклеямен как предатель и, взвешивая свои дела, никогда не знал наверное, поступил ли правильно. Раздираемый между долгом перед королем, Речью Посполитой и князем, который не осуждал его за богословские расхождения; между отвращением к папистам и неприязнью к захватчикам, которым он должен был желать успеха. Еретик для католиков. Едва терпимый отщепенец для протестантов. Воистину, он мог повторять только: «Аз есмь аки пес смердящий пред лицом Господа Бога моего».

Случай позволил узнать, что последний потомок Иеронима, лейтенант Иоганн фон Сурконт, студент теологии, погиб в 1915 году в Вогезах. Если он лежит на восточном склоне, где густые ряды крестов — издали их можно принять за виноградники — спускаются в долину Рейна, то траву на его могиле колышут сухие ветры со стороны родной Литвы.

XXXI

Битником, то есть пчеловодом (от литовского bite — пчела), в Гинье была тетка Томаша, Хелена Юхневич. За заботу об ульях ей доставалась часть меда и воска — вроде бы по семейному, но и старый обычай соблюдался. С ее приездом было связано извлечение из специального шкафа принадлежностей и переодевание. Тетка закалывала булавкой рукава на запястьях и надевала на голову сетку — нечто вроде корзины из зеленого муслина. Впрочем, пчелы жалили ее редко — она даже не всегда пользовалась перчатками. Томашу она поручала набирать в жестяной дымарь с деревянной ручкой горящие угли из плиты; на угли сыпали труху, и тогда дымарем нужно было долго размахивать, чтобы труха начала тлеть. В своей сетке, с ножом и ведрком в одной руке и дымящимся дымарем в другой тетка выглядела как., хотелось бы найти сравнение, но это не так-то просто. Во всяком случае, Томаш глядел на ее фигуру, удалявшуюся по аллее в сторону ульев, с воодушевлением. Вернувшись, она зачерпывала тряпицей простоквашу из миски и прикладывала к ужаленным местам. При откачке меда Томаш крутил центрифугу — металлический котел, вращавшийся на штыре; тогда мед выливался из сот, которые вставлялись туда в рамке.

Нос тетки Хелены — большой, в форме пирамиды — торчал между выдающихся вперед яблоч-щек совсем как у бабушки Миси, на которую она была похожа. Правда, тетка была крупнее, и глаза у нее были голубые. Улыбка словно сахарная, выражение лица благочестивое, что, кажется, приносило ей немалую пользу, ибо благодаря этому она рядила свои слабости в невинность. Главным ее пристрастием была скупость, причем не заключающаяся даже в бережливости, а просто сидевшая где-то глубоко внутри и велевшая поступать так, а не иначе, — будто бы совсем по другим причинам. Если ей нужно было по делам в местечко, она никогда не ехала, но говорила: «Ах, какая дивная погода! Прогуляюсь-ка я лучше пешком», — и шла все десять верст, а выйдя на дорогу, сразу снимала башмаки, потому что «босиком полезнее». Истинную причину злые языки усматривали в том, что вознице надо дать пару грошей на выпивку, а башмаки стаптываются. Разделяя мед или муку, она заботилась, чтобы другим досталась лучшая часть, и ангельски умилялась собственной доброте, правда, на самом деле в этой лучшей части всегда крылся какой-нибудь изъян. Поговаривали, что она отдавала в людскую ветчину, если в ней заводились черви, но ее, видимо, радовало собственное добросердечие и забота о людях, которые, кроме картошки и кпецок, должны получать и мясо.

От бабушки Миси она унаследовала конскую выносливость и сопротивляемость и никогда не болела (впрочем, заболев, вероятно, крикнула бы, что доктора ничего не смыслят, и Боже упаси вызывать одного из них). Двадцать верст за несколько часов были для нее не более чем прогулкой, и, пожалуй, она могла бы пройти все сто своей легкой крестьянской походкой. Разумеется, в реке она купалась до ноября. Томаш ни разу не видел у нее ни одной книги, не исключая молитвенника, словно тетка поклялась не прикасаться к печатному слову, хотя когда-то она училась и даже чуть-чуть знала французский.

Муж ее, Люк Юхневич, из своих приездов устраивал настоящий театр, в котором невозможно было не принять участия — так он был заразителен. Еще сидя в телеге, он начинал

голосить, вскидывал руки, затем спрыгивал и бежал, а полы пыльника или бурки развевались за ним, и в таком виде, готовый к объятиям, он пищал дискантом: «Мамуля! О-е-е-ей! Как я рад вас видеть! Наконец-то! О-е-е-ей! Как же давно мы не видялись!..» И чмок-чмок, и мм-мм... Но важнее всего в этом представлении было его лицо — круглое, с темной челкой на лбу, такое сморщенное от душевности и умильности, что, кажется, никакое другое не могло бы так складываться. «Огавный Лючек», — отвечала придушенная и обслюнявленная бабушка Мися, хотя за его спиной лишь снисходительно вздыхала: «Лючек — святая простота». По мнению же бабки Дильбиновой, Люк был доказательством того, что в старой поговорке есть доля правды: на берегах Иссы рождаются либо одержимые, либо придурковатые.

В то лето, когда Томаш собирал гербарий (картонки он выпросил у Пакенаса), не приближаться к пчелам было уже ниже его естествоведческого достоинства. Он настаивал до тех пор, пока тетка не согласилась взять его с собой на пасеку. Оделся он так, чтобы ни одна пчела не смогла пролезть: в длинные дедушкины штаны, собранные на щиколотках, старую сетку из заржавленной проволоки и резиновые перчатки. Однако в открытом улье пчелы, ценимые за ум и олицетворяющие всю поэзию медового вкуса, оказываются совсем непохожими на тех, что жужжат в липовых ветвях. Резкий запах и лихорадочность, бешеное кипение, неумолимость закона — наверное, плохо Гинье подготовило Томаша к жизни в обществе, если его ужаснуло нечто неназываемое и безжалостное. Пчелы бросались жалить, обсели его перчатки, вибрировали с судорожно изогнутым брюшком, цеплялись лапками за резину, шипели — чтобы совершить смертельный для них акт и бессильно дергаться, агонизируя в траве. Тетка работала спокойно, время от времени небрежно стряхивая их и предупреждая: «Только без резких движений!» Но на Томаша больше, чем боль, подействовал сам ад улья, навязывающий свой ритм. Он не смог этого вынести и начал убежать; пчелы — за ним (когда они преследуют, в их жужжании слышится жажда убийства). Он визжал, размахивал руками — словом, идея применить знания на практике закончилась бесславно.

Растения лучше — они спокойные. Когда читаешь о некоторых из них в толстом «Экономическо-техническом травнике»,⁵³ хочется взять тигельки, ступки и основать аптеку — так заманчиво описаны их лечебные свойства. Почти воочию видишь эти разноцветные отвары, которые нужно сливать и процеживать, настои на спирту, варенья из корешков, большей частью считающихся бесполезными. Воображение погружается в ароматный полумрак — как в кладовке в Гинье. Однако пока что Томаш предпочитал заниматься куда менее практичным коллекционированием видов.

У него была слабость к орхидным. Есть в них тайное очарование созданий, живущих в тепле и влажности; в северные края они приносят восточку с тропического юга. Их стебель — мясистое зеленое тело, а прямо возле него — вырастающие из многосвечного канделябра цветы, которые пахнут дикостью и разложением, но слабо: надо нюхать их до тех пор, пока аромат не становится настолько отчетливым, что можно его назвать; впрочем, это никогда не удается. Они появляются на лугах по берегам Иссы в июне, когда среди ярких трав, в ямках, полных ила и кусочков камыша, еще испаряются воды разлива. Пальцекорник пятнистый, светло — лиловый конус, испещренный темно-фиолетовыми черточками, трудно застичь в полном расцвете — его сразу же касается ржавчина увядания. Томаш приседал на корточки и ковырял перочинным ножиком в черной земле (перочинные ножи, которые, увы, время от времени терялись, отмеряли периоды его жизни; теперь после ножика с деревянной ручкой у него был плоский, полностью металлический). Он осторожно приподнимал дерн, чтобы извлечь весь клубень, раскидывавший в стороны свои толстые пальцы. Из этого клубня пальцекорник вырывается навстречу солнцу, а сам клубень продолжает сидеть в земле — до следующего года. Прижатый картонками пальцекорник ржавел, а клубень расплющивался, приобретая диковинные формы.

⁵³ Книга помещика Витебской губернии, агронома и ботаника Юзефа Геральда Выжицкого, изданная в Вильне в 1845 году.

Любка двулистная — легкость и белизна, светящаяся в летние сумерки наподобие нарцисса. В вечернем речном тумане покрытый любками луг словно полон маленьких призраков. К сожалению, засушенная любка теряет всю свою прелесть — остается лишь тонкий рисунок коричневого цвета. То же самое происходит с аронником. Как убедился Томаш, цветы, растущие в сухих местах, сохраняются превосходно, почти не меняясь, но его влекло к буйной растительности влажных мест. Даже насекомые, ползающие по раскаленному солнцем песку среди переплетений волокнистых побегов, неинтересны — они покрыты броней, суетливы. Другое дело те, что живут в тенистых джунглях. Избыток солнца уменьшает бытие.

Из обитателей дюн Томаш собирал коровяки, однако они слишком длинные, чтобы поместиться в гербарии, и ему приходилось ломать их зигзагами. И, разумеется, он прилежно искал те цветы, которые в книге были названы редкими. Именно за редкость ценил он сорванную среди дубов у кладбища купальницу (*Trollius*) — что-то вроде большого лютика, похожего на желтую розу.

Дедушке он помогал ухаживать за клумбами у стены по обе стороны крыльца: полоть, пересаживать и носить воду из пруда. К мосткам надо было спускаться по ступеням из дерна, укрепленным чурочками. Вела туда калитка (никто не знает, для чего она была нужна) в деревянном заборе, невидимом под зарослями хмеля и вьюнков. Томаш погружал лейку в ряску, а большие зеленые лягушки, в панике прыгавшие в воду при его появлении, застывали возле плававших на середине палочек. Потом он, немного кряхтя (все-таки далеко), нес лейку и, когда дедушка поливал клумбы, смотрел, на сколько хватит воды. Вечером сильно пахли мелкие голубовато-серые звездочки маттиолы, которой были обсажены края клумб. Дедушка выращивал в основном левкой — их цветы отличаются глубокими оттенками бархата — и астры, цветущие до поздней осени, пока не покроются инеем.

Резеда невзрачна, и ничего красивого в ней нет, но Томаш отдавал ей пальму первенства, потому что она, как орхидные, вызывает желание вnoxиваться. Жаль, что она такая маленькая. Резеда размером с капусту — вот это был бы запах!

Поскольку бабушка Мися считала, что нормальные люди болезням не подвержены, лечебные свойства растительного мира ею никак не использовались. Правда, кладовку с давних пор называли «аптечкой», но лекарств в ее ящичках не хранили за исключением ягод арники от ушибов и сушеной малины — потогонный отвар из нее пил дедушка, когда простужался. Томаш, которому часто случалось поцарапаться или расшибиться в кровь, знал, что лучшее средство — листья подорожника, прикладывал такой лист и перевязывал рану куском полотна. Если не заживало, Антонина слюнула кусок хлеба и разминала его с паутиной — это всегда помогало. Бабка Дильбинова ввела в употребление йод, но он так жегся, что Томаш кривился.

Ботаническим пристрастиям Томаша не суждено было продлиться дольше одного сезона. Гербарий, задуманный как монументальный труд о флоре, все реже пополнялся новыми растениями, и дополнительные картонки оказались ни к чему. Внимание Томаша уже поглотили птицы и звери, пока он не забыл обо всем остальном. Произошло это благодаря тетке Хелене — хотя трудно сказать, можно ли ограничить ее роль исполнением судьбы племянника. Впрочем, не Хелена здесь важна, а пан Ромуальд.

XXXII

К вечеру Ромуальд Буковский — в рубашке и портах — закончил косить клевер, воткнул косу в землю у канавы и пошел на реку купаться. Он отдохнул, разделся и, войдя по колено в воду, тщательно мылся, а когда наклонялся, с шеи его свисал черный шнурок с медальоном. Поджарый живот и бедра он намыливал с удовольствием: еще не старость. Потом надел свое тряпье на мокрое тело, и по тропинке, через садик, с косой на плече — домой. Барбарка, которая несла из погреба горшок с простоквашей, сильно толкнула его локтем под ребро — при людях она не позволяла себе таких вольностей. Ромуальд звонко шлепнул ее по заду —

она в визг, что прольет простоквашу.

Собаки скулили из своего загона; настроение было хорошее, поэтому он снял со стены рожок, висевший под двустволкой и арапником, вернулся на крыльцо и заиграл. В ответ раздались их стенания и плач по свободе и охоте. Потом в своем холостяцком алькове он открыл сундук побрился перед зеркалом (щетина жесткая, иссиня-черная) и причесал щеткой усы. Лицо, опаленное солнцем до кирпичного цвета, — сухошавое, в черных усах белые нити, но это ничего.

Он натянул сапоги с блестящими голенищами, застегнул под горло воротник темно-синего френча. «Куда вздумал иттить?» — спросила Барбарка. «Медведей ловить. Ты закусить чего дай, а не балаболь». Из сваленной в углу сбруи он выпутал два седла: «Сбегай, позови Петрука — пусть оседлает Карого⁵⁴ и Каштанку». Явился Петрук со своими веснушками, почесываясь через дырку в штанах, и Ромуальд пошел за ним — проследить, чтобы как следует подтянул подпруги. Он вскочил на Карого легко; колесики шпор позвякивали. Второго коня он вел в поводу В котловинку — и наверх, по каменистой дороге через рощицу. С шумом взлетел рябчик; Ромуальд прильнул к конской шее и смотрел, где тот сядет.

На пальце у Ромуальда перстень с гербом, но не золотой — железный. Френч из домотканого полотна, выкрашенного в темный цвет. Давно, еще в XVI веке князья Радзивиллы стали привлекать в долину Иссы колонистов, и Буковские на крытых возах, через леса и броды, по бездорожью приехали из Королевства Польского в здешние пущи. Дела их шли по-разному. Многие мужчины остались лежать на полях сражений со шведами, турками и русскими — сражений близких и далеких от мест, где они поселились. Некоторые ветви рода обеднели, превратившись в ремесленников или крестьян. Однако Ромуальд хранил традиции. Его отец владел родовой усадьбой близ Вендзяголы.⁵⁵ Потом разделы, продажи, покупки — и они переехали сюда. Но что там состояние — не деньги решают, кто есть кто.

За рощицей дорога спускалась в луговины и петляла среди путаницы изгородей из связанных лозой жердей. Колодезный журавль, крыши дворовых построек; когда Ромуальд проезжал мимо дома, оба прикоснулись к козырькам в знак приветствия. Колдун Масюлис сидел, прислонившись к стене, и попыхивал трубкой. Они не слишком любили друг друга. Земли у него было столько же, сколько у Ромуальда, но что это за сосед: и мужик, и литовец. Масюлис проводил всадника прищуренным взглядом, затянулся, закашлялся и сплюнул.

Дивный вечер. Небо еще ясное, едва набухающее розовым за резко очерченной верхушками пихт черной массой на горизонте, — но уже вышла облатка-луна, и эхо доносит, как пастух играет где-то на длинной, обвитой берестой деревянной трубе. Ромуальд пустил коня рысью. Земля колышется, ты ни о чем не думаешь, есть только радость движения, радость ноги, чувствующей тепло и легкость животного. Но вот уже показались ровные поля и пастбища, у их кромки островок парка, а за ним, в просвете, в голубоватой дымке смутно виднеются холмы на том берегу, за долиной реки.

На краю парка, на скамеечке, поросшей клочьями серого мха, Хелена Юхневич глядела на набирающую силу луну. Она вышла отдохнуть, подышать вечерним летним воздухом, и пусть никто не говорит, что это ради конной прогулки с паном Ромуальдом — ведь тогда она, наверное, надела бы брюки? Нет, она совсем забыла, что просто так, шутя, назначила встречу; ею не двигало никакое грешное желание. И когда Ромуальд, привязав коней к дереву — внизу, у дороги, — стал подниматься к скамейке, она изумленно вскрикнула: «Ой!» Он галантно приветствовал ее, отвесив поклон и поцеловав кончики пальцев. Беседовали о дивной погоде, о хозяйстве, он отпустил несколько шуток, и она смеялась. Когда он предложил проехаться, она стала отнекиваться: отвыкла от верховой езды, да и одета неподходяще. Однако в конце концов согласилась и ногу в стремя ставила, словно родилась наездницей. «Куда ж поедем?»

⁵⁴ Карый (польск. karu) — вороной.

⁵⁵ Ныне Ванджэгала — городок на полпути между Каунасом и Кедайняем.

— спросила она. «Попробуем туда, — указал он вперед. — Ладно?»

Дорога из Гинья, тянущаяся пыльной полоской вдоль Иссы, ведет к местам, где террасы полей становятся все более крутыми. Сначала она с обеих сторон окружена лугами, затем, теснимая возвышенностью, прячется под приречные ивы, пока наконец за одной-двумя деревеньками, где перед домами сушатся длинные вязанки срезанного тростника, не разветвляется: для направляющихся на другой берег здесь есть брод, а тех, кто едет прямо, ждет подъем на гору Вилайни. Быстрое течение точит и подмывает каменистые отмели, заросшие на середине лозняком. Брод удобный, вода не доходит до осей, но осенью и в дожди опасный — лошади тогда храпят, продвигаются вперед, пугаясь, и приходится полагаться на их ум, ибо проверить, что впереди, невозможно. Гора Вилайни, усеянная большими валунами и можжевельными кустами, напоминающими темные фигуры, круто обрывается к реке, которая вымывает в ней обрыв. Вид с вершины открывается изумительный — на голубую ленту внизу и островки возле брода, — но сама гора, дикая и пустынная, почему-то пользуется дурной славой.

Уже тихо, из попадающихся по дороге загонов пахнет вечерним удоем, порой еще слышится журчание молока и сердитый голос хозяйки: «Эй, Марта»,⁵⁶ — когда корова ударит ее хвостом по лицу. Они ехали в сумерках, кое-где при свете из дверей изб, под лай собак из-за заборов. Брод сверкал, набегали волны. Когда кони стучали копытами по вымытым дождями камням на склоне Вилайнь, Хелена натянула поводья Каштанки.

— Что-то страшно.

Ромуальд засмеялся.

— Чего ж тут страшного?

— Упаси меня Боже произносить вслух это имя.

— А у меня есть способ, как с ним совладать.

— Какой же?

— Любезно с ним заговорить, пригласить в компанию. Тогда он ничего не сделает.

— Иисус, Мария, как можно! Сейчас поверну обратно.

— Да я ж только так, шутя.

Они взбирались наверх, темнота на склоне сгущалась, легкий ветерок шевелил травы. Остановились на краю обрыва. Река внизу бледно поблескивала. Низко летящая птица жалобно прокричала: «тиу-тиу-тиу».

Они стоят неподвижно, позвякивают удила, Хелена вздыхает. Выбирают люди выражение лица и жесты, потому что так пристало, или потому, что иногда хочется, чтобы всё было иначе?

Млечный Путь, именуемый в этих краях Путем Птиц, расставлял на небе свои сияющие знаки.

XXXIII

Темное изваяние, подвижная перпендикулярность над конским крупом — таким явился Томашу пан Ромуальд в своей маленькой темно-синей фуражке, с арапником у седла, когда подъезжал по аллее к крыльцу. Вскоре они очень сблизились. За столом тетка Хелена пододвигала поближе к гостю варенье, дедушка расспрашивал об урожае. Однако Томаш знал — хотя бы по почти неуловимым признакам в поведении бабок, — что дистанция соблюдается. Пан Ромуальд мог себе приезжать, но не принадлежал к их кругу. Впрочем, это не имело никакого значения — от него исходило неодолимое обаяние. Визит и разговор о зверях предвещали новые чудеса.

Прежде всего сами Боркуны. Томаш никогда там не бывал, хотя это всего в трех с половиной верстах. Теперь он поехал туда с теткой, которой как раз пришлось отправиться к

⁵⁶ От лит. marge — пестрая.

колдуну за лекарством для овец, и по этому случаю появилась идея навестить Буковского. У креста за куметыней надо было повернуть не направо, как в Погиры, и не чуть направо и немного прямо, как к Бальтазару, а налево. Линия леса приближалась, и за первыми же деревьями открывался совершенно иной мир, с холмика в лоцинку, тут лесок, там болотце, между купа́ми деревьев петляющие дорожки с колеями. Дом и двор пана Ромуальда представали взору внезапно: в низинке за ельником — заросшая черной бузиной маленькая усадебка с деревянными колоннами крыльца. За ней скрывались сад, ольховник, затем постепенно поднимающийся молодняк и, наконец, ряд высокоствольных сосен. Внутри запах кожи, в углах кучи сбруи, сёдла, хомуты, а в этих кучах и на стенах — множество необычных вещей: рожки, свистки, ягдташи, подсумки. Томаш выпытывал, для чего предназначена каждая вещь, и получил в руки ружье, которое Ромуальд переломил, посмотрел, не заряжено ли, но при щелчке курка подскочил и сказал, что так делать не надо — если спускать курок без патрона, ружье может испортиться. Это был шестнадцатый калибр, средний; двенадцатый — с внушительным отверстием в стволе — иногда пригождается больше, особенно на крупного зверя, а двадцатка — самая маленькая — сойдет только на мелкую птицу. Пану Ромуальду это ружье досталось от отца, и, хоть старое, било оно хорошо. Весь ствол был украшен змеевидным серебряным узором — такие ружья называют дамасскими.

Стол накрыли скатеркой, а прислуживала молодая девушка со скромно опущенной головой. Томаш таращился на нее или, как еще говорят, не мог глаз от нее оторвать. Наверное, причиной тому были цвета: белизна лица, мягко, постепенно перетекавшая в румянец щек, закрученная темно-золотистая коса, а когда она мельком взглянула на него — таинственный блеск темной голубизны. Ему показалось, что в этом взгляде была симпатия, и он помрачнел, когда позднее, выходя, услышал, как она мимоходом шепнула пану Ромуальду: «шутас». Речь шла о нем, и он страшно сконфузился — по-литовски это все равно что покрутить пальцем у виска. Это омрачило все удовольствие от визита, но, с другой стороны, с тех пор его тянуло в Боркуны — словно наперекор или чтобы что-нибудь исправить.

Пан Ромуальд сел с ними в бричку. Он настаивал, что его мать живет совсем рядом и будет очень рада. Боркуны состоят из трех фольварков под одним общим названием; земля разделена так, что между хозяйствами пана Ромуальда и старухи Буковской вклинивается территория Масюлиса. Здесь дом стоял на пригорке, с крыльца открывался вид на небольшое озерцо на дне заболоченной низинки. Пани Катажина Буковская в самом деле рассыпалась в любезностях и приглашениях. Но ее лицо! Покрытое бородавками с клочками волос, брови льняные, всклокоченные. Филин Томаша превосходил ее красотой. И голос: мужской бас. Впрочем, как Томаш вскоре заметил, ее внешность подходила к применявшимся ею методам. Хозяйство вел ее сын Дионизий, неженатый, но уже немолодой. Он ни в чем ей не прекословил и поджимал хвост, стоило на него прикрикнуть. По мнению Томаша, он не отличался ничем особенным за исключением сапог: не до колен, а выше, с мягкими голенищами, стягивавшимися ремешками и чашевидно расширявшимися на бедрах. Третий сын, Виктор, подрастающий юноша, был лупоглазым, с неотесанными чертами лица, и заикался, а уж если что-нибудь из себя выдавливал, то глотал часть слов и выговаривал одни гласные, перемежающиеся гортанным звуком, который мог означать любую букву. Например, предложение: «Сено мы уже убрали», — звучало у него: «Гего гыуге угаги».

Разумеется, опять стол, бутыль с крупником⁵⁷ и назойливые приглашения: «ты, сударь, уже можешь пить, чай не дитё» и «откушайте, не побрезгуйте», — чоканье, звон стекла. Томаш пригубил, и слезы выступили у него на глазах: напиток обжигал как огонь. Но Буковская осушила рюмку одним бульком (как он убедился впоследствии, в бутыль она заглядывала часто: как будто ищет что-то в буфете и — хлоп! — сразу с покрасневшимся лицом закрывает дверцу). Дионизий наливал рюмку за рюмкой, тетка Хелена тоже не отставала. Правда, она

⁵⁷ Крупник — традиционный сладкий ликер, изготавливаемый из меда, специй и душистых трав, распространенный главным образом в Литве и Польше.

пила не так, как другие: прищуривалась и выцеживала содержимое рюмки, словно это была вода. И сразу же возбужденные голоса, шутки, которых он не понимал, все эти взрослые глупости. Томашу стало скучно. Начали напевать, Буковская вскочила, подбежала к висящему на стене коврику с вышитой кошкой и сняла с него гитару. На середине комнаты она, притопывая, загудела своим басом:

Что ж ты, Аня, натворила?
За что мама тебя била?
Аль за сахар, аль за каву,
Аль за гонор, аль за славу?

Не за сахар, не за каву,
Не за гонор, не за славу,
А за то маманя била,
Чтоб парней я не любила.

Раззадоренная успехом, уже сидя, она перебирала струны, умильно закатывала глаза и пела о Вурцеле. Эту песню Томаш знал — слышал от Антонины — и дивился. Разве можно быть ягодкой-молодкой, если ты любила сорок лет? А слова в песне были такие:

Ах, Вурцель, Вурцель, сердцеед жестокий,
Безразличны тебе вздохи, слез моих потоки.
Любила тебя я с гаком лет сорок,

И тому немой свидетель Этих писем ворох.
Женись, женись, Вурцель, черт тебя стреножит,
А мне, ягодке-молодке,
Руку принц предложит.

Правда, у Буковской эта романтичность получалась очень смешной. Еще смешнее вышло, когда она затянула: «Запрягайте-ка коней, бо мне надо ехать к ней» с припевом: «Надо-надо-надо-надо». Во всяком случае, пусть уж лучше забавляются так, чем все время накладывать и наливать. Томаш соглашался терпеть все это, так как понял, что с ними нужно быть терпеливым — ведь они никогда не могут сосредоточиться на чем-то одном. В нем уже разгоралось любопытство: Дионизий рассказывал о логове волков неподалеку — вечером на краю болота он видел самца, а значит, почти наверняка где-то рядом есть и волчата, но, когда Томаш начал его спрашивать, все сразу потонуло в гомоне, смехе и звяканье тарелок. Все-таки в Боркунах оставалась масса вещей, о которых нужно было разузнать. К тому же здесь он чувствовал себя не так неловко, как во время визитов в другие усадьбы. Поведение за столом не требовало постоянной бдительности, ему придавали смелости их ногти с черными ободками и ладони, загрубевшие от работы в поле, а еще — их расположение к тетке и к нему.

Из двух усадеб Боркуны пана Ромуальда были интереснее: у его матери обсуждали в основном, каков урожай да что посеять, да почему нынче лен, а у него — коней, собак, ружья. Хотелось бы снова поскорее там оказаться, но в то же время его мучило то воспоминание. Ведь Томаш в самом деле всего одним взглядом показал, как она ему понравилась — неужели, если кто-то нравится, нужно всегда притворяться, что это не так?

Они возвращались вечером. Тетка погоняла лошадь — веселая, хоть и не подававшая виду, что выпила лишнего. Здесь, в этом многообразии, открывавшемся по обе стороны дороги, сумерки были не такими, как в Гинье, — они откликались множеством голосов из зарослей и с сырых лугов. Ворчание, кряканье, лягушки, дикие утки или другие птицы. Козодои проносились перед ними в косом полете. Томашем овладевало благоговейное восхищение этим бурлением в темноте, восторг перед столь многими существами, чьи

скрытые повадки и дела призывали к познанию и наблюдению. Как глупо, что люди всё распахали под поля. Как только въезжаешь в поля, тут же кончается красота. Будь его воля, он бы запретил пахать, чтобы всюду росли леса, а в них бегали звери. Размышляя так, он решил, что, когда вырастет, создаст такое государство, где будет один лес. Людей туда пускать не будут — разве что некоторых. Каких, например? Ну, например, таких, как пан Ромуальд.

XXXIV

Занятие, которому Томаш увлеченно предавался в Боркунах, получив разрешение приезжать туда на несколько дней, может вызывать сомнения. Некоторых тварей охраняет страх, охватывающий людей при их виде; страх или отвращение. Ведь следы древних молчаливых уговоров или обрядов необязательно сохранились до наших дней из-за какой — то явной опасности. Может, оно и полезно — открыто выступить против сферы, в которой ничего нельзя выразить словами, — а может, и не очень. Если уж это делать, то при условии, что не навлечешь на себя таинственную месть. Однако Томаш преодолевал страх, полагая, что поступает подобно рыцарю, искореняющему Зло.

Речь идет о гадюках. В Боркунах их было великое множество. Они заползали на крыльцо и даже проскальзывали в дом — как-то раз пан Ромуальд обнаружил одну у себя под кроватью. Главных их обиталищ было два. В маленькой березовой рощице у тропинки к ручью деревья росли густо, землю покрывал толстый слой сухих листьев — туда они и удирали, и тогда их уже нельзя было отыскать. Тропинка служила им балконом, где можно было погреться на солнышке; похоже, что по ней же они ползали и в поле — охотиться на мышей. Второе свое поселение они основали в треугольнике болотистой низинки, на мшистых кочках под карликовыми сосенками. Чтобы добраться туда, надо было надеть высокие сапоги Ромуальда и углубиться на вражескую территорию — со слегка замирающим сердцем, когда приходилось идти мимо кочек с тебя высотой.

Гадюка, по-книжному *Vipera Berus*, кусая, впрыскивает яд, от которого люди тяжело болеют, а иногда и умирают. Излечиться от укуса можно с помощью заговора, или прижигая рану раскаленным докрасна железом, или напившись до белой горячки, но лучше всего применять все три средства одновременно. В Боркунах гадюки были серыми с черной зигзагообразной полосой на спине, но в лесу, кроме них, встречались и другие — поменьше, коричневого цвета, и полоса у них была не черной, а темно-бурой. Пан Ромуальд говорил, что гадюка не откладывает яйца, как другие змеи, а рождает, перевесившись через сук, и когда змееныши выползают, ее голова подстерегает их и пытается съесть. Но те сразу рождаются проворными и прячутся в траве. Обычно гадюки не заползают на деревья, но иногда это случается: раз одна ужалила в лицо девушку, рвавшую орехи. В Боркунах гадюки были сущим бедствием, поэтому ничего удивительного, что Томашем овладело желание истреблять их.

Ромуальд рассказывал ему и о других змеях. В каких-нибудь двадцати верстах от Боркунов в лесу раскинулись обширные незамерзающие болота, недоступные для человека. Впрочем, никто бы и не отважился отправиться туда из-за змей, которые жили только там. Черные с красной головой, они нападают первыми, подпрыгивают и жалят в лицо или в руку. И тогда уж нет никакого спасения: человек умирает, прежде чем успеет сказать: «Иисус, Мария», — как от молнии. Любопытно было бы проникнуть туда — посмотреть, какие там водятся звери. Говорят, туда могут убежать от преследования лоси.

В знойные дни пан Ромуальд перебирался спать на сеновал — правда, неизвестно, жара ли была тому причиной: в доме, защищенном кустами, никогда не бывало душно. Но ему так было приятнее — больше воздуха. Поначалу Томаш никак не мог привыкнуть к множеству мелких мошек и жучков, которые ползали по нему и щекотались. Однако запах свежего сена быстро убаюкивал его. А утром — эти пробуждения! Сперва птичий гомон проникал в сон, потом становился все громче, Томаш открывал глаза, а над ним — озаренные солнцем щели в гонте крыши, по этому гонту шаркают коготки, хлопают крылья, и можно угадывать, кто там ходит — воробьи или кто-нибудь покрупнее, может быть, даже лесные голуби. Он вскакивал,

и они с Ромуальдом шли к колодцу мыться. Впереди радость, долгий летний день. Они ели ржаной хлеб, запивая молоком, Томаш надевал сапоги (здесь их носили ради безопасности), брал свою палку из орешника — и на охоту.

Вся штука заключалась в том, чтобы подкрасться тихо, не спугнув, чтобы они не юркнули в березняк слишком быстро. Обычно он издали видел несколько растянувшихся плетей, принимавших солнечную ванну. Он подбегал и колотил по ним палкой, целясь в голову. Гадюка подскакивала, извивалась и ползла в спасительные заросли, но он отрезал ей путь к отступлению. Была у него и другая палка, расщепленная на конце, с палочкой в этом расщеплении. Он прижимал шею гадюки, вынимал палочку и нес змею домой, а она вздрагивала и корчилась — эти твари удивительно живучие. Дома Томаш вешал ее сушиться вместе с палкой: сушеные гадюки — лекарство от коровьих болезней, и люди с берегов реки, где гадюк не было, домогались его.

Охота в низинке отличалась мерами предосторожности (вдруг какая-нибудь гадина сидит в кустиках багуна⁵⁸ или среди ягод пьяники?)⁵⁹ и тем, что мягкий мох не позволял как следует оглушить, поэтому отлавливание расщепленной палкой мечущейся шеи требовало сноровки. Как-то раз, когда Томаш уже ходил с ружьем (не в то лето, а в следующее), он наткнулся на гадюку, свернувшуюся на кочке шагах в восьми от него. Он пальнул, и тут произошло нечто удивительное: змея исчезла, словно растворилась в воздухе — а ведь дробь на таком расстоянии идет кучно.

Вообще борьба с гадюками еще не доказывает, что Томаш освободился от связанных с ними предрассудков или скорее от неприятной дрожи перед энергией, проявление которой невозможно предсказать. Сила, текущая по этому куску веревки, омерзительное скольжение брюшных чешуй, вертикальный разрез зрачка — какое исключение среди всех живых существ! Если правда, что при приближении змеи птиц парализует страх, то это легко понять: сила змеи находится как бы вне ее самой, словно сама она — лишь приложение или орудие.

Весной в лесу близ Боркунов Томашу довелось наблюдать довольно редкое зрелище — гадючью свадьбу. Это происходило на середине просеки. Он остановился, не то чтобы заметив что-то впереди — нет, просто ощутив вибрацию, какой-то электрический разряд. Танец молний на земле. Он едва успел различить, что это две змеи, как они уже исчезли.

Впрочем, в то первое лето дружбы с паном Ромуальдом Томаш занимался не только такого рода охотой, но и удостоился чести стрелять под его руководством из двустволки. Сначала в стену сеновала, чтобы привыкнуть к отдаче при выстреле. Затем в живую мишень. Услышав вопль сойки, Ромуальд приложил палец к губам, и они подкрались поближе. Молодая и глупая, вместо того чтобы подавать голос из укрытия, она сидела на выступающей ветке. Выстрел — и Томаш с криком понесся подбирать ее. Хотя, когда он держал ее за ноги, крылья развернулись, а из клювика вытекла капля крови — разочарование, в котором он не хотел себе признаться. Но, если хочешь носить звание исследователя и охотника, нужно быть мужественным и подавлять в себе плаксивость.

Допущенный к серьезным занятиям, Томаш отмерял металлической меркой дробь, когда Ромуальд делал патроны, и паклей, смоченной в масле, чистил стволы ружья, чтоб блестели как зеркало, когда смотришь на свет в эти длинные подзорные трубы. Научился он и снимать шкурки с птиц. Ястребы часто нападали на кур — тогда раздавался крик Барбарки: «Птица! Птица!» (так называли всех летающих хищников), — и одного удалось подстрелить, потому что, когда его отогнали, он не улетел, а наблюдал за двором с верхушки ольхи. На нем Томаш и учился. Шкурку нужно разрезать на груди и брюшке и раздвинуть в стороны, подрезая ножиком все, что соединяет ее с мясом. Сходит она легко, а трудности появляются, лишь когда доходишь до хвоста (надо следить, чтобы не перерезать перья) и ног (когти должны сойти

⁵⁸ Багун — багульник болотный (*Ledumpalustre*).

⁵⁹ Пьяника — голубика (*Vaccimum uliginosum*).

вместе с кожей). После этого шкурка снимается как чулок, остается только выковырять мозг и глаза из черепа. Это тоже трудная операция: одно неловкое движение ножиком — и тонкие веки могут порваться. Затем шкурку натирают пеплом, набивают паклей, и она сохнет. Можно придать ей форму сидящей птицы, но для этого нужна проволока и стеклянные пуговицы вместо глаз.

Хитрости, к которым прибегает человек, охотясь на зверя, Томаш впервые наблюдал, когда приехал на несколько дней в Боркуны помогать собирать грибы. Зори были погожие, небо бледно-голубое, на траве не то холодная роса, не то уже иней. В ельнике прямо возле дома можно было найти столько рыжиков, что хватало на целые корзины. Пан Ромуальд повесил корзину на руку, другой рукой придерживал ремень дробовика, а в карман френча спрятал костяной пищик на веревочке, который, по его словам, мог пригодиться. Пищики делают из совиного крыла, иногда из заячьей кости, но тогда их тон не такой чистый. Этот подражал трели рябчика, потому что иначе его никак не заметишь: при любой опасности он так прижимается к стволу, что не отличишь от коры. По знаку Ромуальда Томаш замер с ножом у ножки гриба, в тишине осыпающейся хвои послышался дрожащий свист. Они потихоньку пробрались в чащу, в полумрак. Пан Ромуальд поднес пищик к губам и осторожно подул, перебирая пальцами дырочки. Тишина. Сердце Томаша стучало так громко, что он боялся, как бы этого не было слышно. Вдруг рябчик ответил; и еще раз, ближе. Хлопанье крыльев, и вот на ветке ели в рыжей темноте Томаш увидел тень, которая крутила во все стороны головой, ища товарища. Рука вскинулась так быстро, что эхо выстрела послышалось одновременно с этим движением, а когда дым рассеялся (Ромуальд пользовался дымным порохом), рябчик неподвижно лежал под деревом, едва отличимый от подстилки из сухой хвои.

Ромуальд заслуживал бы того, чтобы впустить его в Королевство, куда обычным людям вход заказан. Его волновало присутствие зверя, скула у него дергалась, он весь превращался в настороженность, и наверняка ничто другое на свете его в тот момент не интересовало. Другое дело его хозяйка Барбарка — она была из взрослых. Жаль: такая красивая, и выглядит почти по-детски. То, что люди живут, безразлично относясь к самому главному, должно нас огорчать — неизвестно, чем они, собственно, заполняют свою жизнь. Наверное, скучают. Правда, Барбарка тратила много времени на уход за цветником. Она выращивала прекрасные цветы: целые грядки душистой резеды, высокие мальвы и руту, которую она умела сохранять зимой зеленой; идя в костел, она вплетала ее в волосы, как все девушки. Но эти ее сверкающие взгляды, а в них любопытство и как бы оценивание с каким-то скрытым умыслом — это было чужим и взрослым. Томаш простил ей то первое обидное прозвище и с тех пор делал вид, что не обращает на нее особого внимания, но его раздражала ее снисходительность — например, чистку ружья она считала какой-то забавой. Если бы он мог вырвать из ее уст слова восхищения, уважения — но это не удавалось. К добыче, которую он приносил из своих походов за гадюками, она относилась с отвращением, говорила «фу» и кривила уголки губ с подобием смешки, словно в этом занятии было что-то неприличное.

XXXV

У Ромуальда было четыре собаки, три гончих и легавая. Черный с подпалинами и рыжеватыми бровями Заграй лаял басом. Уже немолодой, ценимый за упорство и неутомимость, он восполнял ими посредственный нюх. Если он терял след, то не метался беспорядочно туда-сюда, а описывал круги по разумному плану. Тенор Дунай, похожий на Заграя, но более поджарый, не пользовался уважением, ибо был фантазером. Порой он заслуживал всяческих похвал, а иной раз никуда не годился; его усердие зависело от настроения, и иногда он только делал вид, что работает, как бы говоря: «Петь я могу, но ищут пускай другие: у меня сегодня мигрень». Безошибочный нюх и рвение — сплошные добродетели — отличали рыжую сучку Лютню из породы костромских гончих. Огонь в ее глазах — совершенно золотых — отливал фиолетовым и голубым, ее прекрасные лапы

любовно упирались в грудь пана Ромуальда, когда она пыталась лизнуть ему лицо. Летом эта тройка томилась на цепи, потому что, получив свободу, умела устроить собственную охоту, гоня зверя друг на друга. Осенние паутинки на дорожках предвещали ей освобождение, зато для пойнера Каро наступала пора размышлений у печи, когда, накрыв морду хвостом, он втягивал собственный запах.

Всю неделю Томаш считал дни до воскресенья, в субботу поехал с теткой в Боркуны, но она вернулась, а он остался на ночь. Он вертелся от возбуждения, сбил простыню, солома кололась. Но в конце концов, пригревшись под тяжестью кожуха, он крепко уснул. В едва сереющей темноте его разбудил стук в окно, к которому прижимались лица Дионизия и Виктора. Они вошли, зевая. Заспанная Барбарка с распущенными волосами, спускавшимся на плечи, принесла лампу с закопченным стеклом, разожгла в плите огонь и стала жарить картофельные блины. На дворе туман, в нем крупные капли, капающие с веток перед крыльцом.

За завтраком братья выпили по рюмочке. Виктор упрасивал: «Багагга, погагы гогено», что означало: «Барбарка, покажи колено», — обычай, приносящий удачу. Но она показала ему фигу. Собаки сходили с ума от радости; их взяли на поводок. Томаш, которому достался Дунай, изо всех сил отклонялся назад, чтобы не бежать — так сильно тот тянул. Они спустились по тропинке к речке и перешли через мостик к государственному лесу. С лесничим Ромуальд был в хороших отношениях, и тот разрешал ему охотиться — так, полуофициально.

Великая тишь, туман немного рассеялся, из него выплывали буйные травы и рыжие листья на тропинках. Эхо рожка, приложенного к губам пана Ромуальда, разносилось далеко по лесу. Играя, он раздувал щеки так, что глаза наливались кровью. Когда пробовал играть Томаш, рожок издавал звуки, но ему так и не удалось соединить их в мелодию.

Осенние запахи: откуда они, какие образуют смеси — определить невозможно. Преющие листья и хвоя, влажность белых нитей грибницы в черноте под ослизлыми щепками, с которых сходит кора. Повсюду вокруг них простирались хорошие для охоты места. Полянки, разделенные щетками сосняков, просека по краю высокого бора, от нее наискосок другая, ведущая вглубь, гладкая как большак, заросшая мхом, с тропинкой посередине. Звери не меняют своих привычек. Если зверя спугнуть, он описывает круг, пытаясь избавиться от преследователей, а затем выбегает на одну из троп, которыми пользуется ежедневно. По лаю собак надо определить направление, угадать тропу, которую он выберет, и вовремя там оказаться. Внимание зверя так сосредоточено на собаках позади него, что он не ожидает опасности впереди и выскакивает прямо на человека.

Томаш шел без ружья, участвуя в охоте в качестве начинающего. Ему было велено держаться с Ромуальдом. Он спустил скулящих собак, которые немедленно нырнули в заросли. Загрой выскочил, принохиваясь, и прошел мимо, вопросительно глядя на них. «Ты, Дионизий, иди на просеку, — сказал Ромуальд. — А ты, Виктор, — на Красный луг. Мы с Томашем здесь». Братья удалились, деревья заслонили их спины с металлическими стволами. «Вот увидишь, Лютня его поднимет», — пообещал Ромуальд.

Где-то стучал дятел, что-то шуршало, царапая кору. Вдруг вдалеке они услышали тонкий собачий голос: «Ай, ай». «Ну, что я говорил! Лютня». Опять тишина. И снова: «Ай, ай». «Выправляет след.⁶⁰ Слабый, придется ей поработать». И тут Томаш впервые в жизни услышал звуки гона. «Ах, ах, ах, ах», — звучало теперь ровно; вскоре присоединился и второй голос. «Дунай!» — крикнул Ромуальд, срывая с плеча ружье. Мощный, с редкими интервалами, послышался бас Заграя. Томаш изумился, что из собачьих пастей может вырываться такая музыка, звучащая где-то в глубине леса, — настоящий хор, приглушенный расстоянием. «Подняли зайца. Но он сюда не выйдет. Ну, Томаш, бегом!» И Томаш помчался за Ромуальдом — сначала легко, потом задыхаясь и еле поспевая. С просеки они свернули в заросли орешника, в овраг, затем по дну оврага и — наверх, на гребень холма. «Сюда», — пан

⁶⁰ Выправить след (охотн.) — вновь найти потерянный след зверя и возобновить гон.

Ромуальд указал на низкую елочку, возле которой Томаш должен был встать, а сам с напряженно вытянутой шеей, с готовой к выстрелу двустволкой в руках неподвижно замер посередине. Гребень, в этом месте коричневый от опавшей хвои, полого переходил в котловинку (ее было видно как на ладони); за ней была еще одна палевая полоса между двумя стенами леса. Собачий лай грянул слева от них — стремление, упорство, дикость — и смолк. «Ай, ай», — надрывалась Лютня, снова выправляя след.

Не появится... Есть! Он показался Томашу огромным, почти красным на фоне травы, когда внезапно выскочил из котловинки прямо на них. Томаш разинул рот, и в это мгновение был рад, что не должен стрелять, — возбуждение, когда заяц приближался и рос, было выше его сил. С этим открытым ртом его и застиг выстрел. Зайца подбросило, он завертелся в воздухе — и вот уже судорожно подергивает лапками. Томаш подбежал к нему первым. Ромуальд перекинул ружье через плечо и, улыбаясь, медленно пошел к добыче. Нет, первыми подбежали собаки. Дунай уже терзал зайца и поднял к Томашу пасть, полную шерсти. Ромуальд вынул нож, отрезал пазанки⁶¹ и бросил их собакам, глядя Лютню за хорошую работу. Потом закурил: «Этот Дунай может ползайца съесть, если найдет раненого, а ты вовремя не подоспеешь».

Томаш попытался выяснить, откуда Ромуальд знал, где становиться. Тот рассмеялся. «Надо знать. Если его подняли там, — он указал рукой на заросли орешника в овраге, — а возвращался он туда, — Ромуальд махнул налево, — то ему волей-неволей пришлось выйти сюда. Заяц возвращается туда, где живет».

Он сыграл на рожке, чтобы позвать Дионизия и Виктора. Ромуальд с Томашем присели на пеньки. Сквозь туман пробивалось бледное солнце. Томаш спросил, каких зверей сейчас можно встретить. Козлика.⁶² Иногда лисицу, но редко — слишком хитрая.

Когда те, наконец, показались из чащи, раздвигая мокрые еловые лапы, они посовещались и пошли по гребню холма, между сухими террасами, укрепленными камнями и образующими как бы широкие ступени. И там, когда они спокойно шли и беседовали, собаки вдруг залились резким обиженно-жалобным лаем: «Ай, ай!» Братья схватились за ружья. «Гонят на глаз!» — заорал Дионизий, и перед Томашем мелькнул заячий пучок,⁶³ а за ним длинные силуэты Лютни, Дуная и Загряя. «Пошë-ë-ёл! — сказал Ромуальд. — Теперь торопиться некуда». И рассказал историю об охотниках, которые, пока собаки гнали так далеко, что их было еле слышно, уселись под деревом играть в карты, а заяц через эти их разложенные карты перескочил. Этот рассказ возмутил Томаша как пример кошунственного отношения людей к серьезным делам. Не вполне обоснованные подозрения подсказывали ему, что для некоторых охота значит не больше, чем водка или карты, — этакое развлечение. Ожесточенно-жалобный лай сменился обычными звуками гона, которые отдалялись. Братья не спеша заняли позиции. Кричали обеспокоенные их присутствием сойки. Томаш напряженно всматривался в линию дорожки перед собой, но тут послышались два выстрела, и эхо разнесло звук среди шума деревьев. «Дионизий», — решил Томаш, потому что Виктор не мог выстрелить два раза из своей одноствольной берданки.

Из-за деревьев на повороте показалась вся сцена, уменьшенная, словно сквозь стеклышко: Дионизий, заяц у его ног, собаки. В ответ на издевки Ромуальда Дионизий признался, что с первого раза промазал и выстрелил снова. Ромуальд приложился к плоской фляжке, обтянутой войлоком. Когда он шутливо протянул ее Томашу, тот отказался и размышлял, подобает ли пить эту жидкость Ромуальду Великолепному.

«Эй, Томаш, а обувка-то у тебя совсем никудышная». Действительно, башмаки, которые

⁶¹ Пазанка (охотн.) — часть задней лапы зайца от ее конца до колена.

⁶² Козел (охотн.) — самец косули.

⁶³ Пучок (охотн.) — хвост зайца.

он надевал в костел, не годились, чтобы бродить по росе. Он, теперь уже почти посвященный, должен носить сапоги с высокими голенищами, по возможности с ремешками, застегивающимися под коленями, если уж ему не дозволено мечтать о таких сапогах, как у Дионизия, — выше колен. Такой просьбой можно было тронуть только дедушку, ибо бабка и тетка наверняка отнеслись бы к ней враждебно из одинаковых соображений экономии.

XXXVI

Дедушка, не разбиравший библиотеку, пока Томаш не начал рыться в шкафах со старыми книгами, просматривал тома «Истории древней Литвы» Нарбута.⁶⁴ По дедушкиному совету Томаш отнес их Юзефу Черному, а от него они попали к ксендзу Монкевичу. Разумеется, каждый из них нашел в книге нечто свое, в зависимости от интересов. Настоятель гневно хмыкал, ерзая на стуле, когда читал о неслыханном изобилии богов и богинь, почитавшихся некогда в стране, и узнавал знакомые, на удивление стойкие суеверия, над искоренением которых трудился. Неизвестно, душеполезно ли такое чтение. К примеру, закрываешь ты книгу, снимаешь очки и приступаешь к другим делам, как вдруг совершенно неожиданно встает перед тобой образ Рагутиса — такого, каким его откопали где-то в лесных песках. Толстый божок пьянства и разврата, вырезанный из дубовой колоды, лукаво усмехается; его ступни в деревянных башмаках огромны — он стоит на них, не нуждаясь в опоре, во всей своей старательно изображенной непристойности, *in naturalibus*.⁶⁵ И не думать о нем решительно невозможно.

Что касается Юзефа, то некоторые главы были написаны будто специально для него — например, те, где говорится о богине Летуе, покровительнице свободы, подобной, по мнению автора, скандинавской Фрейе.⁶⁶ Прошли века, отечество вновь обрело независимость, но даже малейшей крупинки праха не осталось от Лейчиса, повешенного или посаженного на кол панами. И до конца времен не будет о нем никаких упоминаний, кроме имени на клочке пергамента — королевской привилегии Anno Domini 1483. По этой привилегии шляхтич Рынвид получил землю «в награду за усмирение бунта смердов, домогавшихся свободы сверх той, что им законом дана, тако ж за поимание предводителя смутьянов именем Лейчис, кой, на достоинство и сан королевский невзирая, поднести королю кошку посмел, полагая ее знаком языческой свободы Летуи».

В 1805 году историк Нарбут, шляхтич, как тот Рынвид, или как Сурконт, отдал на ярмарке свои часы человеку, который повторил ему слова старинной песни-жалобы, — так она распалила его собирательское любопытство. «Маленькая Летуя, — говорится в песне, — дорогая свобода! Ты скрылась в небе, где искать тебя? Ужель одна смерть приютит нас? Куда бы ни глянул несчастный — на восток, на запад, — всюду бедность, гнет, притеснение. Пот труда и кровь от ударов залили сырую землю. Маленькая Летуя, дорогая свобода, спустись с неба, жалься над нами». Конечно же, это для Юзефа. Так, клоня каждый в свою сторону, и беседовали они об этой книге в плембании, в комнате, где тикали часы, а в окна заглядывали личики георгинов. Прекрасные клумбы, где они росли, разбила Магдалена — достаточно было ухаживать за ними, чтобы не запустить.

В этот осенний день Юзеф, менее склонный к рассуждениям о прошлом, ибо в местечке

⁶⁴ Теодор Нарбут (1784–1864) — польский историк, публицист, исследователь литовской мифологии и военный инженер. Служил в царской армии, участвовал в войнах с Наполеоном. В 1811 г. поселился в Лидском уезде и начал собирать фольклорные материалы. Главный его труд — девятитомная "Древняя история литовского народа" ("Dzieje surozytne narodu litewskiego", 1835–1841).

⁶⁵ *In naturalibus* (лат.) — в натуральном виде.

⁶⁶ Фрейя — в скандинавской мифологии богиня любви, плодородия и войны, одна из жен Одина.

до него дошли неприятные слухи,⁶⁷ неспешно излагал свои жалобы, а настоятель шурил глаза, сложив руки на животе. В сущности жалобы эти напоминали их обычное каляканье, но теперь возникли серьезные сомнения, как поступать, и касались они опять-таки панов.

Юзеф перечислял пахотные земли, луга и пастбища Сурконта, посвящая ксендза в последние новости. То, что даже этот, казалось бы, достойнейший из помещиков тоже прибегает к коварным уловкам, вызывало, по меньшей мере, удивление.

— И зачем ему это? — вопрошал Юзеф. — Возьмет он, что ли, добро с собой в могилу? Если они везде будут так изощряться, кому достанется земля? Почему они не хотят понять, что их время прошло?

В Латвии им оставили только по сорок гектаров — оно и лучше. Настоятель проворчал, что дело не в количестве гектаров; главное — народ испорчен, чиновники кланяются каждому, кто богат. Юзеф считал, что вопрос, у кого что отбирать, должны решать окрестные деревни; настоятель в ответ, что это была бы анархия. Может, оно и так, но какой придумать способ?

Прежде всего нужно было что-то предпринять. Юзеф ни в коем случае не одобрял доносов и других действий, которые, даже если окрестить их иначе, по сути остаются тем же. Но ведь случается, что иного выхода нет. Тогда приходится взвешивать: согрешить равнодушием или исполнить обязанность, хоть и неприятную. Следует подумать, какие последствия это может иметь для ближнего. Ведь Сурконта не убьют, в тюрьму не посадят, имущество у него не конфискуют — только и делов, что земли будет меньше. Примерно это он и объяснял ксендзу, прося того высказать свое мнение.

Настоятель раздумывал, поглаживал лысину и наконец попал в самую точку.

— А что, обещал Сурконт дать лес на школу?

— Обещал, как только подморозит.

— А если он даст, и хозяева дадут, сколько еще будет недоставать?

— Саженой тридцать.

— Хм.

За этим «хм» крылось очень многое. До сих пор Юзефу не приходило в голову такое решение, но теперь все было ясно. Достаточно усесться с Сурконтом за стол и, кружа вокруг да около, будто бы ни к чему не клоня, показать, что он все знает и полон решимости не позволить панам отвертеться от парцелляции.⁶⁸ Тогда тот будет готов на все, лишь бы замять дело, и вопрос с тридцатью саженьями решится одним махом.

Больше он ни о чем не спрашивал, и они перешли к спору о политике, то есть к рассуждениям, мог ли великий князь⁶⁹ спасти страну, если весь его выбор состоял в том, идти с поляками против тевтонцев или с тевтонцами против поляков. Спор важный, если учесть, что повлек за собой выбор первого варианта. Взять, к примеру, Михалину Сурконтову, которая скорее умерла бы, чем признала себя литовкой. И самого Сурконта, и тысячи таких, как он. От события многовековой давности расходились круги, как от брошенного в воду камня.

— А что отец Томаша? — спросил настоятель.

Юзеф горько усмехнулся.

— Не о чем говорить. Не вернется. У нас его посадили бы в тюрьму за службу в их армии. И сына, верно, заберет в свою Польшу.

Настоятель вздохнул.

— Открещиваются от маленькой страны. Им подавай культуру, большие города. А вот Нарбут не открещивался. Правда, тогда национальность значила совсем не то, что сейчас.

⁶⁷ Здесь и далее речь о литовской земельной реформе 1922 года

⁶⁸ Парцелляция (от лат. *parcellatio* — разделение) — раздел крупных земельных участков на более мелкие.

⁶⁹ Великий князь — Витаутас (Витовт, около 1350–1430) — великий князь литовский.

— Я думаю, на людей нашло какое-то умопомрачение.

Ксендз Монкевич отрицательно покачал головой.

— Нет, просто всё перемешалось. Старая Дильбинова, бабка Томаша, — из немцев. А в Пруссии литовские или польские фамилии — и всё немцы. Чтобы только из этого смешения чего плохого не вышло.

Спустя несколько месяцев Юзеф вернул «Историю» Томашу, и беседы, к которым она послужила поводом, само собой, не сохранились ни на кожаном корешке, ни на жестких страницах. Брошенный в шкаф труд снова пропитывался затхлостью, и ползали по нему маленькие насекомые, привыкшие к жизни в полумраке и сырости.

Юзеф так никогда и не зашел к Сурконту предложить свое молчание в обмен на дерево для школы, хотя известно, что он долго вынашивал это намерение. Совсем не просто решать, когда на одной чаше весов ближайшая цель — школа, а на другой — принципы и благо бедняков с куметыни, которые должны получить землю после парцелляции. Принципы перевесили. Впрочем, это еще не предопределяло средств, к которым следовало прибегнуть. Средство первое — прямо заявить Сурконту, что он всё знает и расскажет в городе кому надо, и что неправда есть неправда. Иными словами, открытая война. Средство второе — ничего не говорить, действовать тайно и тайно же написать жалобу властям. Средство третье — выжидать и следить, что выйдет из всех этих махинаций, прежде чем приступить к каким бы то ни было действиям. Большинство аргументов говорило в пользу последнего пути, ибо спешка — враг благоразумия, а терпение многое выправляет.

XXXVII

У Томаша было свое государство. Правда, пока только на бумаге, зато он сам мог в нем всё обустроить и ежедневно менять по своему вкусу. Идея родилась благодаря длинным рулонам кальки, которые дедушка и тетка Хелена (приезжавшая теперь часто) разворачивали на столе. На них акварельными красками были нарисованы многоугольники и линии границ — план земли, принадлежавшей Гинью. Сквозь бумагу просвечивали яркие, ровно очерченные плоскости.

Государство Томаша было неприступным: со всех сторон его окружали болота, подобные тому, где живут змеи с красными головами. Всю его поверхность должны были покрывать леса, но, подумав, Томаш все же оставил немного светлой зелени лугов. Дороги не нужны — что это за девственный лес, пересеченный дорогой? — поэтому путями сообщения были реки и озера, соединенные голубыми перемычками каналов. Разумеется, специально приглашенные люди могли туда попасть — на болотах Томаш обозначил секретные тропы. Все обитатели — немногочисленные, ибо страна создавалась прежде всего для зверей: зубров, лосей, медведей — жили исключительно охотой.

Наступили осенние холода, и Томаш лишился стола — из закрытой на зиму части дома его перенесли в пристройку, но лишь для того, чтобы рассматривать за ним планы и вести беседы, в которых повторялось слово «реформа». Опасаясь расспросов любопытной Хелены, Томаш в случае опасности перетаскивал свою карту и другие принадлежности на столик в комнате бабки Дильбиновой. Та не беспокоила его еще и потому, что чаще всего лежала в постели больная. Зато он вынужден был выслушивать ее жалобы и брюзжание: что все про нее забыли, что она живет здесь у чужих, сгинет в этом захолустье и уже никогда, никогда не увидит сыновей. Проклинала она и литовцев за их черную неблагодарность. Если бы Константин, Теодор и вся польская армия не сражались с большевиками, что осталось бы от их Литвы? А что отец и дядя Томаша получили за это в награду? Им нельзя хоть на несколько дней приехать в родные места — точно уголовникам. Письма от них шли окольным путем, через Латвию, с большим опозданием — между Польшей и Литвой даже это было запрещено. С письмами разыгрывались целые комедии. Томаш наблюдал, к каким бабка прибегала хитростям, чтобы заставить послать лошадей на почту, когда долго не было оказии в местечко. Она притворялась, что умирает, лишь бы только кто-нибудь поехал к доктору Кону — даже в

самую распутицу. А потом ее пальцы тряслись, разрывая конверты, глаза моргали, на щеках проступал кирпичный румянец.

Томаш не мог относиться к ней всерьез, пропускал мимо ушей ее ворчливые сетования и в то же время чувствовал какую-то злость оттого, что она все время говорила о своем Константине. Бабушка Мися и тетка утверждали, что «ничего путного из него не вышло». Теперь он стал кадровым офицером, поручиком улан — значит, наверняка не признался, что закончил всего три класса: ведь чтобы получить офицерское звание, нужно окончить школу. В том, как она носилась с ним, было что-то смехотворное. И эти ее жалобы на Гинье: что она целиком зависит от Сурконтов в доме, где никто даже обед как следует подать не умеет, что ей слово некому сказать; и на Антонину, которая здесь расхозяйничалась; и даже на домашний табак, который Томаш резал для нее тонкими полосками, а затем скручивал папиросы — они выглядели красиво только когда он обрезал ножницами клочья, торчавшие из гильзы. Он с удовольствием перебирал их — ровные, уже в коробочке. Бабку он слушал внимательно, лишь когда та расписывала, как замечательно будет, когда наконец приедет мама и заберет и ее, и его.

Несколько раз в неделю Томаш отправлялся в село — на уроки к Юзефу. Выписывая цифры, он очень старался: похвала учителя была для него важна. И ничего, что обе бабки и тетка вовсе не испытывали к Юзефу почтения. Когда руки Юзефа лежали на столе, плечи его вздымались, кадык на жилистой шее ходил вверх и вниз. Его грузность была солидной — на нее можно было положиться. Быть может, Томашу как раз и не хватало человека, который если уж скажет: это хорошо, а это плохо, — значит, так оно и есть.

Время от времени являлись литовские чиновники — тогда бабушка Мися и тетка прятались, потому что принимать их слишком учтиво было негоже: они не хотели осквернять себя обществом тех, кого называли «свинопасами», — вроде чиновники, а по сути мужики. Заглядывая в приоткрытую дверь, Томаш видел, как гости сидят с дедом, который ради дипломатии даже делал вид, что пьет, чтобы соблазнить их водкой. Потом дед подъезжал вместе с ними к свирну, и Пакенас грузил в их бричку мешок, а то и два овса для лошадей.

Эти визиты увеличивали порцию разговоров о «делах», а участие в них принимала даже бабушка Мися, стоявшая у печи и раскачивавшаяся из стороны в сторону. По делам дедушке случалось отправляться и в город. Он клал деньги и документы в полотняную сумочку, вешал ее на шею и для верности прикалывал булавками к теплой фуфайке. Лишь поверх этого он надевал рубашку, шерстяную кофту и жилет. Между уголками жесткого воротника дедушка втискивал узел галстука, державшегося на резинке. Из одного жилетного кармана в другой тянулась цепочка от карманных часов.

После поездки в Боркуны Томаш начал работать над специальной тетрадью, которая выглядела как книга. Сидя в комнате бабки Дильбиновой или, если там было совсем невмоготу, под лампой в столовой, он ровно разрезал бумагу на четвертушки и склеивал края. Сделал он и обложку из картона, а на ней написал: «Птицы». Заглянув внутрь (чего никому не довелось — ценность труда заключалась в его секретности, и он возненавидел бы любого посмеявшего ее нарушить), можно было обнаружить заголовки — крупные и подчеркнутые, а под ними, маленькими буквами — описание. Томашу с трудом удавалось преодолевать склонность к неуклюжим каракулям, он медленно водил пером и высовывал язык от усердия. И поставил-таки на своем, потому что в целом труд выглядел чисто.

Возьмем, к примеру, дятлов. Разумеется, больше всего его восхищал появлявшийся в парке зимой большой пестрый дятел. Только у одного вида — большого — голова красная, итак:

Дятел белоспинный — *Picus leucotos L.* И внизу: обитает в лиственных лесах, если находит в них достаточно старых трухлявых деревьев, а также в хвойных лесонасаждениях. Зимой приближается к человеческому жилью.

Или:

Желна — *Picus martinsL.* — самый крупный из семейства дятловых. Черный, с красным пятном на голове. Гнездится в хвойных и березовых лесах.

Желну Томаш видел в Боркунах — не вблизи, потому что подойти близко невозможно — она лишь мелькает, как уже было сказано, между стволами берез, и эхо разносит по лесу ее пронзительное «кри-кри-кри».

Он не знал, что *L.* или «*Linni*»⁷⁰ пишется после латинского названия в честь шведского естествоиспытателя Линнея, который первый классифицировал виды, но добросовестно вписывал это, чтобы его книга о птицах не отличалась от других систематических перечней. Латинские названия нравились ему своей звучностью: например, овсянка — *Embenza citrinella*, или дрозд-рябинник — *Turdus pilaris*, или сойка — *Garrulus glandarius*. Некоторые такие названия отличались невероятным количеством букв, и Томаш постоянно перескакивал глазами со своей тетради на страницу старой «Орнитологии», чтобы не пропустить какую-нибудь из них. Даже после многократного повторения названия все равно звучали хорошо, а ореховка совсем уж волшебна — *Nucifraga caryocatactes*.

Эта тетрадь подтверждала способность Томаша сосредотачиваться на том, что его увлекало. Труд оправдал себя, ибо назвать птицу, заключить ее в слова — почти то же самое, что обрести ее навсегда. Бесконечное число красок, оттенков, трелей, пересвистов, хлопаний крыльев — когда он переворачивал страницы, все это было здесь, перед ним, и он некоторым образом упорядочивал обилие бытия. В птицах все тревожит: ладно, они есть, но разве можно ограничиться простой констатацией этого факта? Свет переливается в их перьях во время полета; от желтого тепла внутри клювов, которые птенцы открывают в гнезде среди чащи, нас пронзает дрожь любовной общности. А люди считают птиц мелкой деталью, этакой движущейся декорацией, и едва достаивают вниманием — между тем как, оказавшись вместе с такими земными чудесами, они должны всю свою жизнь посвятить единственной цели: вспоминать выпавшее им счастье.

Так (приблизительно) думал Томаш, и его не слишком волновали ни «реформа», ни «дела», хотя обеспокоенность, с которой обо всем этом говорили взрослые, заставляла задуматься. Бесперерывно: «Погиры», «Бальтазар», «луг». Достаточно смысленный, он отчасти понимал, о чем речь, но симпатии не испытывал. Он, несомненно, желал дедушке удачи, но предпочел бы, чтобы тот не устраивал совещаний с теткой Хеленой.

XXXVIII

Бальтазар обрастал жиром — некоторые душевные страдания способую! этому, и, пожалуй, более мучительны, чем те, от которых худеют. Узнав о знаменитом шилельском⁷¹ раввине, он поначалу смеялся, затем смех переродился в опасения, стоит ли отвергать помощь — быть может, нарочно посланную. Поэтому он дождался только установления санного пути. С первым снегом ударил мороз, Бальтазар замерз в санях, заглянул погреться в корчму, напился и провел ночь на лавке. Наутро изжога, дорога и столбы — такие прямые, что вид их просто ранил, — в которых подвывал ветер, круживший вихри снежной пыли. Так он доехал до Шилель. Дом раввина — большой, с прогнувшейся от времени деревянной крышей — стоял ниже улицы; к двери нужно было идти через покатый двор. В сенях его сразу обступили трое или четверо, и вообще много их там крутилось, молодых и старых, расспрашивающих: а откуда, а по какому делу. Бальтазар поставил в угол кнут, расстегнул кожух, вынул деньги и отсчитал сумму пожертвования — где-то он слышал, что нужно как раз столько. Наконец сто ввели в горницу, где за столом сидел бородатый еврей в нахлобученной шапке и что-то писал в большой книге. Он сказал, что сам не раввин, но Бальтазар должен рассказать ему обо всем, что его сюда привело, — такие правила, — а уж он перескажет раввину. Тут Бальтазар замешкался и стал беспомощно чесать взлохмаченную чуприну. Он, несмотря ни на что, верил

⁷⁰ На самом деле следует писать "Linnaeus".

⁷¹ Шилели (ныне Шилале) — городок в западной Литве.

в некий луч, который пронзит его насквозь и откроет всю правду — в том числе и ему самому. Говорить? Едва с уст сорвутся звуки, как уже знаешь: всё неправда, и нет никакой возможности что-либо выразить. Пришлось бы излагать полностью противоречащие друг другу обстоятельства, да еще где — здесь, перед чужим евреем, который не переставая водил пером и даже не сразу предложил, ему сесть, лишь спустя некоторое время указал на стул. Из бормотания Бальтазара следовало, что он не может найти себе места, живет, но как будто и не живет, и погибнет без совета праведного человека. Еврей отложил перо и стал копаться в бороде. — Хозяйство есть? — спросил он. — Жена, дети? — И далее: — Грехи жить не дают? Большие грехи? — Бальтазар подтвердил, хотя не был уверен, грехи не дают ему покоя или страх, или еще что-нибудь. — Господу Богу молишься? — выпытывал еврей. Этого вопроса Бальтазар не понимал. Ясное дело: если человеку плохо, то хочется, чтоб было лучше, а Божье дело — это исправить. Ну, а если Бог не намерен ничего исправлять? Ведь к Нему нет доступа. В костел он ходил исправно, поэтому кивнул головой, что молится.

Потом он долго ждал, стоя у стены, — опять в этих сенях. И все время кто-то входил, выходил, стряхивал снег с сапог. Гвалт нарастал, воздух густел от них — лопочущих, размахивающих руками друг у друга перед носом. Но вот из глубины раздался крик, и вся толпа вместе с Бальтазаром ввалилась в ту горницу, где его принимал писарь; открылись следующие двери, и после давки в них он оказался в длинной черной комнате, почти весь дальний конец которой занимал черный стол. Тут в суматоху, в шарканье ног, в горячку ворвался чей-то приказ: «Ша!» — и все голоса повторили: «Ша! Ша!»

Из боковых дверей вышел раввин, а за ним бородатый секретарь. Раввин был маленький, с лицом девушки — как святая Екатерина на иконе в гинском костеле. У его щек вились белокурые пушистые локоны. Одет он был во все темное, под подбородком из белой рубашки торчала блестящая головка запонки, а на голове была шелковая шапочка. Выражение лица как будто смущенное, глаза опущены, но когда помощник сделал Бальтазару знак приблизиться, и его веки поднялись, — взгляд пронизывающий. Он долго смотрел, слегка приподняв голову и поглаживая лацкан сюртука. Перед ним Бальтазар ощутил всю свою бессильную огромность.

Глядя так, раввин произнес несколько слов на их языке. Поднялся шепот, люди за спиной Бальтазара всколыхнулись, и опять: «Ша! Ша!». Секретарь перевел на литовский:

— Он говорит: Ни-один-человек-не-добр.

И опять из-за стола раздался тихий голос раввина, а бородач оповестил:

— Он говорит: Какое-бы-зло-ты-ни-совершил-человече-это-твоя-судьба-и-другой-не-бывать.

Сзади на Бальтазара напирали; в тишине, полной шиканья и ожидания, слышался голос бородача:

— Он говорит: Не-проклинай-человече-судьбу-свою-ибо-кто-думает-что-живет-чужой-а-не-своей-судьбой-погибнет-и-будет-осужден-не-думай-человече-какой-могла-бы-быть-твоя-жизнь-ибо-другая-жизнь-не-была-бы-твоей. Он кончил говорить.

Бальтазар понял, что это всё, — теперь напротив раввина оказался один из них и уже обращался к нему. Протиснувшись сквозь их массу, он в бешенстве выбежал на улицу. Так, значит, за этим он ехал двадцать верст по морозу? Будь прокляты эти жида! И будь проклята его собственная глупость. Однако, когда он выехал из местечка, а его сапог, перекинувшись через борт розвальней, чертил борозду в снежной белизне, гнев прошел. Появилось другое: тоска. Чего он, собственно, ожидал? Часовая проповедь или несколько слов — какая разница? Хуже всего не это, а отсутствие как таковое, от которого хоть вой: ни ангельских труб, ни огненных языков, ни мечей, раздваивающихся на конце как змеиное жало. Ладно, едет он по дороге, позади него дома, впереди синие кусты и лес, над головой тучи — и что можно сказать? Что он родился, умрет и должен терпеть всё выпавшее на его долю? Одно и то же, вечно одно и то же — будь то ксендз или раввин, — и никогда в самую точку. Вот бы сейчас на краю неба показалась голова великана, и начал бы он втягивать воздух, и все летело бы в его глотку вместе с ним, Бальтазаром, — вот это было бы счастье. Но где там. Что толку сердиться на

жида? Это человек — такой же, как все, пережевывающий свою жвачку; а разве есть на свете люди, умеющие что-то другое? И если бы кто разрывался от боли — придут, утешат своей жвачкой, машины изобрели, но кроме «родился и умер» — ровным счетом ничего.

Еще немного, и он готов был согласиться, что приобрел в Шилелях некую мудрость. В самом деле, первые слова раввина вселили в него надежду. Может, всякий мучится и раскаивается — просто не признаётся в этом? А если бы все собрались и исповедали друг другу свои грехи — не легче бы стало? Наверняка притащились бы туда и те, у кого грехи легкие. Но достаточно ли быть без греха? У-у-у, тут он сообразил, что еврей мозговитый, — надолго хватит, чтобы вертеть в голове.

Он снял рукавицы и скрутил сигарку. Лошадь бежала резво, в пустоте бренчали бубенчики на хомуте, из-за веток лозняка выскочил заяц и бежал вдоль замерзшего ручья. Вечерело. В лесу его настигли сумерки, но не настолько внезапные, чтобы он не заметил клейм на соснах. Будут вырубать. Бальтазар читал в газете, что правительство продало много леса в Англию. Например, эта сосна не заклеимена. Почему? Потому что кривая. Ствол, поначалу прямой, изгибался горизонтально, и лишь от этого ответвления тянулась вверх мачтовая свеча. Возможно, такую судьбу и имел в виду раввин? Сосна не может начать сначала. Она должна расти дальше, исходя из того, что уже есть, — пусть даже из кривизны. Но потом — прямо. А человек может? Тоже нет.

Он недовольно хлестнул лошадь. Человек — не дерево. Дерево знает, что ему нужно, — свет. А человеку кажется, что он растет прямо, а на самом деле — криво. И в этом вся трудность. Вот, к примеру, моя жизнь. Чтоб ее изменить, я иду в намеченную сторону — прямехонько иду. Только потом, когда уже слишком поздно, оказывается, что шел я вовсе не вверх, а вниз. Тут и кончается вся их еврейская премудрость.

Твердо решив не останавливаться по дороге, он натянул вожжи, когда снежные хлопья заискрились при свете из окон корчмы. Привязанные на углу лошади встряхивали подвешенными к мордам мешками с овсом, и при каждом встряхивании раздавался звон бубенчиков на упряжи. Не чужая, а его собственная судьба. Ладно, пускай. Он нажал дверную ручку. Зашел? Зашел.

XXXIX

Если принять теорию, что фрачки и чулки чертей свидетельствуют об их симпатии к XVIII веку, то земельная реформа, состоящая в том, чтобы отбирать землю у одних и давать другим, должна выходить за пределы их знаний. Наверное, черт, наблюдавший за Бальтазаром (так ворона ходит вокруг раненого зайца), вынужден был изучать этот вопрос по долгу службы. Значит, придется и нам рассмотреть его — тоже ради точности, на минутку.

Распределение угодий Сурконта выглядело следующим образом:

| | |
|---|----------|
| пахотных земель..... | 108,5 га |
| пастбищ на берегу Иссы, залежей и т. п 7,9 га | |
| спорных пастбищ возле деревни Погиры..... | 30,0 га |
| лесов, лугов и земель, раскорчеванных Бальтазаром..... | 42,0 га |
| Итого: | 188,4 га |

Однако, согласно недавней реформе, всё, что превышало восемьдесят гектаров, подлежало парцелляции и разделу между безземельными крестьянами — с таким низким возмещением владельцу, что оно практически не имело значения. И все же Сурконт (или его заботившаяся о своих интересах дочь) нашел средство защиты. Если земельные владения разделены между членами семьи, которые построили себе дома и хозяйствуют самостоятельно, каждый из них может сохранить по восемьдесят гектаров. Сурконт решил заткнуть правительству глотку тридцатью гектарами спорных пастбищ, а остальные 158,4 га разделить между собой и Хеленой. Да, но дата! В законе ясно сказано, что после определенной даты все разделы недействительны. Чтобы прикрыть глаза на эту мелкую неточность и

вписать в книги — якобы по ошибке — более раннюю дату раздела, чиновники должны оказать любезность. Они, в свою очередь, не остаются равнодушными к услугам, которые оказывает им Сурконт. Именно этого он и добивался.

И еще одна загвоздка — лес. По закону все леса переходят в собственность государства, поэтому пришлось записать лес как луга. Тут уж все зависит от того, куда посмотрят таксаторы: вниз, или поднимут глаза на странную траву, чьи стебли не в состоянии обхватить мужчина. Впрочем, настоящего старого дубняка осталось немного — в основном тенистые рощи из молодых грабов, несколько ельников и много сырых выкорчеванных участков. Однако весь этот клочок земли граничил с государственным лесом, растянувшимся на десятки километров, — это увеличивало опасность.

Два хозяйства — его и Хелены. Надо придумать, где будет находиться второе. И тут, совершенно неожиданно, на выручку приходил Бальтазар. Никакой расчет не двигал Сурконтом, когда он разрешал Бальтазару делать все, чего тот ни пожелает. Это был не расчет, а слабость к пареньку (посмотрите на него, и вы сразу поймете, что и в тридцать, и в сорок лет он остается пареньком). И вот теперь дом лесника и постройки вокруг него приходились очень кстати: в документах можно будет написать, что у Хелены отдельное хозяйство.

Так, в общих чертах, обстояли дела. Лучший сорт пива и душистая настойка на девяти лесных травах появлялись на столе всякий раз, когда в избу Бальтазара ненадолго заглядывала Хелена Юхневич, но он пристально следил за ней, как всегда скаля зубы в добродушной улыбке. Разве он ее не знал? Сладенько, будто невзначай, заглядывала она то в коровник, то в свирон. С такой противно иметь дело.

Некоторые считают, что черт — не более чем галлюцинация, следствие внутренних страданий. Если они предпочитают так думать, то мир тем более должен казаться им малопонятным — ведь ни у каких других живых существ, кроме человека, таких галлюцинаций не бывает. Допустим, маленькое созданище, которое иногда разгуливало вприпрыжку вдоль следов пролитого пива, размазанного по столу пальцем Бальтазара, своим существованием было обязано пьянству. Но это ровным счетом ничего не объясняет. Случались дни, когда к Бальтазару возвращалась былая радость, он посвистывал за плугом — и вдруг внутри толчок, предвещающий приближение ужаса. Всего несколько шагов за предначертанный ему круг — и вот уже неизвестная, сторонняя сила загоняет его обратно. Именно сторонняя. Свои страдания он ощущал отнюдь не как часть самого себя — сам, в глубине души, он наверняка по-прежнему оставался чистой радостью. То, что на него нападало, окружало извне. Ужас охватывал его потому, что тонкость и острота суждений, которые он высказывал в состоянии отчаянья, не вытекали из его возможностей. Его поражала сверхчеловеческая ясность видения. Собственная нелепость Бальтазара тоже была частью этих рассуждений — на ней и играл мучитель.

— Ну так что же, Бальтазар, — говорил он. — Жизнь одна. Миллионы людей занимаются миллионами разных дел, а у тебя — Сурконт, Хелена Юхневич, земля, тот, хм, случай с ружьем. Мелко все это. И почему это дано именно тебе? Ты мог бы упасть, как звезда, — тут или там. Тебя угораздило здесь. И уже никогда не родиться тебе заново.

— Раввин говорил правду.

— Правду? Однако ты кусаешь кулаки и оттого, что Юхневичиха тебя выгонит, и от злости на самого себя, что кусаешь кулаки. Вроде бы и соглашаешься жить своей судьбой, и не соглашаешься. Не спорю, раввин угадал — он опытный. Но не так уж трудно это угадать. Бальтазар грязный жалеет, что всё это обрушилось на Бальтазара чистого, которого нет. Хорош этот чистый Бальтазар. Только нет его.

Пальцы впивались в стол — чтобы ударить, разбить, чтобы превратиться в огонь или камень.

— Ну, перевернешь ты стол — и что дальше? Я-то знаю, ты не этого хочешь, а хочешь спросить. Спрашивай, легче будет. Вот вливаешь ты в себя водку, но думать-то перестаешь только на секунду, пока горло жжет. Хочешь знать?

Бальтазар оседал, широко разложив локти на досках столешницы, — весь во власти

зверька, слабого и хищного.

— Вот если человек что-то сделал, так это оттого, что иначе он не мог? Это тебя мучит, правда? Я стал таким, как сейчас, потому что в свое время поступил так-то и так-то. Но почему я так поступил? Не потому ли, что я изначально такой, какой есть? Так?

Под обращенным к нему из пространства взглядом, принимающим разные личины, но неизменным, он соглашался.

— Тебе жалко, что семя плохое? Что из семени крапивы не вырастет пшеница?

— Ясное дело.

Покажу тебе на примере. Вот стоит дуб. Что ты думаешь, глядя на него? Что он должен там стоять?

— Должен.

— Но дикая свинья могла выкопать желудь и съесть. И думал бы ты тогда, что там должен быть дуб?

Бальтазар накручивал на палец свисающие патлы.

— Нет. А почему нет? Потому что все случившееся выглядит так, будто должно было случиться, будто иначе и быть не могло. Так уж устроен человек. Ты потом тоже будешь уверен, что не мог поехать в город и рассказать, кому надо, что Сурконт выдает лес за луга и пытается смошенничать.

— Я не буду на него доносить.

— Хороший Бальтазар, любит Сурконта. Нет, ты боишься, что твой донос не поможет. Он платит чиновникам, узнает, и тогда уже не будет защищать от дочери. А выиграть тоже боишься. Присоединят к государственному лесу, может, и возьмут лесником, но спросят, зачем тебе столько земли. Не лукавь. От судьбы не уйдешь, хоть ты ее прокляни.

— Если я никогда не знаю, зачем. Сватов послал, зачем — уже не помню. И этот русский тогда — ведь мог бы только напугать. Не помню.

— А!

— А-а-а!

Никогда неизвестно, как быть с криком, звучащим внутри нас. Высшая несправедливость в том и заключается, что мы отрываем листок календаря, натягиваем сапоги, щупаем мускулы на руке и живем сегодняшним днем. И вместе с тем изнутри нас терзает память о действиях, причин которых мы не помним. Либо эти действия исходят от нас, от нашей сущности — той же, что сегодня, — и тогда носить ее противно, собственная кожа воняет ею. Либо их совершил кто-то другой, с закрытым лицом, и тогда еще хуже, ибо непонятно: почему, из-за какого проклятья нельзя от них избавиться?

Бальтазар догадывался, что у Сурконта всё получится. Он выбрал бездействие — от усталости и от недоверия к себе, к своей природе или ко всем тем, кто под нас подделывается. Когда ничего не делаешь, то и жалеть потом не о чем. Впрочем, раз уж он запутался, пусть теперь всё путается окончательно. Некоторое время он бил жену, но потом перестал и замкнулся в себе — тяжелый и молчаливый. Возможно, разумно было бы бросить дом и, пока не поздно, подыскать себе реформенный выселок — но опять начинать все сначала, жить в шалаше из валежника, ставить себе жилище? И зачем? Пусть всё остается хотя бы так, как сейчас. Раздел имения еще не означал, что Юхневичи собираются жить в лесу; а случись что с Сурконтом, всё будет решать она, — это он и так знал.

У него родился третий ребенок, дочь. Когда бабка из Погир принесла ее показать, он подумал, что не помнит, как это было, в какую ночь, и было ли от этого удовольствие. Она была похожа на маленького котенка и на Бальтазара. Он устроил шумные крестины и прямо на них бросился на кого-то с ножом, но это обратили в смех. А узнал он об этом, лишь проснувшись на следующий день.

XL

Звенят колокольчики, лошадь фыркает, бесшумно скользят полозья, а на белом снегу по

обе стороны дороги — следы. Искривленный квадрат — это заяц. Если квадрат удлиняется, значит, заяц бежал быстро. Ровной вереницей, лапка за лапкой, тянется след лисы — через холм, где снег искрится на солнце, к синевато-фиолетовому березняку. Птицы оставляют три сходящихся черточки, иногда полоску хвоста или едва различимые мазки от перьев на концах крыльев.

У тетки Хелены на носу мелкие прожилки от мороза, а сам выдающийся вперед нос темнее, чем порозовевшее лицо над воротником кожушка. Кожух ее утратил свой былой цвет и стал коричневым, но у Томаша он совсем новый, яркостью напоминающий летний мех белки, и потому (а также из-за мягкости) он любит тереться щекой о рукав. На глаза ему съезжает слишком большая дедушкина шапка-ушанка, и он терпеливо сдвигает ее на затылок.

У Хелены круглая шапка из серого барашка.

В Боркунах дорожки у дома желтые от вытопанного снега, кое-где видны шероховатые брызги воды, схваченные морозом внезапно, пока не успели растечься, и кучки конского навоза, среди которых прыгают воробьи. Мелькает Барбарка в длинных шерстяных чулках и деревянных клумпах.⁷² Угощение: они втроем сидят за столом, но Томашу это быстро наскучивает; он встает и рассматривает висящее на стене охотничье снаряжение. Его раздражало взаимопонимание между Ромуальдом и Хеленой: тогда открывался другой, худший Ромуальд — сообщник взрослых, сыпавший шуточками, которые вызывали у тетки отрывистое хихиканье. Что еще заставляло его бежать из-за стола при первой же возможности, так это снование Барбарки, неизвестно почему озлобленной и кусавшей свои полные губы. А уж если он оставался за столом, то задумывался так, что Хеленино «ешь!» вырывало его словно из сна. Однако она не могла угадать его непристойных мыслей. Усмешки и приглашения закусить или выпить казались ему противоестественными. Почему все ломают комедию, кривляются, обезьянничают, если на самом деле они совсем не такие? Никто не показывает друг другу настоящего себя. Собираясь вместе, они меняются. Например, Ромуальд, такой, как на самом деле, говорит: «Надо посрать», — приседает под деревом, а потом подтирается листиком, вовсе не прячась, — а тут эти любезности и целование ручек Хелена тоже раскорячивается, и из промежности у нее льется струйка, но сейчас она ведет себя так, будто у нее там ничего нет, будто она оставила эту часть тела дома — такая благородная. Даже Барбарка. Почему «даже»? Потому что как же Барбарка — такая красавица, что аж оторопь берет, — приседает со своим румянцем, и как оно вытекает из ее волосатости? Глядя на нее и представляя себе это, он содрогался: от ее гладкого лба и темно-синих молний во взгляде до *того самого* вроде не пять верст? И ведь каждый знает, что все это делают; отчего же они ведут себя так, словно не знают? Вообще говоря, все условности, связанные с визитами, когда он должен был соблюдать их скучные правила вежливости, вызывали в нем подобное чувство противоречия, но никогда до такой степени, как этой зимой в Боркунах. Как бы было здорово, если бы они разделись догола и уселись на корточках друг против друга, справляя каждый свою нужду. Неужели и тогда они несли бы вздор, слишком глупый для каждого из них в отдельности? Нет уж, тогда их точно рассмешил бы собственный вид. К неприличному удовольствию, которое он испытывал, представляя себе такую компанию, примешивалось желание сорвать с них маски, побороть их манерность. Он дал себе клятву никогда не быть таким, как они. Однако его протест был обращен прежде всего против Хелены, заражавшей пана Ромуальда и принуждавшей его к кривлянию.

Вечерами, когда низ неба подтекал суровым багрянцем, а тонкие ветки, казалось, так и хлестали холодом, на березы у реки прилетали тетерева. Пока они летели, Томаш видел лиры их хвостов и белый подбой крыльев; черный металл их перьев переливался, если удавалось подойти достаточно близко. Но издалека они были лишь контурами на верхушках деревьев. Как-то раз Ромуальд извлек из шкафа деревянное чучело, выглядевшее совсем как настоящий тетерев. Его привязывают к длинной жерди так, чтобы было похоже на живую птицу, и

⁷² Клумпы (от лит. klumpes) — традиционные литовские деревянные башмаки.

закрепляют на березе; тетерева думают, что это их товарищ, и прилетают, а охотники стреляют в них. Ромуальд обещал когда-нибудь взять Томаша с собой, но как-то все это сошло на нет: мороз крепчал, и они только раз ходили на прогулку в лес — увы, с Хеленой. Ромуальд показал им следы, которые долго изучал и наконец объявил, что это волчьи. Как отличить их от следов крупной собаки? Хм, это были бы очень большая собака, — объяснил он. — А кроме того, пальцы волка лучше отпечатываются — шире расставлены.

Ромуальд нечасто приезжал в костел — в такие дни после мессы он заходил в усадьбу, — зато Барбарку Томаш встречал каждое воскресенье. Она молилась по толстому молитвеннику, на спину ей спускался треугольный край платка, и тогда она не смущала его так, как в Боркунах. Вообще костел отличается тем, что всё в нем перестает быть опасным, даже Домчо, чьи растрепанные волосы Томаш иногда замечал в толпе мужчин. Костел не рождал в нем протеста, однако вызывал некоторую озабоченность. Томаш считал, что во время службы чувства человека должны возноситься к Богу, а если нет, то такое участие — сплошной обман. Он не хотел обманывать, прикрывал глаза и старался улететь мыслями высоко — сквозь крышу, в самое небо, но ничего не получалось. Бог был как воздух, и любой. Его образ мгновенно рассеивался. Зато упорно возникало приземленное желание разглядывать людей вокруг: кто как одет и у кого какое выражение лица. Или, если он воспарял и мчался в поднебесье, то лишь затем, чтобы поставить себя на место Бога и самому смотреть сверху на костел и всех собравшихся в нем. Крыша тогда прозрачная и одежда прозрачная, люди стоят на коленях, а все их срамные части тела на виду, хоть они и скрывают их друг от друга. То, что у них в головах, тоже открывается, можно протянуть с неба свои огромные пальцы и схватить одного или другого, положить на ладонь и разглядывать, как он там шевелится. С такими мечтами он боролся, но они появлялись всякий раз, как он отправлялся в полет к небесным сферам.

Книга о первых христианах и Нероне (том самом, который делал из них живые факелы на рисунке в дедушкиной комнате) потрясла Томаша до глубины души. Ее влиянию следует приписать и сон о чистоте. Он стоял на арене римского цирка в толпе христиан. Они пели песню, и слезы текли по его лицу. Но это были слезы блаженства, ибо, добровольно идя на муки, он был так добродетелен, так внутренне очищен, что весь превращался в эту реку без преград. Когда-то давно (это случилось только раз) по распоряжению бабки его выпороли за какую-то серьезную провинность. Антонина держала его, а один из батраков бил розгой по голому задку. Несмотря на рев, об этой операции у него остались самые лучшие воспоминания. Легкость на душе, радость, искупление вины и такие же слезы счастья, полноты, как в этом сне о смерти.

Львы приближаются. Их зубастые пасти уже совсем рядом, клыки вонзаются в его тело, льется кровь, но он не испытывает страха — лишь свет и соединение с Благом навеки.

Однако это во сне. А наяву он в ту же неделю устроил страшный скандал Хелене. У него пропала книга в черной обложке, с пожелтевших страниц которой он переписывал латинские названия птиц. Он искал ее всюду, приставал к взрослым, спрашивая, не брали ли они, но никто ничего не знал. Куда она девалась? Наконец он случайно обнаружил ее в комнате, где среди рассыпанных на полотне семян и груд шерсти спала Хелена. Но в каком месте! У точеной ножки кровати не хватало одного кружка, и вместо него она подложила книгу. Томаш с криком грозил Хелене кулаками, а она удивлялась, что это на него нашло и из-за чего весь сыр-бор. Идиотка! Для нее, разумеется, не имело значения, книга или кирпич; никакие звери и птицы ее не интересовали — она не могла отличить даже воробья от овсянки. Филином она занялась, да, — но лишь потому, что за него давали деньги. А если она якобы внимательно слушала, что Ромуальд рассказывал об охоте, то врала немилосердно и лишь притворялась, чтобы крутить роман. Холодное презрение. Не по-христиански это — питать к ближним такие чувства. Но Томаш не задавался подобными вопросами. Презрение к Хелене подсказывало ему разные идеи, как ее наказать — не только за это преступление, но и вообще за глупость. Например, насобирать волчьих ягод и подсыпать ей в суп. Однако кругом снег, зима, яду достать негде, и через несколько дней ненависть пошла на убыль. А впрочем, если уж она

такая, какая есть, — слепая ко всему, что достойно любви, — то не стоит даже утруждать себя ее отравлением; нечего ею заниматься.

На белом теперь газоне перед домом Томаш катал снежные комы, пока они не разрастались, облепляясь все новыми пластами оторванного от земли свежего снега. Затем он ставил их друг на друга, а в самый маленький — голову — втыкал угольки глаз и веточку-трубку. Но руки у него при этом мерзли, а кроме того, когда такая фигура уже готова, непонятно, что с ней делать дальше. По утрам он помогал Антонине топить печи. В тишине дома, словно опущенного в коробку с ватой, резко разносился стук ее башмаков в сенях; она вносила с собой холод и поблескивавшие обледенелые поленья, которые с шумом высыпала на пол. Томаш укладывал в топке кусочки бересты, а над ними ставил шалашик из щепок, которые сушились в щели между печью и стеной. Пламя лизало кору, и она сворачивалась в трубочки. Займется или не займется? В комнату бабки Дильбиновой Антонина с дровами (а следом за ней и Томаш) входила, когда там еще нельзя было ничего различить, и сразу же шла открыть наружные ставни. Тогда он моргал, пораженный внезапным светом; моргала и бабка Дильбинова, горбившаяся перед подушкой, вертикально прислоненной к изголовью. На ночном столике рядом с толстым молитвенником стояли бутылочки с лекарствами — из-за них комната была наполнена тошнотворными запахами. Томаш не засиживался здесь, как осенью, и пользовался любой отговоркой, чтобы улизнуть, — слишком уж много стонов. Он качался на стуле у кровати, зная, что должен остаться, но не мог долго выдержать и выскальзывал с чувством вины. Впрочем, из-за бегства чувство это не увеличивалось: поскольку бабка была больной и плаксивой, она низводилась до уровня вещей, которые можно равнодушно или даже раздраженно изучать, испытывая от этого удовлетворение и в то же время стыд.

Важное событие: Томаш получил сапоги — точно такие, как хотел. Их сшил сапожник из Погир, и, хотя они были великоваты (на вырост), зато удобны. Мягкое голенище можно было при необходимости стянуть на подъеме ремешком, чтобы ступня не ездил. Второй ремешок, продетый через ушки, стягивал их под коленом.

XLI

Наконец настала весна, не похожая ни на одну другую в жизни Томаша — не только из-за удивительной внезапности таяния снегов и безудержной силы солнца, но и из-за того, что он не ждал сложа руки, пока развернулся листья, на газоне покажутся желтые ключики святого Петра, а в кустах по вечерам начнут щелкать соловьи. Он вышел весне навстречу, едва лишь голая земля стала дымиться под безоблачным небом, и пел, и свистел, помахивая палкой, по дороге в Боркуны. Лес за Воркунами, в который он углубился после полудня, вызывал желание выскочить из собственной кожи и превратиться во все, что окружало. Что-то распирало Томаша изнутри до боли и восторженного крика. Однако вместо того, чтобы кричать, он тихо крался — так, чтобы ни одна веточка не хрустнула под ногой, — и каменел от малейшего звука и шороха. Только так можно проникнуть в мир птиц: они боятся не человеческих очертаний, а движения. Вокруг него прохаживались крапчатые дрозды, которых он умел отличать от дроздов-рябинников (у тех перья на голове голубоватые, а не серо-коричневые). Обойдя высокую ель, он обнаружил, что дубоносы уже свили на ней гнездо. Что до гнезда соек, то он прозевал бы его, если бы не их беспокойные вопли. Да, вот оно — но так спрятано, что снизу не догадаешься. Ветки на этой молодой елке начинались у самой земли, и поначалу он взбирался легко, но чем выше, тем труднее — хвоя все гуще, иголки хлещут по лицу. Вспотевший и исцарапанный, Томаш высунул голову прямо у гнезда. Он раскачивался, уцепившись за тонкий в этом месте ствол, а они отчаянно бросались сверху с явным намерением ударить клюном, и лишь в последний момент побеждал страх: они сжимались, поворачивали назад, чтобы спустя мгновение вновь напасть. Томаш нашел четыре бледно-голубых в ржавую крапинку яичка, но не тронул их. Почему большинство лесных птиц откладывает крапчатые яйца? Никто не мог ему этого объяснить. Так уж оно бывает. Но

почему? Он спустился вниз, довольный достижением цели.

Возвращался он опьяненный наблюдениями и, прежде всего, весенним лесом, красота которого — не в чем-то отдельно взятом, а в тысячеголосом хоре надежды. На острых верхушках деревьев, черных на фоне закатного неба, выводили свои рулады дрозды (*Turdus musicus*, а не *Turdus pilaris* и не *Turdus viscivoms*. Только глупцы путают эти виды). В вышине блеяли бекасы, точно барашки, бегущие куда-то далеко, за розово-зеленую шелковую дымку. Слыша такие звуки, Антонина говорила, что это колдунья Рагана⁷³ ездит верхом на черте, превращенном в летающего козла, и терзает его шпорами. Но Томаш знал, что это блеянье — всего лишь особый свист перьев.

Барбарке он вручил букет из розовых цветов волчьего лыка, пахнувших как гиацинты, и она благосклонно его приняла. В сумерках при свете лампы пан Ромуальд осматривал изнутри стволы двустволки и сказал такое, от чего Томаш лишился дара речи и, наверное, побледнел от радости. Может, из жалости, а может, оценив по заслугам способность паренька перевоплощаться в лесных духов, он спросил его: «Поедешь?»

Счастье омрачала ответственность. Подкрадываться к токующему глухарю считается делом трудным. Один неосторожный шаг — и охотник остается ни с чем, а Ромуальд брал его с собой, соглашаясь, чтобы Томаш шел на глухаря вместе с ним. Теперь его честь зависит от того, оправдает ли он доверие.

Томаш знал повадки глухарей, но никогда их не видел — они не водились в окрестностях Боркунов, а лишь в глубине леса, вдали от людей. Эта птица была символом настоящей пуши. Только два-три шага можно сделать в конце каждой песни глухаря, когда он глохнет и теряет интерес ко всему происходящему в темноте под ним — а токует он исключительно на рассвете, в пору между таянием снегов и появлением первой зелени.

Экзальтация, в которую Томаш впадал при любом упоминании о глухарях, да и вообще обо всем, что связано с природой, может вызывать подозрения. Волновала ли его мысль о птице размером с индюка с вытянутой шеей и веерообразным хвостом, или скорее он приходил в восторг, представляя, как сам крадется в полумраке? Разве не восхищался он, беззвучно и осторожно углубляясь в чащу или слушая звуки гона, тем, что ему довелось участвовать в невероятных приключениях, как настоящему охотнику? Значит, он видел не только подробности вокруг, но и себя, видящего эти подробности, то есть восхищался ролью, которую играл. Например, изгиб его ступни, когда он подкрадывался к дичи, выражал несколько преувеличенное сознание собственной ловкости. Однако взрослые ошибаются, если думают, что не играют в те же игры. Пусть признаются, что любопытство, каково им будет в роли любовников, бывает для них важнее самого предмета любви. Они хотят насладиться ситуацией (не так ли?) и в этом ищут основания для гордости. Тогда их действия и слова по необходимости немного фальшивы, ибо разыгрываются перед ними самими, под контролем, во имя приближения к заветному идеалу. Они требуют, чтобы их чувства к близким людям соответствовали придуманному ими образу любви, а если нужных чувств недостает, фабрикуют их, ловко убеждая себя, что они настоящие. Лицедейство, когда человек считает, что он не совсем тот, кто на самом деле, — их излюбленное занятие, и в этом смысле Томаша следовало бы взять под защиту.

Впрочем, фанатизм, с которым он разделял людей на достойных и недостойных, в зависимости от того, угадывалась ли в них страстная увлеченность, свидетельствовал о высоких требованиях его сердца. Птиц он считал проявлением высшей красоты и, поклявшись оставаться им верным, неуклонно следовал своему призванию. В его движениях — слишком правильных — выражались воля и упорство: хочу быть таким, как я задумал.

На следующий день, сразу после полудня они отправились в путь на одноконной бричке Ромуальда. Песчаная дорога с глубокими колеями шла через лес, а дальше вилась по широким

⁷³ Рагана — в литовской и латышской мифологии ведьма, вредящая людям. Способна оборачиваться разными животными, птицами и пресмыкающимися. Умеет летать по воздуху, а иногда ездит верхом на козле.

просторам вересковых пустошей, изредка поросших соснами — семенниками или группами молодых прозрачных сосенок, многие из которых были поломаны, как трава, зимними снегами и ветрами. Пустоши не вызывали у Томаша симпатии из-за своего безжизненного вида, столь непохожего на берега Иссы или окрестности Боркунов. За ними — смешанный лес, и в нем Ромуальд искал идущую напрямик дорожку, по которой возили поваленные деревья. Было уже достаточно сухо, чтобы не бояться завязнуть. Иногда в тени копыта стучали по утрамбованному снегу Они выехали на большак с канавами по краям, и спустя полчаса перед ними открылась обширная поляна, на которой дымили деревенские трубы.

— Это Яугеле, — сказал Ромуальд. — Здесь все сплошь браконьеры.

На фоне черного леса голые рощи и кусты голубели в вечернем свете, на них ложились полосы тумана Между купами ольх Ромуальд с Томашем нашли мостки, ведущие в дом лесника. На крыше, в гнезде аистов, видимо, недавно вернувшихся из своего путешествия, можно было разглядеть клокочущий вихрь клювов и крыльев. Пес заливался, натягивая цепь, а Ромуальд с облегчением слезал с сиденья, разминая кости. Вышедшая на порог высокая женщина в темно-зеленой юбке объяснила, что мужа нет дома — пошел на токовище и ночует в лесу. Она приглашала зайти, но они должны были ехать дальше, если хотели найти его к ночи. Напились лишь молока, которое она вынесла в глиняном кувшине. Двигаясь, как она показала, — сначала направо, потом, за сосной с бортью⁷⁴ — налево, у болотца — опять направо, — они в конце концов выехали на дорогу, покрытую белыми щепками и подстилкой из обрубленных веток. Было уже совершенно темно, то тут, то там по бокам поблескивали окоренные бревна. Но вот вдали мелькнул костер.

Отблески пламени придавали косому навесу из сосновых досок на столбиках оттенок темной меди. На разложенных кожухах сидели двое мужиков, и Томаш, конечно, сразу заметил стволы двух ружей, прислоненных к скату. Лесник и его товарищ уверяли, что токование в самом разгаре, разве что пойдет дождь, но не должен бы — закат был к ясной погоде.

— А он? — спросил лесник, указывая на Томаша. — Что, тоже на глухаря? — и погладил усы, скрывая под ними обидную усмешку. Покачивая головой, он внимательно разглядывал паренька, и тот смешался под этим взглядом.

Снопы искр вспыхивали и взвивались в небо, растворяясь в мягкой черноте. Томаш вытянул ноги к костру и чувствовал сильный жар даже сквозь подошвы сапог. Лежа на подстилке из еловых лап, он укрылся своим кожухом, а по невидимым верхушкам сосен пробегал шум, где-то вдали кричала сова. Мужчины вели беседу, многословно разглагольствуя о чьей-то свадьбе, о некоей тяжбе из-за того, что кто-то кому-то запахал между. Время от времени один из них вставал и выплывал из темноты, волоча за собой сухой сук, который швырял в огонь. Убаюканный гулом разговора, Томаш повернулся на бок и задремал, а до него то ли во сне, то ли наяву доносились голоса и шипение пламени.

Кто-то потряс его за плечо, и он вскочил. Костер догорал, окруженный широким кольцом пепла. В вышине сверкали звезды, бледневшие с одной стороны неба. Он дрожал от холода и ожидания.

XLII

Шли в полной темноте. Тишина, лишь иногда сапог стукнет о корень или ствол ружья проскребет по нависшим веткам. Их было трое, приятель лесника решил попытать счастья в других местах. Тропинка сужалась, вместо запаха хвои повеяло болотом. Лужи поблескивали в сером мерцании предрассветного часа. Брели по воде или обходили ее, цепляясь за ольховые стволы. Потом балансировали на скользких колодах, брошенных в качестве мостков среди

⁷⁴ Борть — дупло в дереве, пне или куске бревна (естественное или искусственно выдолбленное), в котором водятся пчелы.

призрачных сухих камышей.

Не то плотина, не то просека. Слева канава, из которой в тишине доносилось кваканье лягушки. За канавой смутно виднелись карликовые болотные сосенки. Справа темная масса леса — такого, какой растет на мокрой почве. Томаш различал в его глубине светлые стволы и извивающиеся корни поваленных деревьев, заросли голого лозняка, валежник и бурелом. Прямо перед ними небо подтекало розовым светом, и, если задержать на нем взгляд, все вокруг казалось еще чернее.

Они то и дело останавливались, прислушиваясь. В какой-то момент Ромуальд схватил Томаша за плечо и шепнул: «Он». Но Томаш не сразу уловил этот звук — не более чем приглушенный расстоянием вздох, тайный сигнал, не напоминающий ничего на свете. Как будто кто-то кует — но нет; как будто откупоривают бутылки — тоже не то. Ромуальд обменялся рукопожатием с лесником, который тут же исчез.

— Пока можно подкрадываться без опаски, хоть и осторожно. Он далеко, не слышит, — зашептал Ромуальд. — Потом держи ухо востро.

Неся ружье в одной руке и удерживая равновесие с помощью другой, Ромуальд углубился в чащу. Томаш — за ним, напрягая все свои силы, чтобы избежать шума. Только как его избежать? Еще не коснувшись почвы, нога встречала на своем пути груды сухих стеблей, которые с треском ломались. Прежде чем ступить, Томаш продавливал сапогом ямку в их слое или выбирал островки мха. Да, глухарю нужна настоящая пуща — такая, чтоб защищала. Дорогу им преграждали баррикады из лежавших друг на друге стволов, и Ромуальд колебался, — пролезать снизу или сверху. Теперь звук слышался четче. Как будто откуда-то с усилием, все быстрее вырывалось «тек-ап, тек-ап».

Такие сцены врезаются в память навсегда. Прежде всего — огромность осин, которые казались еще больше из-за жемчужно-серого освещения не то дня, не то ночи, а между их сучьями — яркость, предвещающая восход солнца. Корни — как гигантские пальцы, вцепившиеся во влажный сумрак, стремление стел вверх, к свету. Ромуальд — не более чем стела центральная, или осевая часть стебля и корня высших растений муравей рядом с ними, продирающийся сквозь заросли с поднятым ружьем. И звук. Томаш понял, почему эта охота так ценится. Природа не могла изобрести другую песню, которая бы столь точно выражала дикость весны. Не мелодия, не пленительная трель — лишь барабанный бой, который ускоряет ритм, пульс стучит в висках, пока песня глухаря и грохочущий в песне барабан не сливаются воедино. Не поддающийся описанию звук, не похожий на голос никакой другой птицы.

Томаш во всем подражал Ромуальду. Когда тот обернулся и дал знак, он остановился. Значит, пора. Теперь они будут только прыгать. Глухарь прервал песню. Тишина. Высоко в небе, резко чирикая, пролетели маленькие птички. Опять начал. «Тек-ап», — и все быстрее, быстрее, пока не появился новый звук, словно кто-то точил нож. Тогда Ромуальд прыгнул раз, другой и неподвижно замер. Томаш не шелохнулся: он боялся двигаться, пока не нащупал ритм. Но, когда глухарь начал новую серию, он был уже готов и, услышав «точение», прыгнул одновременно с Ромуальдом. Раз, два, три — Томаш понял, что именно столько времени в его распоряжении, потому что птица глохнет, и можно даже шуметь, лишь бы только сразу после этого превратиться в неподвижное изваяние.

Раз, два, три. Он весь сосредоточился на этом действии и молился: «Господи, помоги. Господи, помоги». Что бы ни случилось, нельзя шевельнуться: куда встал, там и жди. И все же нога Томаша, ища опоры, соскользнула с мшистой кочки и уже после «три» сорвалась в воду; грязь громко забулькала. Он мог бы поставить ее обратно, ухватившись за деревце позади, но оно бы, наверное, закрипело. Поэтому он в отчаянии увязал, а Ромуальд погрозил ему пальцем.

Одну песню Томаш потратил на извлечение ноги из болота. Он снова прыгал немного позади Ромуальда и беспокоился, что они наткнутся на глухаря, токовавшего теперь, казалось, совсем близко. Рассчитывая, куда поставить ногу, он готовился, но ничего не происходило. Минуты шли — и вдруг в зарослях впереди послышалось хлопанье крыльев. Всё. Улетел. В ужасе призывал он взглядом Ромуальда, чтобы тот обернулся.

Нет, глухарь запел — там же, но как будто выше. Просто перелетел на другую ветку? По приседаниям и примеркам Ромуальда Томаш понял, что тот составляет план, прикидывает, с какой стороны лучше подойти, чтобы остаться незамеченным. Над крышей леса небо уже ясное, солнечные лучи окрасили багрянцем группу осин перед ними. Именно туда длинными прыжками поскакал Ромуальд и жестом подозвал к себе Томаша.

Глухарь — высоко, в просвете между елями. Задрал голову, стоя на коленях на мху, Томаш разглядывал его из-за дерева. Он казался маленьким — размером почти с дрозда. Крылья опущены, веер хвоста торчит наискосок — серый на фоне совершенно черной ели, на которой он сидел. Спина согнувшегося в три погибели Ромуальда терялась за хвойной завесой — он заходил сбоку.

Выстрел. Томаш увидел глухаря, сорвавшегося с ветки без единого взмаха крыльев, длинную полосу падения, услышал удар о землю и второе эхо вслед за эхом от выстрела. Он провел языком по запекшимся губам — счастливый и благодарный Богу.

Глухарь был с металлическим отливом, с красной бровью, с клювом как из беловатой кости. Когда Томаш взял его за шею и поднял на высоту своего плеча, он свесился до самой земли. Под клювом — словно борода из перьев. Он не знал людей, может, раз или два слышал издали их голоса. И ничего его не интересовало: ни тетка Хелена, ни книги, ни сапоги, ни устройство ружья. Он не знал, что на свете живут Ромуальд и Томаш, — не знал и уже никогда не узнает. Ударил молния и убила его. А он, Томаш, был позади этой молнии, по другую сторону. Они встретились так, как единственно могли встретиться, и немного жаль, что нельзя иначе. Вообще говоря, Томаш желал взаимопонимания с разными живыми тварями — такого, какого нет. Зачем эта преграда и почему, если человек любит природу, он должен стать охотником? Даже его филин: не сбылась тайная мечта, что в один прекрасный день он заговорит или сделает что-нибудь доказывающее, что на мгновение перестал быть филином. А поскольку мечта не сбылась, вопрос: что дальше, когда он уже сидит у тебя в клетке? Самому принять другой вид — хотя бы глухаря — тоже невозможно, и остается лишь нести убитую птицу и вдыхать ее запах — запах дикой чащи.

Взошло солнце. Тот же самый бурелом и пятна смолы под спутанными ветками лозняка уже не были такими необычными. Они быстро добрались до канавы, от которой отошли вовсе не так далеко, как казалось Томашу. Он наслаждался этим шествием вдоль канавы: жестокая заря среди хаоса искореженных, лежащих друг на друге сосен, мужчина с полоской двустволки, синий папиросный дымок, и он, несущий добычу.

XLIII

Печальна должна быть жизнь людей, которые, выйдя утром из дому, никогда не слышали бормотанья тетеревов: они не знают настоящей весны. В минуты сомнений их не посетит воспоминание о свадебном пиршестве, идущем где-то вне зависимости от всего, что их гнетет. Ведь если экстаз существует, разве важно, что его испытывают не они, а кто-то другой? Лиловые цветы с желтой пылью в чашечках вылезают из хвои на поросших бархатным пухом стебельках, когда тетерева-косачи танцуют на полянах, волоча по земле крылья и выставляя вертикально хвосты-лиры — чернильно-черные с белым подбоем. Их горло не вмещает избытка песни, и они раздуваются, исторгая из себя комья звука.

Ромуальд не стрелял их в Боркунах, заботясь о сохранении дичи в ближайших окрестностях. Березовая рощица, в которой обосновались гадюки, граничила с молодым сосняком, и это место тетерева облюбовали для токования. Деревца росли там редко, но буйно, их ветви стлались по земле. Между ними — как паркет — низенький мох, серый лишайник, кое-где кустики брусники. Обычно для охоты в таких местах строят шалаши, напоминающие снаружи кусты; охотник прячется там перед рассветом и ждет, наблюдая за бальным залом тетеревов. Томаш считал делом чести прибегать только к собственной ловкости. Он охотился без ружья и поставил себе задачу подкрасться так близко, чтобы, будь у него ружье, точно не промазать.

Молочный туман и по-детски розовое небо. Такой туман может случиться в любое время года; чем он отличается от другого, почему захватывает дух своей безмятежностью? В этом тумане на белой росе или инее — блестящие черные косачи, большие жуки из металла. Полянка, которую они избрали площадкой для своих любовных утех, — волшебный сад. Томаш ползал на четвереньках и наблюдал, но приблизиться ему удалось только раз. В другой раз это был тетерев, чуфыкавший на сосне: прозрачные капельки на кончиках иголок сверкали и переливались, а птица была центром пространства, равным для Томаша планете. И, что самое главное, он взлетел сам, а не испугался неосторожного шага. Шапка-невидимка — вот чего желал Томаш, но порой и без нее умел оставаться невидимым.

Весна вступает в свои права. Цветет черемуха, и вот уже на берегу Иссы начинает кружиться голова от ее горького запаха. Девушки встают на цыпочки и срывают гроздь хрупких, легко осыпающихся цветов. Вечером на лугу за околицей бубен и рожок кружат в монотонном танце суктинис. А вскоре после этого дом в Гинье погружается в облако лиловой сирени.

В этом году четырехзубая острога на длинной палке, которую Томаш брал, когда Пакенас или Акулонис шли ловить нерестящихся щук, так и не дождалась его, а бечева на удочках заразилась ржавчиной от крючков. Это даже вызывало у него угрызения совести. Но было слишком много срочных дел — и у пана Ромуальда, и в Боркунах у старухи Буковской; правда, туда его привлекала не она, не Дионизий и не Виктор, а озеро.

Озеро было маленьким, но к нему не подходило вплотную ни одно поле, не вела ни одна дорога — в том и была его ценность. На берег можно было попасть только по одной тропинке, обходя вокруг топи, да и то шлепая по щиколотку в грязи. Вокруг росли высокие камыши, но Томаш обнаружил заливчик с открытым видом и подолгу неподвижно сидел там на ольховом пне. Идеальная гладь, словно второе небо, по которому водоплавающая птица, проплывая, тащила за собой длинные складки. Озеро было населено обитателями, и именно их появления дожидался Томаш. Утки снижались со свистом и долго летели над самой водой, касаясь ее треугольниками крыльев; наконец взбивали ее, и к нему шла рябь. Уток подстерегали ястребы, клекотавшие в вышине, и однажды Томаш видел, как ястреб напал в воздухе на разноцветного селезня, которому удалось скрыться в камышах. Однако больше всего ему хотелось подсмотреть повадки чомг. Иногда они выныривали так близко, что он мог бы попасть в них камнем: розовый клюв, хохолок и ржавые бакенбарды на белой шее. Что означали их странные церемонии на середине озера? Свои шеи они превращали в змей, с огромной скоростью неслись по воде, а шеи выгибали дугой, низко опуская головы. Их стремительность поражала: откуда она берется, если они не летят и едва касаются воды? Как моторные лодки на иллюстрациях бабки Дильбиновой. И зачем? «Гугные, гог и госягся», то есть: «Дурные, вот и носятся», — но в качестве естествоведческого объяснения этого было явно недостаточно.

Вообще Виктор не слишком годился в товарищи из-за своего заикания и деревянности. Он пахал, боронил, подбрасывал в ясли корм для лошадей и коров и даже доил вместе со служившей у них девушкой — вечно заваленный работой, этаким мальчик на побегушках. Быть может, он научился заикаться из страха перед матерью. Когда старуха Буковская сидела, она широко расставляла колени, упиралась в них кулаками, а между ними помещала свой большой живот. Эта обычная ее поза разительно отличалась от игры на гитаре с закатыванием глаз, когда у нее случалось хорошее настроение. Томаша от ее пения коробило, как если бы вол изображал соловья.

У Буковской было много уток, и одна связанная с ними деталь заставила Томаша задуматься. Утки бродили возле дома и щипали траву или пытались плескаться в ямке, на дне которой вода собиралась только после дождя — в остальное время там не было ничего, кроме влажного ила, покрывавшегося в сушь зигзагообразными трещинами. «Почему они не идут на озеро?» — спросил Томаш. Виктор презрительно скривился, а его ответ, выловленный из гоготания, сводился к следующему: «Ба, если бы они знали!» Утки не знали, что совсем рядом есть рай, где можно нырять в теплой воде, полной водорослей, широких листьев на сонной поверхности и потайных мест в камышах. Глядя на эти плоские чавкающие клювы, на их мины

(эти опухшие щеки), Томаш сочувствовал их смешной ограниченности. Что может быть легче, чем отправиться на озеро? Они добрались бы до него за десять минут. Свою смутную философскую мысль он окончательно выразил лишь несколькими годами позже. Люди несчастливы. Совсем как эти утки.

Красота той весны, когда ему было двенадцать, не уберегла Томаша от некоторых волнений, а может, отчасти даже способствовала им. Ему впервые пришло в голову, что он — не совсем он. Один Томаш — такой, каким он чувствует себя внутри, а другой — наружный, телесный, такой, каким он родился, и тут уж от него ничего не зависит. Барбарка, назвав его «шутасом», не знала, как он восхищался ею; если б знала, не обидела бы так. Она оценивала его снаружи, и эта зависимость от собственного лица («У Томаша лицо — как татарская задница»), от жестов и движений, за которые надо нести ответственность, очень тяготила его. А если он не такой, как другие, а хуже, если он по-другому устроен? Ромуальд, к примеру, жилистый, сухощавый, с острыми коленями — и Томаш щупал свои колени, находя их слишком толстыми. Он вставал боком к зеркалу и рассматривал свой выступающий зад, а если раздавались чьи-нибудь шаги, сразу делал вид, что только проходил мимо зеркала, не останавливаясь перед ним. Волосы у других укладываются на две стороны, на пробор: он брал щетку и пытался расчесать их, но с тем же успехом мог бы зачесывать в противоположную сторону собачью шерсть — ничего из этого не выходило.

Стало быть, человек живет в самом себе как в тюрьме. Другие смеются над нами потому, что не проникают в нашу душу. Человек носит внутри сросшийся с душой образ самого себя, но достаточно одного чужого взгляда, чтобы разорвать это единство и показать: нет, мы не такие, как нам бы хотелось. А потом приходится ходить в самом себе, глядя на себя с мукой. От этого Томаш еще больше тосковал по своему Королевству Пущи, план которого прятал в закрывавшемся на ключ ящике. Поразмыслив, он пришел к выводу, что женщин туда не надо пускать совсем: ни таких, как Хелена, ни таких, как Буковская, ни таких, как Барбарка. Мужчины тоже умеют прищуривать глаза и холодно смотреть, но это всегда как-то связано с женщинами — чаще всего с их присутствием. Если ум мужчины обращен к благородной цели, он не заботится о глупостях вроде того, кто как выглядит.

Листья лип возле дома в Гинье из маленьких почек превратились в большие зеленые ладони и закрыли колокольчик, висевший в ветхом домике высоко на развилине ствола. Сколько Томаш себя помнил, этим колокольчиком никогда не пользовались, к нему не был привязан шнурок, и никто не сумел бы туда залезть. Днем, на майском богослужении⁷⁵ свет, падавший в окна костела, был желтым, у ног голубой Богородицы пахли цветы.

Теплые дожди. После них на дорожках остаются наносы шоколадного ила, через которые пробивают себе путь последние ручейки. Если наступить на такой ил, между пальцами вылезает мягкое месиво. А потом вода наполняет ямку, продавленную пяткой.

XLIV

Окно в комнате бабки Дильбиновой открыто, и, хотя еще светло, в зарослях у пруда поет соловей. Она пробудилась от тяжелого, полного теней сна: ей казалось, что над кроватью кто-то стоит. «Артур!» — позвала она. Но никто не пришел, и она поняла, что лежит в своей постели, что прошли годы, и золотые буквы на могильной плите, должно быть, уже смыли дожди.

Бронча Риттер с двумя светлыми косичками, ловившая бабочку на окне, чтобы ее выпустить, всматривалась в вечерние тени на потолке, а две пряди седых волос лежали на подушке. Стены рижского дома оберегали ее от зла, и время не могло за них проникнуть. Слишком счастливое детство, а дальше — падение в пропасть, хотя, падая, она всё еще не

⁷⁵ В мае Католическая церковь особо чтит Богородицу. Основу майского богослужения составляет литания Пресвятой Деве Марии (т. н. Лоретанская). Как правило, она поется.

верила, что правда лишь в этом, что не раздастся веселый смех, который обратит бесповоротность в шутку. Чем все это было? Ложечка, накладывающая варенье, переливчатый шелк материнского платья, сестра завязывает ей ленточку, звонит входная дверь, и отец ставит на подзеркальник клетчатую сумку, с которой возвращается от пациентов. Почему оттуда ей был уготован именно такой путь? Невозможно, чтобы это произошло с ней, — с этим надо смириться, но осмыслить никак не получается, лишь печальная повесть, которую она сейчас отложит; нет, нельзя отложить. Почему я?

Падение. Они с Артуром возвращаются из костела, и снег тает на ее ресницах. Колышущиеся огоньки свечей в канделябрах и скрип пола в доме, который с этих пор должен стать ее домом. «Нет, нет!» Это было как открытие, что смерть существует. Бумажные елочные цепи, и звуки исполняемой хором колядки, и цветы, и катание обручей в саду — все это трескается и рассыпается, а внизу открывается жестокость, и только она реальна. «Нет, нет!» *Consummatio*⁷⁶ навеки. Артур был добрым. Но она поддалась силе чудовищного устройства мироздания, которое для него было привычным. Запах табака и ремней ввел ее в тот край, где человек становится не более чем вещью, где изнанка милых обычаев оказывается ложью, неумело скрывающей наготу закона. И удивленный вопрос: значит, вот оно как? Никто не восстает против этого, все освящено и признано, но ведь здесь ни одно слово ничего не связывает, ничего не меняет.

Кем был Артур, она не знала — даже когда его усы чертили полосы по ее словно восковому лицу, когда она поправляла фитильки свечей у гроба и невольно думала: «вещь». Заведенная пружина энергии, действовавшая по собственным законам. Свою вспыльчивость он сдерживал, посасывая чубук трубки. О себе рассказывать не любил. На спине у него были шрамы от кнута. «Это за бунт, на каторге», — несколько скупых слов, вот и весь рассказ. Он ездил на северных оленях там, где либо вечная ночь, либо вечный день, — в сибирской тундре. В лесах во время восстания был, как всегда, прямым, подтянутым, в венгерке, ремень с пряжкой. И чем он гордился, так это тем, как падал с коня убитый им офицер русских драгун; он выстрелил в него из двустволки, пульей, как в кабана. Меткая стрельба всегда была его гордостью. Его записки и счета. «Матильде Жидонис 50 рублей». «Т.К. 20 руб.» Она догадывалась, что он изменял, но виду никогда не подавала.

В завещании без видимой причины установлены легаты⁷⁷ в пользу каких-то крестьян из окрестных деревень — его сыновей.

Даты путаются: зимы, весны, мелкие события, болезни, гости. Теодор родился в 1884 году — да, ей тогда не было и девятнадцати. Плакала ли Бронча в тот день, когда пришло известие, что Константин, с которым она была бы счастлива, утонул, купаясь? Кажется, нет. Неподвижный взгляд устремлен в глубину чего-то — так смотрят на водовороты в ручье или на огонь. В сундуке тетрадь с урока рисования, а в ней один его рисунок. Здесь, до сих пор в сундуке.

Соловей кричал, ему отвечал другой. Из окна тянуло влагой. Всё, что было, ослабевает, колеблется, рушится — в таких случаях человек молится, призывая на помощь Бога, ибо сомневается, что жил. Если звезда, вспыхивающая в зеленоватом небе, в самом деле так далеко, в миллионах миль отсюда, если за ней кружат другие звезды и солнца, а все, что рождается, гибнет без следа, то лишь Бог способен спасти прошлое от бессмыслицы — хотя бы прошлое страданий. Лишь бы можно было отличить его от сна.

— Закрой окно, Томашек. Холодно.

Ее голос был скрипучим — петли медленно открывающихся дверей. Томаш уловил этот новый тон. Он уже довольно долго наблюдал за ней. Пальцы сплетены, возле подбородка

⁷⁶ *Consummatio* (лат.) — исполнение, завершение, уничтожение.

⁷⁷ Легат (отлат. *legatus*) — в римском праве специально оговоренный в завещании дар, вычитающийся из общей наследственной массы, предназначенный конкретному лицу; завещательный отказ

полные щеки осунулись и отделены от него вогнутой линией. Шея худая, с двумя складками кожи. Она повернула к нему лицо. Глаза, как всегда, не слишком заняты тем, что перед ней.

Внук Хорошая или дурная кровь? Мужественность и горячность Артура или ее боязнь остроты всего, что причиняет боль? А может, кровь этих — дикарей? В том, что Теодор был не таким, как отец, а мягким и даже слабым, виновата только она. И она же несет вину за Константина. А этот мальчик мог оказаться кем-то наподобие Константина, если унаследовал ее черты.

— Шатыбелко привез письмо, вон оно, смотри.

На углу столика с лекарствами — бумажки, под ними конверт. Наклонный, скачущий почерк, в котором Томаш не разбирает ни единого слова, — отцовский. Почерк, в котором некоторые буквы обведены второй раз, как бы из боязни, что могут показаться неразборчивыми, — материнский.

— Мама пишет, что теперь уже точно приедет, самое позднее — через несколько месяцев.

— Какой дорогой? — спросил он.

— У нее все готово. Ты же знаешь, граница закрыта, так что легально не получится. Она пишет, что нашла городок, где легко перейти.

— А мы поедем через него или через Ригу?

Бабка искала свои четки. Он нагнулся и поднял их с пола.

— Ты поедешь. Мне уже ничего не нужно.

— Бабушка, зачем вы так говорите? — он чувствовал безразличие и из-за этого злился на себя.

Она ничего не ответила, но застонала и попыталась приподняться. Он наклонился и помог ей. Покатые плечи в бумазейной кофте, морщины сзади — на шее, под ухом.

— Эти подушки. Все время сбиваются. Может, сумеешь поправить?

Сочувствие Томаша было недостаточным; ему хотелось болеть сердцем, но к этому пришлось бы себя принуждать, и он сердился, что находил в себе только искусственную жалость. На этот раз бабка оказалась ему менее раздражающей, чем обычно, — он не задумался, почему, — какой-то менее прозрачной, без всех ее слишком простых хитростей.

— Соловьев в этом году много, — сказала она.

— Да, бабушка, много.

Она начала перебирать четки, и он не знал, остаться или уйти.

Столько кошек, — сказала она наконец. — Как эти птицы не боятся петь?

XLV

Так уж и без свидетелей? Буйная трава, примятая подошвой, медленно распрямляется, а ноги уже топчут другие стебли, жесткие травинки шуршат по голенищам сапог, вспугнутый дрозд возвращается на прежнее место, где он искал гусениц. Эти двое сидят в маленьком колодце со стенами из густой листвы, над ними плывут облака. Темная рука обнимает плечи в белой блузке. Муравей пытается выбраться из — под внезапно свалившейся на него тяжести.

На дворе то время года, когда кукушка еще кукует, но уже часто заливается смехом, прежде чем замолкнуть до следующей весны. Теперь никто не считает ее «ку-ку», чтобы узнать, сколько лет осталось прожить. Шепот на дне листвы и слабое позвякивание шпоры.

А вот, тихо ступая, приближается колдун Масюлис. Через плечо у него перекинута холщовая сумка для сбора трав. Он наклоняется, кладет посох и ножиком выковыривает из земли корень для каких-то своих нужд. До него доносится человеческий голос. Несколько шагов, он раздвигает завесу листьев и, невидимый для них, насмешливо щурит глаза. Ибо движения женщины, которая приводит в порядок платье, означают: этого никогда не было. Все это навсегда отделено, и говорить она начнет о вещах ничего не значащих, словно вернулась домой после приключений в царстве ночи. Он отпускает ветки и отходит. Дойдя до края леса, садится на камень и закуривает трубку.

Масюлис не бесстрастен. Насколько можно судить, мудрость свою он черпал из насмешливости и презрения к человеческой природе, в том числе и своей собственной. Не он ли сказал однажды кому — то (поистине трудно понять, зачем он это сделал), что человек подобен овце, над которой Господь Бог сотворил вторую овцу из воздуха, и настоящая овца ни за что не хочет быть собой — ей хочется быть той, другой. Вероятно, эта фраза была ключом к его колдовству. Если так представлять себе человека, то нет ничего более естественного, чем помогать овцам, когда им становится трудно удерживаться в воздухе.

У Масюлиса не было причин сочувствовать паре в зарослях. Любые двое, отделившиеся от других, некоторым образом оскорбляли его — ведь им казалось, что это происходит только с ними. Может, и не оскорбляли, но забавляли, настраивая на брюзгливый лад. Запускают же палкой в собак, когда те непристойно ведут себя на глазах у всех: их свешенные языки и блаженные морды вызывают подозрение, что они не замечают своей комичности, но предаются воспоминаниям об удовольствии и стоят уверенные, что никто не испытывает этого одновременно с ними. Что касается пары в лесу, то Масюлис гневно ворчал себе под нос: «Ишь ты, кобыла!» — а относилось это к скромному движению Хелены Юхневич, поправлявшей платье.

Волей случая спустя несколько дней за советом к Масюлису пришла Барбарка — ведь только он мог дать и совет, и лекарство. Он не спрашивал, как ксендз в исповедальне: «А сколько раз, дитя мое?» — потому что знал: много раз. Правда, слушая грехи своих прихожан, ксендз Монкевич требовал от них лишь одного: твердого намерения исправиться. Намерение это выражается в молитве, чтобы Бог призрел на наше желание изжить в себе желание греха, а затем, когда мы снова войдем в прежнюю колею, — не ставил нам этого в вину. Он видит всё — а, значит, и то, что на самом деле мы ангелы и подчиняемся телесным потребностям вопреки нашей воле, никогда не соглашаясь на грех до конца и сожалея, что мы устроены так, а не иначе. Отходя от исповедальни, Барбарка, как и другие, знала, что сбросила одну порцию и начинает собирать новую.

От несчастья, постигшего Барбарку, есть проверенные бабские средства. Достаточно добавить в еду немного месячной крови, и съевший ее мужчина будет привязан к тебе незримыми нитями. То ли это не помогло, то ли ее подмывало кому-нибудь пожаловаться... Колдун принял ее хорошо и долго говорил, а слезы капали ей на пальцы — отчасти от стыда. Если бы Ромуальд узнал, что она ходила за этим к Масюлису, он побил бы ее и был бы прав. Ибо Масюлис настраивал ее против Ромуальда. К его давней злобе прибавилось подглядывание за той парочкой. Он не дал ей любим-травы,⁷⁸ чей отвар надо понемногу подливать в пищу, а вместо этого советовал перестать забивать себе голову старым хрычом, вероломным шляхтичем, которого тянет к шляхтянкам.

Домой она возвращалась с опухшими глазами. Но на лесной тропинке остановилась и стала задумчиво стирать босой ногой следы конских копыт. «Да ну его! Что он понимает?» Разве он знает Ромуальда? Нет — она знает. Есть тайны, которых никому нельзя открыть. Старый? Но кто еще может так, как он?.. Она согнула большой палец ноги, зачерпнув песку и хвои. Нет, надо по-другому.

Барбарке двадцать два года. Юбка шуршит, трется о бедра, ноги ступают все уверенней. Подбородок поднят, губы выпячены в решительной улыбке. Там, где открывается вид на постройки, она останавливается и окидывает взглядом крыши, колодезный журавль, сад, словно видит все это впервые.

Наверняка по-другому. Как — еще посмотрим. Пока только общий план действий, но и этого достаточно. Выплакаться, как она у Масюлиса, полезно. Вдруг что-то в нас переворачивается, и во внезапном озарении мы ясно видим, что не должны покоряться судьбе. Убраться из Боркунов? Ну уж нет.

⁷⁸ Любим-трава — народное название любистка лекарственного многолетнего травянистого растения из семейства зонтичных

Поход к колдуну не остался без последствий, однако они были противоположны его намерениям. Он слишком поддался страстям, которые бывают хороши, пока побуждают к мышлению, но не доводят до добра, если управляют человеком вместо него самого. Масюлис явно поступил вопреки своему призванию.

Ромуальд стучал молотком перед конюшней — чинил плуг. В кухне Барбарка зачерпнула воды из ведра, умыла лицо и посмотрелась в зеркальце. Он не должен ничего заметить. Если уж хитростью, то неожиданно. И она облизала губы, чтобы они не казались потрескавшимися.

XLVI

Люк Юхневич всхлипывал, сидя в углу дивана. В уныние он впадал так же легко, как в восторг. «Но Лючек, — пыталась утешить его бабушка Мися, — пока ничего страшного не произошло. Может, еще и не будут парцеллировать». «Будут, — стонал он. — Мярзавцы, воры, всех нас пустят по миру с сумой. Куда мы, бедные, денемся?» — и вытирал глаза тылом ладони.

Имение, которое издавна арендовали Юхневичи, действительно должны были разделить согласно какому-то положению земельной реформы, и возражать Люку было трудно. Тетка Хелена сидела возле него с кротким, отрешенным видом. Напротив них на стуле покашливал дедушка.

— Ну так вы, натурально, переедете сюда. Так оно даже лучше — поможете нам в хозяйстве. Да и в связи с реформой лучше, чтобы Хелена жила здесь.

— Так ведь Юзеф донос написал, — вздохнула Хелена.

— Вот паршивец! Ну, что я тебе говорила? Твои литовцы всегда такие, а ты — бабушка Мися обернулась к деду, передразнивая его, — «добрые, милые, нет, ничего они плохого не сделают». Ох, я бы их плетью, плетью, уж я бы их научила.

Дедушка поправлял запонки в манжетах — он делал так, когда чувствовал себя неуверенно.

— Урядник обещал все устроить. Что ж, придется немного подмазать — тогда и Юзеф не слишком повредит.

— Как по мне, так самое разумное — поселиться у лесника. Чтобы все видели: у папы свое хозяйство, а у меня — свое. Свое оно и есть своё-ё-ё, — тянула Хелена.

Томаш отрывал глаза от книги, с минуту слушал, но их голоса тут же опять сливались в бессодержательный шум. Он нагрел себе ямку в холодной коже дивана под окном. За окном столовой воробьи чирикали в диком винограде, чьи плети уже дотягивались до рамы. Листья агавы на газоне были золотистыми от послеполуденного солнца.

— Так он же, бедняжка, пропадет! — язвила бабушка Мися. — Фуй, такой бык, а сидит сложа руки, знай только самогонку гонит да в Погиры продает, пьяница негодный. А разжирел-то как — смотреть противно. Выгнать его вон, и дело с концом.

— Но ведь дом-то он, хм, сам построил, — защищался дедушка. — И за лесом следит. Как же так можно с человеком?

— С человеком! То-то и оно, что не с человеком — это же ненаглядный Бальтазарек, касатик, любимчик, дороже собственной дочери.

— Да упаси меня Бог кого-нибудь обидеть, — и Хелена с негодованием воздела руки. — Я об этом ни секунды и не думала. Мы бы дали ему жилье здесь, в усадьбе, он бы нам помогал. Шатыбелко уже стар, или можно хотя бы один дом на куметыне для него освободить.

Тут Томаш наострил уши, с любопытством ожидая, как дедушка справится с таким оборотом дела.

— Да, можно бы, — согласился дедушка. — Это даже хороший план. Только, видишь ли, Хельча, хм, такие уж нынче времена, что, хм, сама понимаешь, если настроить против себя или рассердить... Ты ведь, кажется, сама считаешь, что сейчас главное... чтобы эти разделы утвердили. И потому, хм, не станешь наживать себе врагов. Он знает лес и мог бы... Довольно уже с Юзефом хлопот.

Мысль об опасности подействовала на Хелену и бабу, и они ничего не ответили. Люк схватился за голову.

— До каких страшных времен мы дожили! Каждого хама остерегайся, подлизывайся к нему. Ох, тяжело мне на душе.

— Бедный Люк Может, ему валерьяны? — предложила бабка, на что Хелена не обратила ни малейшего внимания.

Для Томаша Люк был загадочной личностью. Ни один взрослый не вел себя так, как он. Достаточно было взглянуть на него, чтобы прыснуть со смеху, но никто не смеялся, отчего возникало недоверие к самому себе. Ведь у него длинные брюки, он муж Хелены, знает, что, когда и где сеять и убирать. Томаш подозревал, что за этим словно гуттаперчевым лицом, которое то расплывалось в улыбке от избытка симпатии, то сморщивалось в полном отчаянии, скрывался другой, истинный Люк — не такой глупый, как с виду. Однако ему никак не удавалось обнаружить этого умного Люка. Ведь невозможно же, чтобы вся его суть была в этом. Поэтому Томаш приписывал ему особую хитрость: что он только притворяется. И одевался Люк не как другие, словно для тот, чтобы легче было разыгрывать комедию: он носил узкие брючки в коричневую клетку со штрипками, цеплявшимися за подошвы башмаков, и шляпу вроде тех довоенных, что лежали в большом сундуке, присыпанные нафталином.

Тетка Хелена относилась к нему тепло, но, как заметил Томаш, совершенно с ним не считалась. Собственного мнения Люк никогда не высказывал.

— Чтобы можно было там, у Бальтазара, хоть одну комнату — нам будет довольно. Только одну комнатку. Ради чиновников — пусть приезжают, смотрят, — говорила теперь Хелена.

Бабка возмущенно фыркнула:

— Хельча, как же это: в лесу, словно на иждивении у этого сермяжника? Фе!

— Ну, не совсем, а так, раз в несколько дней. Всяко будет лучше, если разойдется слух, будто у Юхневичей свое хозяйство. Вы, папа, можете хотя бы этого потребовать.

— Хм, я поговорю с ним, разумеется, поговорю. Да, поговорю, — уклончиво отвечал дедушка.

Томаш вернулся к книге, но тут же был вновь оторван от нее руганью по адресу Юзефа. Что он шовинист и фанатик, что убил бы, если б мог, что кусает, как собака, исподтишка. Получал дрова только за то, что учил мальчика арифметике, — сколько добра мы ему сделали. Один лишь дедушка не произнес ни слова и после долгой паузы робко пробормотал:

— Со своей точки зрения, может, он отчасти и прав.

Бабушка Мися сложила руки и подняла глаза к потолку, призывая небо в свидетели.

— Боже!

XLVII

Назначенный день приближался. В Боркунах было решено, что ехать в пойму Иссы возле деревни Янишки не стоит: во-первых, она слишком заросла аиром, и лодка еле протиснется, а во-вторых, на открытие охотничьего сезона туда съезжается слишком много окрестных мужиков, которые палят в свое удовольствие. Выбор пал на озеро Алунта — хоть это и далеко, зато «увидишь, Томаш, что там уток — целые тучи!» Решено было также, что Томаш возьмет берданку Виктора, а тот будет стрелять из пистонки. Для стрельбы из нее нужна сумка с принадлежностями: в одном отделении порох, в другом — дробь, в третьем — пистоны, а еще пакля. Порох надо отмерять металлической меркой и сыпать прямо в ствол, потом длинным деревянным шомполом забивать клочок пакли, затем дробь и снова небольшая затычка из пакли. Поднятый курок открывал металлический стержень для пистона. Томаш умел плавно спускать курки двустволки — одним пальцем нажимаешь на спуск, а другим придерживаешь курок, чтобы опускался постепенно. Другое дело пистонка, где ты видишь это донышко маленькой кастрюльки и потому опасаясь: а вдруг в последний момент курок вырвется и ударит?

Обдумывали, каких взять собак, и Каро решено было оставить дома — легавые охоту на

уток только портят, а потом плохо делают стойку. Чтобы поднять⁷⁹ уток, достаточно Загряя — систематичного и серьезного. Дунаю могло взбрести в голову удрать в лес. Лютня — как-то неудобно, это занятие для нее слишком легкое, а, кроме того, она ценная.

Итак, телега с драбинами,⁸⁰ устланная сеном, а в ней Ромуальд, Томаш, Дионизий, Виктор и Заграй. Щелкает кнут, за лошадыми вьется пыль, Томаш лежит, а камни, деревья и деревенские изгороди убегают назад. Ромуальд насвистывает, Томаш помогает ему — дорога, весело; не проходит и часа, как они уже вытаскивают из мешка провиант, каждый получает кусок колбасы и закусывает, подскакивая на выбоинах. К вечеру должны успеть, там ночлег, а на рассвете — на озеро. Найдутся ли для них челноки? — беспокоится Томаш. Ясное дело, в той деревне у каждого есть хотя бы один.

Воду видно издалека — иссиня-красную от закатной зари. Берег, по которому они подъезжали, был высоким, и можно было разглядеть контуры озера, овальное, с одним острым концом. С этой стороны — поля на холмах, с противоположной, начиная с середины овала — черноватая масса, из которой кое-где выбивались на фоне неба перья сосен. Там — большие болота, и там они будут охотиться. Здесь, у дороги, круглый, словно искусственно насыпанный холм, на нем развалины замка и спуск на зады деревни Алунта.

В избе они ели простоквашу из огромной миски, а потом Томаш в сумерках взбирался на склон замкового холма. Вставала полная луна. Тишина нагретой за день травы, в которой стрекочут сверчки. Совсем рядом, почти под ногами, блестят чешуйки мелких волн. Томаш прикоснулся к камням, оставшимся от стен или фундамента. Отсюда она бежала, чтобы броситься в воду и утонуть. Ромуальд повторил ему то, что рассказывали о замке с незапамятных времен: когда его штурмовали тевтонцы, языческая жрица предпочла покончить с собой, чем сдаться. Больше никто ничего не знал. Томаш представлял себе, как она поднимала руки, кричала, а за ней развевался белый плащ. Но ведь все могло быть и по-другому. Она могла спускаться медленно, препоясанная полотняным поясом, в зеленом венке на голове, с песнями к своему богу, и, дойдя до берега, постепенно входить в воду. А где ее душа? Осуждена навеки за то, что противилась крещению? Тевтонцы были врагами. Они жгли и убивали, но все же верили в Иисуса, а преподавшее им и крещение защищало от ада. Может, ее душа блуждает где-то здесь — ни в аду, ни в раю? И Томаш подскочил, потому что позади него что-то зашелестело. Наверное, это была мышь, однако он, хоть и отправился на руины с некоторой надеждой на острые ощущения, быстро сбежал обратно — к крышам и голосам людей, коров и кур.

На сеновале лежавший возле них Заграй вздыхал сквозь сон. Виктор продавил в сене ямку, в которую Томаш скатывался, поскольку был легче. В темноте кто-то чужой взбирался по лестнице вверх, перелезал через них, Ромуальд спрашивал: «Кто?» — в ответ слышалось: «Свой», — пока, наконец, все не стихло, и Томаш, глянув сквозь щель в крыше на звезду, не уснул.

Просьпаясь на сеновале, всегда замечаешь, что лежишь не там, где думал. Томаш с краю — еще немного, и он бы упал. Виктор храпел и свистел носом не возле его головы, а в ногах. В сером свете виднелись складки никем не занятого скомканного одеяла. Ромуальд и Дионизий зарылись глубоко в сено, на них Заграй. Томаш нервно зевал, размышляя, будить ли их, но в это время со скрипом отворились ворота, свет и прохлада, а снизу кто-то кричал: «Пан Буковский! Вставать пора!»

На завалинке перед избой приготовления: Ромуальд и Дионизий опоясались патронташами, Томаш набил карманы патронами. Они выпили лишь немного молока, чтобы не будить женщин, — воскресенье. Хозяин и его сын, которые шли на озеро вместе с ними, закатали штаны до середины икр и сняли с крюков под навесом крыши шесты и длинные

⁷⁹ Поднять (охотн.) — вспугнуть.

⁸⁰ Драбины (от польск drabina — лестница) — боковые решетки в телеге для перевозки снопов, соломы.

весла.

Озеро было покрыто пластами тумана. С крутой тропинки они видели наполовину вытянутые на гальку челноки — возле них клубился пар, и проглядывала гладь без единой морщинки; казалось, их ребристые внутренности в гуще тумана всегда будут неподвижны. Внизу, у самых челноков, тут и там виднелись кусочки воды, сиявшие отблесками неба.

XLVIII

Обязанности и удовольствия делятся не поровну. Одетый в роскошные перья селезень предпочитает одиночество скучному высиживанию яиц и заботе о потомстве. Утка лучшие месяцы года — май, июнь и июль — либо лежит, распластавшись на гнезде, либо, потом, всюду таскает за собой вереницу — кричающих существ, а быстрота ее движений сдерживается последним звеном цепочки, с трудом перебирающим лапками. Первый серьезный навык, которому обучаются птенцы, — прятаться по сигналу тревоги под распростертыми на воде листьями и высовывать из-под них лишь кончики клювов. Затем они учатся летать, однако секрет заключается не только в махании крыльями; главное — оторваться от воды. У них это долго не получается, и они взбивают тучи брызг, несясь как бы по воздуху, но еще не совсем. Начало охотничьего сезона застигает большинство из них именно на этом этапе.

Челноки пахли смолой. На носу одного из них сидел на корточках Томаш, за ним Ромуальд с собакой, а дальше перевозчик мерно перекладывал весло из одной руки в другую. Они скользили к девственным местам, маленькие волны плескались о борт; второй челнок с головами людей выделялся на фоне тумана и лучей, словно вися в пустоте. Направлялись прямо к противоположному берегу. Уже можно было различить верхушки камышей. Перевозчик встал, положил весло, взял шест и теперь отталкивался от дна, наклоняясь после каждого толчка.

Плавучий город, скопление темных точек в тумане над водой — стайка уток Лодка разогналась, преградила им путь к бегству, они развернулись вереницей за матерью, но тут же беспорядочно рассыпались, обмениваясь звуками, которые, видимо, означали: «Что делать?» Ромуальд со смехом кричал: «Осторожно! Смотри, искупаешься». Томаш закреплялся на носу, готовясь к выстрелу. Утки взвились, когда они были совсем рядом: вихрь хлопающих крыльев и брызг; «бах», — выпалил Томаш, «бах, бах», — Ромуальд. Поверхность воды закипела от дробы, остались круги, три неподвижных утки и четвертая, кружившаяся на одном месте.

Тому, кто никогда не вытаскивал из воды собственноручно убитую утку, трудно это объяснить. Впрочем, нужно различать: добираемся мы до нее вплавь, оставив одежду на берегу, — и тогда она растет на уровне глаз, покачиваясь на поднятых нами волнах; или же маневрируем так, чтобы она оказалась у самого борта, и уже тогда протягиваем руку. Однако и в том, и в другом случае все происходит между мгновением, когда мы видим ее вблизи, и прикосновением. Сначала она — предмет в воде, к которому нас влечет любопытство. После прикосновения она превращается в мертвую утку — ничего более. Но тот миг, когда рядом, на расстоянии вытянутой руки колышется выпуклость ее крапчатого брюшка, манит предвкушением сюрприза. Ведь мы не знаем, кого убили. Может быть, утку-философа, утку-первооткрывателя — и мы чуть-чуть ожидаем (не совсем в это веря), что найдем при ней ее дневник. Впрочем, в случае водоплавающих птиц наше ожидание иногда, хоть и редко, в конце концов вознаграждается: на лапке кольцо, а на нем цифры и знаки какой-нибудь научной станции из далекой страны.

Они выудили из воды четырех крякв и начали осматривать заливчики, плывя вдоль прибрежных зарослей. Томаш увидел утку под спутанными камышами, выстрелил, и она, взмахнув крыльями, упала. «Вот это углядел!» — похвалил Ромуальд, но тут вода заклокотала, в небо взметнулся косяк уже хорошо летающих, и Ромуальд выпустил два патрона залпом. Рядом послышалась канонада Дионизия и Виктора.

Граница между сушей и водой была здесь зыбкой — не берег, а пласт прогибающейся

травы. Спустили Загряя. Проваливаясь, не то бегом, не то вплавь, он усердно шлепал по этой жиже и лаял. Молодые утки кидались во все стороны, точно крысы, — еле успевали стрелять. Шуршал примятый камыш, перевозчик проталкивал их в мелкие заливы, полные запахов корней. В одном из таких заливов случилось вот что. Томаш, озиравшийся по сторонам в поисках новой цели, заметил (а для этого нужен зоркий глаз), что под слегка изогнувшимся листом скрывается голова птицы. Ее выдало то, что она не сидела неподвижно, а шевельнулась. Он уже вскинул ствол, но передумал и пощадил ее. Ведь она так умирала от страха и при этом была так уверена, что хорошо спряталась! Не убив ее, он обладал над ней большей властью, чем если бы убил. Когда они выбирались из зарослей на чистую воду, хватаясь за камыши, чтобы помочь гребцу, Томаш радовался, что она сидит там и никогда не узнает о подарке от человека.

И о том, что он смотрел на нее и раздумывал; мог убить, но предпочел сделать иначе. С тех пор они навсегда были связаны друг с другом.

Томаш не стрелял в уток, пролетавших над головой; один раз попробовал, но бесславно промазал.

Он любовался Ромуальдом, которому не мешало даже раскачивание лодки. Особенно его восхищало, как тот управлялся с чирками. Они летят вверх резко, аж воздух свистит, и при этом мельче крикв, — но Ромуальд ни разу не промахнулся, и под лавкой лежали уже три.

— Ну, как ваши дела? — спросил Ромуальд братьев. Виктор что-то лопотал, Дионизий смеялся над ним:

— Так что ж, пока он свое ружьище зарядит, утки ему хоть на голову садиться могут, — и это замечание на мгновение нарушило спокойствие Томаша — ведь он лишил Виктора его берданки.

Легкий ветерок морщил озеро, сверкавшее теперь дневной лазурью. Колокол в Алунте звонил к мессе. Кружа над косо торчавшими из воды жердями, трещали крачки. Под облаком, ближе к лесу тяжело взмахивал крыльями сарыч.

На обратном пути перевозчики советовали заехать на реку, вытекавшую из озера за замком, так что деревушка у острого конца озера оказывалась как бы зажатой между рекой и холмом с древней крепостью. Там, где начинался туннель камышей, они вспугнули несколько стремительно взлетевших птиц. Ромуальд подстрелил одну — чирка-свистунка, самый мелкий вид утки.

Гладкая вода, защищенная от вихрей и ненастья, — как в тех заливах в сердце Африки, где Томаш возводил свои недоступные человеческому глазу поселения. Черные сваи с бородами колыхаемых течением водорослей — когда-то давно здесь был мост. Дальше — избы прямо за полоской аира, вмятины и просветы там, где вытаскивали на берег челноки. В садах под яблонями сушились на кольях сети, лежали вентери.⁸¹ Белые утки и гуси плескались у мостков для стирки белья. Деревня, увиденная с такой тихой реки, разрастается до размеров страны или государства — лишь тогда человек может разглядеть множество деталей, которые со стороны улицы не замечает или считает совершенно обычными.

Теперь впереди плыли Виктор и Дионизий. Они вспугнули крикв — правда, стрелять побоялись, не зная, не домашние ли это, но те взметнулись так неумело, как могут только подлетки, и они убили одну, выпалив из трех стволов. Это был конец охоты. Развернулись и подсчитали добычу. У Ромуальда и Томаша было двадцать три утки, семь из которых приходились на долю Томаша. У братьев — пятнадцать: не только криквы, но и нырок, и один крохаль — серый, с рыжей головой и крючковатым кончиком клюва.

Глядя на замковую гору, они щурились глаза от солнца. Развалины приближались, подрагивая в сверкающей дымке. Жившая там когда-то языческая жрица, не шедшая из головы ночью, навсегда терялась среди страхов и сказок Томаш оборачивался и придерживал за

⁸¹ Вентерь (от лит. *venteris*) — рыболовная снасть-ловушка, представляющая цилиндрическую сетку, натянутую на обручи.

ошейник Загряя, который вертелся и ставил лапы на борт. Приклад ружья упирался в лавку, ствол покоился на груди. Теперь он был настоящим охотником. Но там, на другом берегу, осталась его утка. Что она делает теперь? Чистит клювом перья, с кряканьем хлопает крыльями и благодарит за радость после миновавшей опасности. Кого благодарит? Постановил ли Бог оставить ее в живых? Если да, значит, это Он подсказал Томашу не стрелять. Но почему, в таком случае, ему казалось, что все зависит только от его воли?

XLIX

По небу, над землей, где все живое умирает, ходит Сауле-Солнце⁸² в своем сверкающем платье. Народы, видящие в нем мужские черты, могут вызывать лишь недоумение. Это широкое лицо — лицо матери мира. Время ее — не наше время, а из дел ее мы знаем только те, что способен постичь ум, охваченный страхом одиночества. Неизменная в своем появлении и исчезновении — но ведь у Солнца тоже есть своя история. Как поется в старой песне, давным — давно, в первую весну (а до нее, наверное, не было ничего, кроме хаоса) вышло оно замуж за Месяца. Когда рано утром Солнце встало, супруга уже не было. Одинокó бродил он по небу, пока не влюбился в Денницу. Увидев это, разгневался бог-громовержец Перкунас и рассек Месяц мечом надвое.

Возможно, наказание было справедливым, ибо Денница — родная дочь Солнца. Гнев Перкунаса, обратившийся затем против нее, можно, пожалуй, объяснить памятью о ее не слишком решительном отпоре ухаживаниям отчима. Песни, сложенные людьми, сохранившими память о тех далеких событиях, умалчивают о причинах. Можно лишь с уверенностью сказать, что когда Денница играла свадьбу, Перкунас подъехал к воротам и разбил в щепки зеленый дуб. Кровь хлынула из дуба и забрызгала ее платье и девичий венок. Плакала дочь Солнца и спрашивала у матери: «Где мне, родная мама, выстирать платье, где смыть эту кровь?» — «Иди, милая дочка, иди к озеру, что собирает воды девяти рек». — «Где мне, мама, высушить платье?» — спрашивала Денница. «В саду, моя дочка, где цветут девять роз». И последний встревоженный вопрос: «Когда ж в этом платье я пойду под венец?» — «В тот день, моя дочка, когда засветят девять солнц».

Мы так мало знаем о нравах и заботах ходящих над нами небожителей. День свадьбы все еще не настал, хотя, возможно, каждая прошедшая тысяча лет была не более чем мгновением. Кое-какие вести принесла нам девушка, потерявшая овцу. Было это в ту эпоху, когда смертные легче находили общий язык с небесными божествами. «Пошла я к Деннице, — поет девушка, — а она мне в ответ: „Я должна с утра Солнцу огонь развести“ (отсюда вывод, что незамужняя Денница по-прежнему живет в доме матери). Пошла я к Вечернице, — рассказывает девушка о своих напрасных поисках, — а та говорит: „Я должна вечером Солнцу постель постелить“». И Месяц отказался помочь: «Я мечом рассечен. Видишь, у меня печальный лик». (Лишь Солнце подсказало, что овечка забрела куда-то далеко, в полярные страны — может, даже на север Финляндии.)

А ксендз Монкевич — не планета ли он? Наверное, да — для бабочки, которая вьется над клумбами и с настурцией и резедой. Лысина блестит, и кто знает, какие зрительные наслаждения доставляет бабочке ее верхушка, преломленная во множестве бабочкиных глаз. Всего несколько дней жизни — но нельзя сказать точно, не вознаграждается ли она за эту мимолетность недоступным нам экстазом форм и цветов.

Ксендз Монкевич — поверхность, а под ней работа планетарных машин, кровообращение, сокращение миллиарда нервов. Есть, конечно, люди, для которых он значит не больше, чем букашка, которые смеялись бы при виде его кальсон и того, что когда-то напоминало халат (дома он бережет сутану). Он раскачивается из стороны в сторону, расхаживая с брeвиарием, — а мог бы сейчас махать косо́й, если б его мать не решила уберечь

⁸² От лит. Saule.

хоть одного сына от крестьянской доли. Благодаря обстоятельствам, более сильным, чем его желание или нежелание, он стал верным служителем Церкви. Но ведь это он ежедневно исполняет обязанности, состоящие в том, чтобы призывать каждого человека ценить себя больше, чем гору, планету, вселенную. Зачатые от хотения плоти младенцы слюнявятся и пищат, когда он дает им щепотку соли в знак того, что их ждет полная горестей жизнь. Детей Природы он делает жилищами Святого Духа, запечатлевая в них Слово водой крещения. С этого мгновения они вырваны из-под власти неизменного порядка вещей и имеют право узреть противоречие между собой и Природой. А потом, когда дом тела распадается, а движения сердца замирают, ксендз Монкевич или кто-нибудь другой, наделенный той же властью, очищает их от грехов, чертя елеем кресты на членах, которые вскоре обратятся в прах — контракт материи и дыхания расторгается.

Но ведь не все же время он мысленно возвращается к этим обязанностям? Отнюдь. Сейчас, например, он согнал бабочку с травинки, чтобы посмотреть, как она полетит, наблюдает за вьющейся над чашечкой белой лилии пчелой и, придерживая пальцем страницу, говорит: «Мерзавцы». Это касается последнего крещения. Слишком мало заплатили. Отговаривались, что у них ничего нет, но могли бы дать больше. Его берет злость, что он размяк и спустил цену.

Томаш снял шапку и нажал ручку калитки. Он стоял перед ксендзом, сознавая серьезность своей миссии. Произносимые им слова звучали глубоко и трагично — как полагается.

— Отче, бабка Дильбинова совсем плоха. Приезжал доктор и сказал, что ей недолго осталось.

— А! — настоятель дал понять, что принял новость к сведению. — Так что же, я сейчас, сейчас.

И уже семенил к ступенькам.

— Я на бричке. Там внизу лошадь привязана.

— Ну, хорошо. Ты подожди меня здесь.

Прислать бричку требовал хороший тон, хотя до усадьбы было всего два шага. Выражение лица бабушки Миси, говорившей шепотом, ее совещания с дедушкой и Хеленой, резкая перемена в их поведении перед лицом Этого позволили Томашу с гордостью участвовать в самом взрослом деле, какое только может быть. Поскольку все были заняты — шла уборка ржи, — ему поручили привезти священника. Запрягать лошадей он вроде как умел, но у него всегда путались ремни, поэтому дедушка ему помог. К плебании нет дороги через Шведские валы — надо спускаться вниз, мимо креста. Вожжи тогда приходится натягивать изо всех сил, упираясь ногами в передок брички, и ехать помаленьку, тем более что внизу поворот. Лишь за крестом можно ослабить вожжи: отчасти потому, что сдержать лошадь уже невозможно, отчасти — потому что правила это разрешают.

Вид бабки Дильбиновой, неподвижно лежащей в полумраке и какой-то уменьшившейся, заставлял его ходить на цыпочках. Что до чувств, то роль в этой драме — причем одна из главных ролей, внука и домочадца, уже без всяких «что ты там понимаешь» — поглощала его полностью. Он представлял себе звон колокольчика, лица, выглядывающие из — за заборов, набожно склоненные головы и себя на козлах.

А теперь все происходило так, как в его мечтах. Настоятель позвал маленького мальчика из ближайшей избы, тот вскарабкался на переднюю скамеечку рядом с Томашем и позванивал колокольчиком. Внимательно правя лошадьми (такая ответственность!), Томаш украдкой посматривал по сторонам — видят ли? Увы, дома были почти пустыми — все в поле; лишь кое-где старушка или дед выходили во двор, крестились и, опершись о ворота, провожали взглядом самого важного для них — через месяц или год — путника.

Послеполуденное солнце припекало, на лысине настоятеля выступили капельки пота. Воистину ни солнце, ни месяц, ни денница не могут сравниться с ксендзом Монкевичем. Он — Человек, а если кому — нибудь этого мало, тогда чашу весов перевесит то, что он держит

в руках,⁸³ — звезды и планеты покажутся не тяжелее, чем дорожная пыль. Его посконная рубаха с мокрыми пятнами подмышками воняет животным смрадом, но благодаря ему исполнится обетование: «Сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в унижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело животное, восстает тело духовное».

L

— Письмо!

Еле слышный скрип из темноты, в которой светится лишь щель между ставнями.

— Нет, бабушка, не было письма.

Он лжет — письмо лежит на столике в комнате бабки Сурконтовой. С некоторых пор введена цензура — как оказалось, не без причин. Томаш прислушивался к разговорам, вызванным последним письмом с немецкой маркой, которое пришло не через Латвию, а через Кенигсберг. Боже упаси его показывать! В нем в самых мягких выражениях сообщалось то, о чем мать Томаша уже успела написать своим родителям. Константин растратил армейские деньги, какое-то время сидел в тюрьме, из армии его выгнали, и теперь он пытался получить место в полиции. Видно, Теодор не слишком серьезно относился к известиям о болезни бабки Дильбиновой, если не стал скрывать от нее беду, постигшую брата.

Значит, это будет утаено навсегда. Это случилось, но в то же время как будто и не случилось, ибо стало достоянием людей равнодушных, которые разве что пожмут плечами, узнав еще об одном заурядном преступлении. Как если бы пуля, способная пробить сердце, застряла в дереве.

— Умираю. Священника.

За время болезни она столько раз повторяла, что умирает, преувеличивая любое недомогание, — принцесса из сказки, жалующаяся, что ей мешает горошина под семью перинами. Быть может, знакомый печальный вздох приносил ей облегчение, потому что был привычен, включен в нормальный ход событий. Пока мы убеждаем себя, что управляем фактом собственной кончины, говоря о ней, нам кажется, что она никогда не наступит.

— Дорогая моя, вы еще всех нас переживете, — поспешила заверить бабушка Мися. — Но, что правда, то правда: ксендз не повредит. Скольких людей это поставило на ноги. Давно надо было его позвать — тогда вы бы уже, наверное, гуляли по саду.

Успокоить. Больные знают, но еще не верят, и благодарны за звуки речи, за тон, исключаяющий возможность перехода черты, за которой речи уже нет. Томаша неприятно поразила слащавость голоса бабушки Миси. Можно стараться, но зачем же так!

В тот же день настоятель поднимался по ступенькам между зарослями дикого винограда, оплетавшего колонны крыльца. Нельзя забывать, что сорок или пятьдесят лет, которые прошли со времени его детства, не изменили его настолько, чтобы он перестал быть деревенским пареньком, пасшим коров. Пятки в ботинках были когда-то синими и красными от осеннего инея. Он опирался на кнутовище и с любопытством, с каким разглядывают редких животных, наблюдал за панами, ехавшими по дороге на конях или в блестящих экипажах с кучерами в ливреях. И теперь он заходил в эти комнаты с низкими деревянными потолками не только как представитель Христа, но и тащил за руку прежнего себя, всегда с робостью переступавшего порог усадьбы. Почтение, которое ему оказывали, не избавляло от страха перед унижением. Поэтому он прятался за комжей и столой — они поддерживали его и придавали его движениям величественности, если только круглая фигурка на коротких ножках может чувствовать себя величественной.

Потом дверь за ксендзом Монкевичем закрылась, и бабка Дильбинова осталась с ним один на один. Несмотря на фальшивые утешения бабушки Миси, трудно сохранять иллюзии, когда с высоты, где двигаются пятна лиц, вдруг доносится шелест, мерцает белое и

⁸³ Имеются в виду Святые Дары.

поблескивает фиолетовое.⁸⁴ То, что предвещало конец стольким другим, но при этом находилось вовне, охватывает и нас, хотя, наверное, нелегко, почти невозможно признать, что, оставаясь собой, ты уже лишен собственной, одному тебе принадлежащей сферы и должен подчиниться неизбежному: цифре, с которой соскальзывает воображение. «Можешь ли ты исповедаться, дочь моя?» «Дочь моя», — говорил Бронче Риттер из ганзейского города Риги маленький литовский пастух.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Не мучайся, дочь моя, сокрушайся о своих грехах — Господу Богу этого довольно.

Но Бронча Риттер шла сквозь туман, с усилием разрывая его руками, стремясь к какой-то недостижимой светлой точке.

— Грех, — прошептала она.

— Какой грех? — он склонил к ней ухо.

— Я сомневалась — что Бог есть-и-что-Он-меня — слышит.

Ее пальцы сомкнулись на его рукаве.

— Грех.

— Я слушаю.

— Мужа не любила-да-простится-мне.

Идти сквозь туман очень трудно. Еще, будто шелест листьев:

— Мой сын... я скажу...

Он поднял руку: «Ego te absolvo»,⁸⁵ — говорил он громко. Белый кружок облатки приближался в слабом свете приоткрытых ставней.

Мяч ударяется о гравий дорожки, отскакивает, встречает ожидающую его ладонь, трава блестит от утренней росы, поют птицы, много поколений птиц сменилось с того времени, бабка Моль, похороненная в фамильном склепе в Имбродах, разматывает шерсть, зовет: «Бронча, расставь руки, вот так», — и медленно обматывает мягкие нитки вокруг ее запястий. От бабки она получила в подарок коралловый крестик с маленьким окошечком посередине. Приложив к нему глаз, можно заглянуть в горницу, где происходит Тайная Вечеря. Иисус преломляет хлеб, и нематериальные лучи расходятся от его чела на фоне потрескавшейся стены. Великое уравнивается с малым, этот взгляд внутрь коралла со светлыми прожилками, женский голос на усталом рассвете после родов: «Сын!» — скрипят санные полозья, боязнь пространства, движения Христа не были, а есть, сжатие времени, ни часы, ни сыплющийся песок ничего не отмеряют. Губы не в силах разомкнуться, оттуда, извне приходит помощь, облатка прилипает к языку, коралл открывается и, уменьшившись, она проходит туда, к столу, а Он дает ей половину преломленного хлеба. Далеко-далеко, в другой стране лежат ее ноги, которых касается ксендз Монкевич, — большой грубый палец сына и внука пахарей и жнецов увлажняет кожу елеем.

Всякий раз, оказавшись у постели умирающего, настоятель догадывался, что он не один, что Невидимые рядом на корточках сидят на полу или мечутся в воздухе: неистовство, звон мечей. Привлеченные терзаниями, они нежатся в испарениях отчаяния, которые поднимаются там, где исчезает будущее. Их усилия и нашептывания направлены на то, чтобы человек занялся самим собой и в результате попался в собственные сети; в то же время, рисуя перед ним картины счастья, они показывают ему Необходимость, которую он не может преодолеть. Неудивительно, что они ждут не дождутся, когда несчастный проклянет иллюзию прожитой жизни и призрачное обещание свободы.

Крестным знаменем Монкевич отгонял Невидимых, которые велют требовать доказательств, все новых доказательств, чтобы побеждать, когда человек начинает искушать Бога Сокровенного. Яви отблеск Своего могущества, и я уверую, что иду не в пустоту, не в

⁸⁴ Католические священники исповедуют в столах фиолетового цвета.

⁸⁵ "Ego te absolvo" (лат.) — "Я отпускаю тебе грехи".

гнилую землю, — Невидимые ползают и стараются, чтобы эта мысль сохранилась, когда все другие уже рассеются.

Но на столике Михалины Сурконт осталось письмо, сообщавшее, что молитвы не услышаны. Если в том, что она принесла испорченный плод, Бронча Риттер усматривала подтверждение своей ущербности по сравнению с другими, то письмо должно было повергнуть ее в еще большее уныние. Хорошо ли, что оно до нее не дошло? Быть может, она должна была пройти высшее испытание: уповать, когда для этого нет никаких оснований? Жалея ее и предупреждая удар, люди помогли ей так, как они обычно помогают друг другу, — поддерживая иллюзии. Жестокость предначертаний свыше они считают чрезмерной.

— Спит?

— Теперь уснула.

Доктор Кон оставил морфий и объяснил, как пользоваться шприцем, если боли не прекратятся. На вопрос, что это за болезнь, он от визита к визиту отвечал сначала: «Кажется, рак», — потом просто: «Рак». От его присутствия было уже мало пользы. Более полезным могло оказаться присутствие ксендза Монкевича: сейчас, когда он выходил, ее грудь мерно поднималась и опускалась. Он подобрал полы сутаны и уселся в столовой — более уверенный в себе за столом. После нескольких приличествующих замечаний он выразил мнение, что рожь в этом году уродилась на славу.

— Барометр показывает дождь, — вздохнул дедушка. — Успеть бы свезти с поля.

И пододвинул ксендзу варенье.

Настоятеля так и подмывало узнать что-нибудь о семейно-политических осложнениях.

— Эх, бедная пани Дильбинова. Одна, без сыновей. Но что поделаешь, они далеко-о-о.

На большее он не решился.

— Далекое, — согласился дедушка. — Что ж, судьба забрасывает человека туда, где дают работу.

— Да уж, конечно, мир не везде такой, как в нашем захолустье, — бабка не упустила случая связвить на тему страны.

— Известное дело, служба не дружба.

Мешок муки в бричке — практичный подарок перед новым годом — настоятель приписал, разумеется, пану Сурконту. Она, злобная сквальжница, воспользовалась бы тем, что ему неловко домогаться от них земных благ. Томаш надевал на лошадь недоуздки и просовывал удила между ее зелеными от изжеванного сена губами. От лип веяло медовым запахом, пчелы работали, цепляясь за гудящие цветы. Бронча Риттер медленно брела по самому краю времени.

II

Укладка снопов на длинный воз с драбинами требует умения — это почти как строить дом. Когда здание уже готово, на конец жерди, гладкой и скользкой от многолетнего использования, надевают веревочную петлю; жердь должна прижимать снопы, чтобы те не свалились, если воз накренится. Обыкновенно, чтобы закрепить ее, двое мужчин тянут за веревку сзади. Это небезопасно: если жердь вырвется, то может переломать лошадей хребты.

Наконец вверх забирается возница и, правя, видит внизу лошадей размером с белку. Въезжая в ворота овина, он ложится — только так можно проехать. Эти желтые квадратные стога целый день колышутся в аллее, и там, где они задевают за кусты лещины, с веток свисают стебли соломы. Воздух душный, набухшие тучи плывут низко, пока к вечеру из них не начинает накрапывать. Дождь расходится и льет всю ночь.

Томаш заметил в доме некоторую нервозность. Бабушка Мися и Антонина сменялись у постели больной и, хотя не признавались себе в этом, имели к ней претензии. Сострадание к человеку, кричащему и плачущему от боли, а также собственная сонливость вызывают желание, чтобы всё поскорее кончилось. Но тут вернулась хорошая погода, воздух дрожал от зноя, больной сделали укол морфия. Томаш думал о Боркунах и не представлял себе, когда сможет снова туда поехать. Чтобы проветрить комнату, открыли ставни и окно; внутрь

залетела ласточка и носилась кругами.

На третий день после прихода ксендза, в послеполуденную пору, Антонина сердито позвала с крыльца. «Томаш!» — и он вскочил с газона. Ему не понравилось, что она застигла его там, словно в ожидании. Полумрак. Когда он вошел, бабушка Мися воевала с крышкой сундука, из которого бабка Дильбинова так часто извлекала маленькие подарки. Поверх других вещей она положила громницу:⁸⁶ «Когда буду умирать, помните: она там».

В последнее время взгляд больной был растерянным и подавленным, а голос — скрипучим. Антонина стояла на коленях с молитвенником в руках и читала по-литовски литанию. Лицо бабки Сурконтовой, похожее на мордочку большой мыши, склонялось над изголовьем; она расхаживала взад-вперед, вертя в руках восковую свечу.

У окна Томаш, стоявший в теплом солнечном пятне на коричневых досках пола, тер одну босую пятку о другую. Его чувства были обострены как никогда. Сердце стучало, взгляд фиксировал каждую деталь. Потянуться бы сейчас, поднять руки и глубоко вдохнуть воздух. Угасание бабки оборачивалось для него торжеством, которое казалось ему чудовищным и вдруг было прервано коротким рыданием. Ее грудь боролась за еще один вдох. Он увидел ее маленькой, беззащитной перед равнодушно навалившимся ужасом и припал к кровати с криком: «Бабушка! Бабушка!» — раскаиваясь во всех причиненных ей обидах.

Но она, хотя, казалось, была в сознании, никого не замечала. Тогда он встал и, глотая слезы, старался навсегда запечатлеть в памяти каждое ее движение, каждое содрогание. Ее пальцы сжимались и разжимались на одеяле. Из уст вырвался хриплый звук. Она боролась с атрофией речи.

— Кон-стан-тин.

Чиркнула спичка, фитиль свечи вспыхнул маленьким язычком пламени. Начиналась агония.

— Иисусе! — сказала она еще внятно.

И тихо — но Томаш хорошо слышал этот тающий шепот:

— Спа-си.

Если бы при этом присутствовал ксендз Монкевич, он мог бы засвидетельствовать поражение Невидимых. Ибо закону, гласящему, что все умершее рассыпается в прах и навеки гибнет, бабка противопоставила единственную надежду — Поправшего закон. Уже не требуя доказательств, вопреки доводам в пользу противоположного, она верила.

Неподвижные белки глаз, тишина, потрескивание фитиля громницы. Но нет, грудь вздрогнула, глубокий вдох, и опять шли секунды, и изумляло внезапное дыхание тела, уже казавшегося мертвым, — чужое, хриплое, через неровные промежутки времени. Томаш содрогался от ужаса этого обесчеловечивания. Это была уже не бабка Дильбинова, но сама смерть: ни форма головы, ни оттенок кожи уже не были важны, исчез одной ей присущий страх и «о-е, о-е». Нескоро, может быть, через полчаса (хотя, возможно, по другим меркам прошла целая жизнь) губы застыли открытыми на середине вдоха.

— И свет вечный да светит ей, аминь, — шептала бабка, осторожно закрывая пальцем веки умершей. Дедушка медленно торжественно перекрестился. Потом начали совещаться, куда ее перенести. Кровать была так глубоко продавлена, что тело могло застыть в полусидячей позе. Решили поставить длинный стол, и Томаш помогал протаскивать его через дверь. Поверхность его накрыли темным покрывалом.

Помогал он и переносить бабку Дильбинову с кровати на стол. Когда он протянул руку, чтобы поднять ее, рубашка задралась, и он быстро отвернулся. На простыне, когда он уже держал ее за ноги, а Антонина поднимала за руки, стала заметна полоска экскрементов, выдавленных в предсмертном спазме.

⁸⁶ Громница — большая восковая свеча. В Польше существует обычай освящать громницы на Сретение Господне — этот праздник называется также днем Матери Божией. Громничной Громницы зажигают во время крещения и первого причастия, вкладывают в руки умирающих. Зажигают их и во время грозы, так как по народному поверью, они защищают от ударов молний

Томаш вернулся, когда бабка уже лежала вымытая и одетая. Сложенные на груди руки, соединенные вместе пятки, расходящиеся носки и подвязанная платком челюсть. Через открытое теперь окно в комнату врывались вечерние звуки: криканье уток, медленный стук телеги, конское ржание. Все это было настолько другим, безмятежным, что возникали сомнения, действительно ли здесь произошло то, чему он стал свидетелем.

Его послали к колеснику, и грусть постепенно прошла. Колесник жил на куметыне (он обслуживал и усадьбу, и село). Томаш привел его и помогал снимать мерку. А вечером долго не мог уснуть, потому что за дверью лежал труп, и бабка, проникая в его мысли из иной, потусторонней сферы, уже знала о его подлости. Наблюдая, как она умирает, он испытывал удовольствие — терпкое, как вкус черники, которая щиплет язык, но почему-то все равно вызывает желание есть еще. Теперь там, возле стола-катафалка, горели свечи в двух высоких канделябрах, Томаш слышал молитвы, но она была одна в черной ночи.

Утром следующего дня (в наплывах воска на стеклянной розетке увязли крылья ночной бабочки; между веками бабки поблескивала белая полоска) он пошел к колеснику — ему было любопытно, как тот будет делать гроб. Во дворе перед мастерской стояли, опираясь друг о друга, деревянные колеса без ободов, высились груды досок. Томаш знал этот верстак, шероховатый от насечек и царапин, с рукоятками тисков, которые свободно двигались в отверстиях, и запах стружек под ногами. Он мог долго неподвижно сидеть на колоде, замороженный движением рубанка. Так и теперь. «Сосна не годится, возьмем дуб», — говорил мастер (из-за своего носа и желваков Келпш был немного похож на бабушку Мисю). Жилы на его руках переплетались — горы и долины. Из проема рубанка выскальзывала полоска стружки, и эта власть над деревом радовала: если можно так выровнять доску, значит, наверное, можно выровнять и устроить всё, что есть на свете. Итак, рисунок дубовых слоев возле щек бабки Дильбиновой — это уже навсегда. Томаш снова жил сном о Магдалене. Могут ли черви проникнуть в гроб сквозь щели? Череп — белый, с глубокими впадинами вместо глаз, — а доски все еще будут крепкими. Кажется, бабка умерла по-настоящему. Она рассказывала ему об ужасных случаях летаргии, когда после закрытия гроба из него раздавался стук, а кое-кто слышал даже стук, доносящийся из могилы. Землю разгребали, крышку гроба поднимали и обнаруживали задохнувшихся людей, скорчившихся от усилий. Проснуться и понять — пусть даже на короткое мгновение, — что ты похоронен заживо, — вот чего она боялась и всегда повторяла, что лучше уж делать так, как велел кто-то из ее семьи: разбивать голову покойника молотком, чтобы убедиться — это не летаргия.

Крест тоже должен быть дубовым. Колесник вытащил из кармана толстый карандаш, пошлюнил и нарисовал на деревянном обрезке, как он будет выглядеть. Затем показал рисунок Томашу и спросил, как ему кажется. Томаш вновь оценил преимущества положения внука. Над перекладной креста было что-то вроде крыши. «Зачем это?» — заинтересовался он. «Так надо. Просто две доски сколотить — некрасиво. Да и дождь будет вон туда стекать, не испортит».

Антонина считала, что душа человека еще долго блуждает вокруг покинутой оболочки. Блуждает и глядит на прежнюю себя, удивляясь, что раньше знала себя только связанной с телом. И с каждым часом лицо, которое было ее зеркалом, меняется, все более приближаясь видом к заплесневелым камням. Вечером Томаш заметил, что бабка выглядит иначе, чем с утра, и вдруг в панике отпрянул — она на него взглянула. Он подскочил к двери, уже готовясь кричать, что она просыпается от летаргического сна. Но нет, на самом деле она не шелохнулась — это веки приоткрылись чуть шире, и отблески свечей дрожали в черточке белка. Там, внутри, душа уже не жила. Если Антонина была права, значит, бабка бродила вокруг, прикасаясь к знакомым предметам и ожидая похоронного обряда, чтобы уйти без забот о своем имуществе.

LII

Облака складываются в пузатые фигуры — сейчас по небу плывет дракон с закрученным

хвостом и плавниками. Его морда рассеивается, удлиняется, от нее отрывается белый клочок и летит, гонимый его собственным дыханием. Перед драконом движется тонкий крест в руках ризничего, за ним идет настоятель, а Бальтазар, Пакенас, Келпш и молодой Сыпневский несут гроб. Со Шведских валов, по которым идет процессия, хорошо видны телеги с зерном и маленькие фигурки людей, снующие между точечками снопов на покатых полях по ту сторону Иссы.

Люк Юхневич, приехавший вчера с Хеленой, подбегает, чтобы сменить Пакенаса, и черные полы раздвигаются над его брючками в темную клетку. От тяжести он склоняет голову набок, гроб накреняется, качается, а он семенит, мешая нести другим. И опять Люк всего лишь смешон — Томаш разочарован. Ну, разве что еще упрям: плаксиво кривится, но несет. Шатыбелко надел темно-синий кафтан, его жена — шелковый платок в черных цветах.

В костеле все сидят на скамьях, Томаш пытается молиться, но его мысли — об уже выкопанной яме. В фамильных могилах остались только два места — для бабушки Миси и дедушки, — поэтому бабку похоронят чуть поодаль. Могильщики наткнулись на корень дуба, обрубили его топором, и теперь светлые пятна этих ран торчат из суглинка. Корни оплетут гроб, может быть, даже проникнут в него, и бабка будет схвачена словно птичьими когтями.

Когда все остальные еще медленно направляются к выходу, он уже протискивается между надгробиями. Да, это здесь. Чтобы похоронить ее возле Сурконтов, пришлось выкопать могилу на самом краю кладбища, а всего в нескольких шагах от нее — размытый дождями, поросший редкими пучками травы холмик доброй знакомой Томаша, Магдалены. Невозможно толком представить себе, что происходит после смерти, но обе они должны каким-то образом встретиться. Каким? Вот они протягивают друг другу руки (отрубленная голова Магдалены уже опять на своем месте) и раздражаются слезами: «Ах, зачем мы тревожились — стоило ли? Почему мы не знали друг друга и страдали поодиночке? Жила бы ты у меня, — говорит бабка, — я бы выдала тебя замуж, а ты помогала бы мне — ведь ты смелая. Как плохо, что люди любят друг друга только после смерти! А трудно это — отравиться? Я хотела бы знать». — «Трудно, — вздыхает Магдалена. — Я молилась, чтобы Бог простил меня. Так, стоя на коленях, и проглотила яд, но тут же испугалась и стала звать на помощь». Обе они молоды, бабка — такая, как на своих старых фотографиях, когда носила сильно приталенное платье. И обращаются друг к другу на «ты». «А зачем ты пугала людей?» — спрашивает бабка. Магдалена усмехается. «Отчего же ты спрашиваешь? Теперь ты уже знаешь». — «Да, правда, теперь знаю».

Томаш не верит, что они могут находиться в двух разных мирах, ибо считает невозможным, чтобы Магдалена была осуждена на вечные муки. Осуждены, наверное, только люди, не вызывающие ни в ком сочувствия и любви. И пока другие собираются вокруг свежераскопанной земли, он начинает читать «Радуйся, Мария», стараясь произносить слова с таким рвением, что ногти впиваются в кожу. Он препоручает Магдалену Божьей Матери.

Гроб опускали на ремнях; какое-то мгновение он покачивался, потом зацепился за обрубленный корень и наконец застыл неподвижно. Пока ксендз Монкевич говорил, Томаш заглядывал в яму. Умерших кладут в землю ежедневно, уже сотни и тысячи лет; если бы все они вышли из могил, наверное, набрались бы миллионы, стоящие тесно-тесно — так что яблоку негде упасть. Все живые знают, что умрут. Дедушка говорит, что в гробнице Сурконтов меж цепей его уже поджидают. Они знают это и остаются равнодушными. Конечно, это неизбежно, но ведь они должны кричать, рвать на себе волосы от отчаяния: смерть — сам переход из одной жизни в другую — ужасна. Но нет. Их спокойствие, их «так уж всё устроено» — о чем бы ни шла речь — были для Томаша необъяснимы. Он верил в тайну, которую Бог может открыть людям, если они очень захотят: что смерть необязательна, что всё не так, как они думают. А может, они знают больше, чем показывают, и потому так спокойны? Иными словами, Томаш открывал им кредит, как Люку: если бы тот не скрывал в себе другого, более умного, то нарушал бы весь порядок. Тогда взрослые были бы не более чем смешными переодетыми детьми. То, что кажется простым, не может быть настолько просто.

Когда-нибудь и его, Томаша, опустят в гробу на ремнях. Даже если он станет Папой

римским? Да. Но если бы граната тогда взорвалась, он бы не знал, что умирает, проснулся бы и спросил: «Где я?» У глухаря, убитого Ромуальдом, не было времени испугаться. Боже, не дай мне умирать медленно, как бабка!

— Ты брось первым, — вполголоса говорит ему бабушка Мися. Внук — ближайший, а по сути единственный родственник. Он берет желтоватый комок и кидает; тот падает и рассыпается, а по крышке уже стучат другие, и вскоре лопата оставляет на верхней доске узкий холмик песка. Могильщики работают быстро, щели между боками гроба и стенами ямы уже заполнены, еще видно дерево, пропитанное коричневой морилкой, но вскоре — только яркий цвет земли. Если гроб своей закрытостью призывал угадывать его содержимое (ведь тело становилось вещью внутри), то теперь тем более: пустое пространство, немного воздуха, отделенного от всего остального, — кусочек туннеля.

Наверху дубы. Некоторые очень старые — они стояли здесь, когда по дороге ездил Иероним Сурконт. Внизу склона, поросшего короткой густой травой, течет ручей — под мостик и дальше, в Иссу. На противоположном склоне долины — сады и избы. Этот вид означает конец пути. «Табличку обязательно надо заказать», — говорит дедушка. Томаш вставляет: «Нужно написать: вдова повстанца 1863 года». Бабка очень этим гордилась. «Цвяты мы с Томашем посадим», — обещает Антонина.

Келпш берет свой крест с голубцом и ставит на могилу, насыпая и утаптывая вокруг него продолговатый холмик. Здесь летописец откладывает перо и пытается представить себе людей, которые посетят это место спустя много-много лет. Кто они? Что их занимает? Их машина блестит внизу, около мостика; они прогуливаются по кладбищу. «Какой забавный старый крест». «Эти деревья надо бы вырубить — зачем они здесь?» Вероятно, они не любят смерти, напоминание о ней унижает их достоинство. Они топают ногой и говорят: «Мы живы». Как бы там ни было, в их груди тоже бьется сердце, порой сходящее с ума от тревоги, а чувство превосходства над ушедшими не дает никакой защиты. Сизый лишайник свешивается с голубца Келпша, от имени не осталось и следа. А облака складываются в пузатые фигуры как тогда, в день похорон.

LIII

Этот крик ничем не напоминает звуков, которые способно издавать человеческое горло, и все же Томаш научился подражать ему. Поначалу дело шло трудно, но он наловчился и сам едва верил, что теперь умеет с ними разговаривать. В лесу неподалеку от Боркунов есть заросшая ольшаником низинка, которая весной превращается в озерцо, — там это и происходило. Солнце уже зашло, ольховые верхушки чернели на фоне лимонного неба, час приближался. Перед Томашем была густая стена молодых деревьев, а сам он стоял в вязкой жиже, среди запаха прелых листьев, и с остервенением, но осторожно, избегая резких движений, давил комаров, которые обсели его лицо и шею. Они так упивались кровью, что на ладони оставались красные полосы. Томаш тихо взвел курок берданки, готовясь к выстрелу. Берданка, отнятая на лето у Виктора, как-то приросла к нему. «Зачем она тебе? — спрашивал брата Ромуальд. — Времени у тебя все равно нету, разве ты ходишь с ней? Висит себе на стене, а Томаш пускай поохотится. И Виктор согласился.

Ястребы свили себе гнездо в чаще, куда было трудно пробраться — слишком мокро. Они уже вырастили птенцов, и те целый день кружили высоко в небе, как родители, а вечером все семейство слеталось сюда на ночлег. Позавчера Томаш пробовал подвабить⁸⁷ их, и они ответили с трех или четырех сторон. Наверное, секрет заключался в выборе момента, когда в гнезде еще не все, и они созывают друг друга. Их клекот раздавался все ближе, пока наконец Томаш не увидел между листьями распростертые серые крылья, захлопавшие, когда ястреб стал цепляться за тонкую верхушку. Птица не видела стоявшего внизу в полумраке Томаша,

⁸⁷ Вабить (охотн.) — подманивать птиц или зверей, подражая их голосу.

звала и ждала ответа. Тогда Томаш потихоньку поднял ружье и нажал на спуск. Падают!!! Он долго искал, уже боялся, что не найдет, — разве только утром, — и вдруг заметил его почти у себя под ногами: серость, чуждая этому покрытому темными зарослями болоту, почти яркая. И эти длинные крылья, и маховые перья, раскрывшиеся, когда Томаш его поднял. Разгибая судорожно сжатые когти, он поранил себе палец. Но один ястреб — это мало, когда он достиг над ними такого превосходства. Томаш выждал день и попробовал еще раз.

„Пии-и-и“, — пронзительный крик нужно издавать сжатым горлом, в этом и заключается трудность: достаточно повторить несколько раз, и уже чувствуешь боль. Томаш слышал ястребов в глубине леса. Прилетят они сегодня или нет? Пока вокруг лишь писк комаров, которые всем роем танцуют на островке света — вверх-вниз. „Пии-ии“, — повторил он. Что точно означает на их языке этот сигнал, он не знал. Ясно одно: он выражает тоску, призыв. Ближе. Да, верно. Томаш снова издал клич — в тишине, когда другие птицы уже нашли себе ветки для сна и топорщили перья, он разнесся далеко. И вдруг с нескольких сторон — настойчивый клекот. Значит, прилетели.

Он упивался своим триумфом, хоть и старался держать себя в руках. Ястребы были молодые и еще не научились отличать фальшивый тон. Кроме того, там не было соек, которые своими воплями предупреждают о присутствии человека. Он завабил еще всего один раз — вблизи они все же могли догадаться, что это не совсем то.

Над деревьями один силуэт, второй. Нет, то, что они там летают, еще ничего не значит. Но вот тень мелькнула в ольшанике. Ястреб сел. Куда? Теперь комары на руках и лице Томаша могли быть уверены в своей безопасности — он не двигался. Ястреб клекочет вон с той верхушки, но из-за листвы ничего не видно. Если Томаш сделает несколько шагов, птица наверняка заметит его и улетит так, как ястребы обычно улетают при встрече с человеком — полетом тайны.

Единственный способ — рискнуть и вабить. Забыв, что он — это он, Томаш облекся в душу ястреба — так ему хотелось, чтобы клич получился хорошо. „Пии-ии“. И тот, возбужденный, откликнулся. Он встрепенулся, и этого было достаточно, чтобы Томаш его заметил. Он целился почти вслепую, скорее угадывал, чем видел дымчатое пятно на черном фоне. После выстрела птица взметнулась, сжалась и упала — ударяясь о сучья, пытаясь зацепиться. Томаш бросился к ней, ветки секли его по лицу. Это второй, он убил второго — пело в нем всё. Он застал ястреба лежащим на спине, еще живым. Когти оборонительно торчали. Вместо товарища или матери, чей зов он так явственно слышал, над ним, обессилившим, склонилось огромное существо. Томаш, конечно, оправдывал свой поступок тем, что хищник питался мясом и кровью растерзанных голубей и кур. Он стукнул ястреба прикладом по голове, и золотые глаза закрылись нижними веками. После того как с него снимут шкурку, мясо отдадут Лютне, а набитое паклей чучело некоторое время будет сохранять подобие именно этой, а не иной птицы — пока в нем не заведется моль.

Если Томаша посещали угрызения совести (а это случалось), он говорил себе, что убитое им создание и так умрет, и не все ли равно, немного раньше или немного позже. То, что звери хотят жить, было для него не вполне достаточным основанием — ведь у него была цель: победить, сделать чучело — это казалось более важным. Небо стало темно-синим, когда он вышел из лесу и перешел по мостику через речку. Окна дома светились сквозь кусты, Барбарка готовила ужин. Что она скажет на второго ястреба?

Но в третий раз уже не получилось — стрельба вспугнула птиц. Впоследствии Томаш не раз хвастался умением вабить, пока в одно прекрасное утро (в другое лето), решив проверить свои способности, не издал лишь хрип. У него началась мутация, голос огрубел, и ему уже никогда не удалось извлечь из себя этот резкий звук — нечто среднее между кошачьим мяуканьем и свистом пули.

LIV

Барбарка била пана Ромуальда по мордасам, да так, что аж эхо расходилось по саду. "Ты

что? Ты что?" — повторял он, отступая. Тактика захвата противника врасплох вообще бывает действенна, здесь же эффект неожиданности был полный. В это воскресное утро, без всяких недоразумений и споров, вдруг: "Свинья! Со старыми бабами ему захотелось! На! На! За все мои обиды! Получай!" Наверное, появление кометы удивило бы пана Ромуальда меньше, чем эта ее выходка. Он мог взять палку и тут же прогнать ее из Боркунов, но вместо этого размякал в неуверенности, не сошла ли она с ума. А она уже убегала по дорожке, заходясь плачем.

Плач был искренним. Что до пощечин, то тут гнев смешивался с расчетом. Барбарка каким-то образом чувствовала, что нужно так, а не иначе, что либо она выиграет всё, либо всё проиграет. Хныкать и дуться по углам было уже бесполезно. Впрочем, расстояние перед прыжком оценивают не с помощью арифметики. Ромуальд был противником, но не только. Ему было хорошо с ней, и она это знала. Прежде всего ему было бы нелегко найти такую хозяйку, как она, следящую за чистотой, порядком, способную ко всякой работе, даже к пахоте — однажды, когда он болел, а батрак разругался и ушел, она одна вспахала почти все поле. Кроме того, она лучше других готовила. Он был уже не юноша, имел свои пристрастия, а любую новую пришлось бы сперва учить. Были у нее и другие причины уверенности в себе.

Этой жизни в глуши им вполне хватало потому, что жили они вместе. Весна и лето проходили быстро, полные множества дел, так что они едва поспевали. Осенью она варила брусничное и яблочное повидло, а когда начинались дожди, садилась за прялку. Прясть Барбарка умела тонко. Лен они выращивали свой, а шерсть покупали у Масюлиса. Из своей пряжи она ткала на кроснах полотно и сукно, стуча зимой (стук раздаётся, когда двигается челнок) до самых сумерек — вечерами прясть можно почти вслепую, но тканье требует света и большого внимания. Деревянный станок и несколько юбок в сундуке были единственным приданным Барбарки.

Полная трудов неделя завершалась банной церемонией в субботу и ее походом в костел в воскресенье — на бричке или пешком. Ромуальд был не слишком набожен и порой пропускал по несколько воскресений кряду, предпочитая охоту.

Баню он построил сам, у реки, и построил основательно. Состояла она из двух помещений. В первом он вбил в стену крючки для одежды и даже вытесал лавку, чтобы было удобнее раздеваться и одеваться. Там же он разместил и топку: в нее клали толстые поленья, которые нагревали плоский камень за стеной настолько, что каждый вылитый на него ковшик воды немедленно превращался в клубы пара. Во втором помещении от стены до стены, один над другим, размещались три полка, соединенные друг с другом так, что образовывались ступени. Нет ничего противнее бань, в которых свистит ветер, поэтому щели между бревнами он конопатил мхом каждый год.

Церемония начиналась с того, что Барбарка мыла ему спину. Затем он поддавал пару (а любил он очень крепкий) и сразу залезал на верхний полку, ее же обязанностью было поставить перед ним ковшик с холодной водой так, чтобы он мог дотянуться, — если поливать себе голову холодной водой, можно выдержать наверху дольше. Она брала веник из березовых веток и, стоя ниже, охаживала его грудь и живот, а это требует умения: под влиянием пара кожа делается чувствительной, и прикосновение обжигает как каленое железо, нежное прикосновение — хуже, чем удар. В том и заключается искусство, чтобы попеременно прикасаться и хлестать. Ромуальд бранился и ревел: "А-а-а-а! Еще! Еще!", — переворачивался на живот, зачерпывал воду из ковшика и: "Валяй! Еще! А-а-а-а!". Наконец он вскакивал и, красный, как вареный рак, несся во двор, там падал в снег и валялся несколько секунд — ровно столько, чтобы как будто плетью получить, но не почувствовать холода. Вернувшись, он снова забирался на полку, потому что наступал черед Барбарки. Он держал ее там, наверху, так долго, что она стонала; "Ой-ой! Я уже ня магу!" — "Можешь. Повернись". - и хлестал, а она кричала, смеясь: "Ну, хватит уже. Пусти!"

Если бы он ее выгнал, с кем бы он ходил в баню и кто тер бы ему спину?

Не подлежало сомнению, что в бане Ромуальд смотрел на нее с удовольствием. Само здоровье и молодость, грудь не слишком маленькая, но и не слишком полная, крепкие плечи и бедра. Светло — розовая, почти белая по сравнению с ним. Так или иначе, она давала ему

немало поводов для мужской гордости.

Так или иначе. Предаваясь любовному ритуалу, Барбарка (может быть, это и не вполне уместно, но тут уж не думаешь, что уместно, а что нет - призывала святейшие имена из Евангелия, а, испуская последний вздох, шепотом стонала: "Ромуа-а-альд!" Он неподвижно созерцал эту ударявшую в него и им же вызванную волну, гордясь хорошо выполненной работой. Ему было приятно, когда, спустя мгновение, она снова ловила воздух, а он снова слышал ее беспорядочную литанию. И если это повторялось еще и еще и еще, она вовсе не была на него в обиде. А разлуку с ним она вообще не могла себе представить. Если бы не помогли старые верные средства, и был бы ребенок — ну и пусть бы себе был. Наутро мир представал новым, стекло умыто росой, а ноги чуть-чуть дрожали в коленях. Вот откуда были эти песни над кроснами — от избытка радости.

Однако теперь она плакала, одновременно думая, что он делает в саду. Вот он идет по дорожке, сейчас пол заскрипит, он войдет и скажет: "Вон". Хотя, если бы он, разозлившись, прогнал ее, то поступил бы себе во вред. Вся эта история с Хеленой Юхневич была ему совершенно не нужна. Барбарка его шляхетские капризы считала частью мужской глупости, которая у каждого мужчины своя и которую нужно терпеть такой, какая попадетя. Это всего лишь маска, а внутри он обычный. Он должен, наконец, сообразить, что, ухлестывая за настоящей пани лишь с целью показать: я не хуже их, — он всё себе портит.

Если бы только не старуха Буковская... Вот кто был ее врагом. Буковская была отнюдь не против ее пребывания у Ромуальда — ведь не может же он жить совсем один, — но она следила. Иногда он сажал Барбарку в бричку возле себя, и так, вдвоем, они ехали в костел. За это Буковская его бранила: что люди скажут? Прислуга должна знать свое место.

Да, Буковская мешала. На высшее счастье — владение Боркунами в уверенности, что никто ее оттуда не выживет, — она наложила запрет. Никогда ни один Буковский не женился на мужичке, даже богатой, не такой, как она. Уставившись в подол, сидя с широко расставленными ногами, натянувшими юбку, Барбарка предавалась отчаянию. Давешние препятствия уже казались ей пустыми тревогами. Если он пойдет, она упадет на колени и будет молить о прощении. Чтобы только всё было как прежде.

Крепкая шея Ромуальда рассечена косыми квадратиками. Теперь она побагровела, почти как индюшачий гребень. Он стоит неподвижно, потом вскидывается, быстро идет в сторону дома, но перед крыльцом останавливается, в следующий миг медленно ступает на деревянную ступень и в своей комнате снимает со стены двустволку.

Лес, если слушать его шум много часов подряд, дает советы. То ли эти советы, то ли известный факт, что суровость мужчин — лишь видимость, привели к тому, что, вернувшись днем, он ничего не сказал. Только вечером, когда она уже выдоила коров, послышалось его деловитое:

— Барбарка!

Дрожа, она переступила порог.

— Ложись!

В руке он держал арапник с рукоятью из косульего копытца. Задрав Барбарке юбку, он бил ее по голому заду не спеша, но больно. Она визжала и корчилась после каждого удара, кусала подушку, однако была счастлива. Он не отвергнет ее! Наказывает — значит, признает своей! Справедливо наказывает. Заслужила.

То, что случилось потом, можно считать наградой — тем большей, что любовь приобретает особую прелесть, когда связана с болью и слезами. Тут следует отметить одну из самых странных особенностей человека: даже приближаясь к вершине упоения, он не может отделаться от мысли, блуждающей в голове независимо от телесного иступления, и тогда более всего ощущает свою двойственность. С уст Барбарки срывались святые имена, свидетельствовавшие о том, что она — верная дочь Церкви и не может выражать свои бурные чувства иначе, нежели на ее языке. А мысль вертелась вокруг ее победы. И, еще недавно полностью согласная с тем, чтобы все оставалось по-прежнему, она шла дальше, в бой против старухи Буковской. Видимая Барбарка хотела, чтобы ее разрывали и наполняли, а невидимая

подшептывала, что если от этого родится ребенок, будет совсем неплохо. И обе были друг с другом в своего рода сговоре.

LV

Через неделю была назначена охота на тетерева, и приключение тетки Хелены вызвало у Томаша противоречивые чувства. Хоть он и затаил на нее немало обид, семейная солидарность все-таки обязывала. Что же произошло? Тетка поехала в Боркуны, а Томаш не упустил случая отправиться с ней. Он держал поводья и кнут, они сидели рядом и были уже в роще. Лошадь взбиралась в гору; когда... Точно нельзя сказать, увидел он сначала или услышал. За елкой мелькнуло что-то белое, и тут же послышался крик, а вырывался он из уст Барбарки. Он никогда не видел ее такой и замер в изумлении. Раскрасневшаяся, со сдвинутыми бровями, она грозила ореховым прутом и вопила:

— Сука! Я тебе дам! Я тебе покажу романы!

И всевозможные ругательства на двух языках.

— Только покажись еще раз в Боркунах! Только покажись...

Тут прут свистнул, и Хелена схватилась за щеку, прут снова свистнул, и Хелена заслонилась рукой. Как поступать в таких случаях, Томаш не имел ни малейшего представления — он хлестнул лошадь, колеса застучали.

— Поворачивай! Поворачивай! О, Боже, а за что, за что? — жаловалась Хелена. — Поворачивай, ноги моей больше там не будет.

Да, легко сказать, но дорога была узкой. Томаш давил молодые деревца, колесо скрежетало о бок брички — они едва не опрокинулись. Крупные слезы текли по лицу тетки. Теперь она была вся красная и, прежде всего, тихим голосом выражала изумление. Она молитвенно складывала руки, а голубизна ее глаз взывала к небесам об отмщении за невинные страдания.

— Какой ужас! Я ничего не понимаю: что все это значит? Почему? Как она смела? Она, верно, помешалась.

Томашу было досадно, и он старался не оборачиваться к тетке, делая вид, что занят вожжами. Впрочем, ему было над чем задуматься. Значит, романы — это все-таки правда. Все эти томные взгляды в сторону Ромуальда. Ее глаза делались при нем как мокрые сливы. Но при чем тут Барбарка? Этого он никак не мог взять в толк. Может, Ромуальду надоела глупость Хелены, и он велел Барбарке подкараулить ее в роще? Почему он сговорился против тетки со своей служанкой? Какое Барбарке дело до его жизни?

Томаш договорился с Ромуальдом об охоте. Их мужской дружбе не могли помешать такие мелочи, как пустые взрослые ссоры. Но вот беда: тетка больше не будет ездить в Боркуны и скажет, что никто не имеет права там показываться, а если он туда пойдет, получится как-то неловко. Скажет? Правда, может быть, и не скажет. В этом было нечто постыдное, и, останавливаясь на границе смутных вопросов, он догадывался, что хвалиться ей нечем. И хотя она не обмолвилась об этом ни словом, ее молчание означало некий уговор между ними. Лицо ее помрачнело, две складки возле рта; она качалась в бричке, как сова.

— Что? Так быстро? — спросила бабушка Мися.

— Да, не застали Буковского дома, — слукавила Хелена.

Итак, из всего этого вытекало его превосходство и в то же время сообщничество. Увы, к воспоминанию о гневной Барбарке примешивалось еще одно, касавшееся уже только его. Недавно, бродя с берданкой по краю леса, он вылез из чащи в поля деревни Погиры. Старый крестьянин укладывал на телегу снопы, которые молодой подавал ему снизу вилами. При виде Томаша, который вежливо приветствовал его словами: "Padek Devu",⁸⁸ то есть "Бог в помощь", — старик прервал работу и, выпрямившись на своем возу, начал осыпать его бранью

⁸⁸ Правильно по-литовски это выражение пишется: "Padek, Dieve".

и потрясать кулаком в лучах солнца. Томаш этого совершенно не ожидал, он едва знал обидчика в лицо, и такая порция ничем не заслуженной ненависти была для него тяжелым потрясением. Если гневом отвечают на гнев, тогда легче, но здесь ярость была ответом на его благожелательность — только потому, что он был паном. Он не знал, куда деваться, и медленно удалялся, чтобы не казалось, будто он убегает. Лицо его пылало от стыда и обиды, а рот (хотя в этом он бы никому не признался) дрожал и кривился.

Что-то во внезапной выходке Барбарки напомнило ему тот день. Все-таки он с Хеленой в бричке — это одно, а Барбарка — другое. Однако на Ромуальда падала ответственность за союз с... — и, неожиданно для Томаша, перед ним упрямо вставал любимый святотатственный Домчо, который несколько раз снился ему под видом Барбарки. "Хороша компания — этот пан Ромуальд, — бабушка Мися особенно подчеркивала слово "пан". — Всяких голодранцев в дом понаташил".

Ромуальд пах табаком и силой. Томаш не хотел его терять. Внезапно он осознал, что на карту поставлены тетерева, ружье — всё, и испугался, что у него хоть на мгновение могли появиться такие мысли. Он выпросил у бабушки Миси обрезки полотна на онучи и прилаживал себе лапти из липового лыка — ведь не пойдут же они на болото в сапогах.

LVI

Самогонные аппараты стояли в лесу, в труднодоступном месте, и если бы даже явилась полиция, то лишь затем, чтобы отвезти у Бальтазара произведенный в них продукт. Уехала бы она с несколькими бутылками — в благодарность за составление протокола о том, что ничего не обнаружено. Водка нужна была Бальтазару не только для себя (пива ему не хватало) и не только на продажу. С тех пор как лес стала осматривать комиссия, которой он лично всё показывал, между ним и деревенькой Погиры нарастало раздражение. Действительно, после угощения у Сурконта трос чиновников залезали в бричку в веселом расположении духа, с очень красными лицами, по дороге пели, а один чуть не вывалился, и это не осталось незамеченным. В доме лесника они добавили, так что деревьев, наверное, и вправду не видели — только траву. По хорошо обдуманной причине жители Погир хотели, чтобы лес перешел в собственность государства, хотя тогда исчезли бы и преимущества, то есть возможность время от времени свести дерево, на что Бальтазар закрывал глаза. Никто, кроме Юзефа, точно не знал, как обстоит дело с датой раздела земли между Сурконтом и его дочерью, но люди догадывались, что лес играет здесь важную роль, и размышляли о последствиях того или иного решения для судьбы пастбищ, о которых вели спор с усадьбой. На Бальтазара они злились за то, что тот заодно с Сурконтом, и самогон был нужен, чтобы заткнуть рты самым отчаянным крикунам. К тому же, если бы он не давал им даром, в отместку они могли навести полицию на укрытую в чаще винокурню.

В те дни после мессы мужчины часто собирались кучками у ограды гинского костела и вели разговоры о лесе.

— Сурконт хитер, — говорил молодой Вацконис.

Он уже давно не носил военную гимнастерку; а одевался как Юзеф Черный — в застегнутую под горло куртку из домотканого сукна. Если они с Юзефом встречались, то никогда не подавали виду, что помнят историю с гранатой. Она осталась в прошлом, как в воду канула.

— Он, — язык Вацкониса прошелся по скрученной сигарке, — свою землю никому не отдаст.

Это было сказано равнодушным тоном; ни один мускул на лице парня не дрогнул, ни один взгляд не выдал, что у него на уме. Однако Юзеф знал, что в этих словах кроется насмешка над легковерными.

— Может, теперь и не отдаст, — согласился он. — Ну, так через год отдаст. Или через два.

— А Бальтазар ему помогает.

— Сам на себя веревку вьет.

— То-то и оно. Говорят, Юхневичиха скоро его выгонит.

— Кто говорит?

— А сегодня, на куметыне. Ходила дом ему выбирать. Он сюда, а она в его дом.

Плевок Юзефа означал презрение.

— Батраком у них будет служить? Да нет, он не так глуп.

— А может, не служить?

— Кто его из лесу гонит? Не захочет — ничего ему не сделают. В суд подадут — ну и пусть. Лет на десять волокиты будет.

— Э, Бальтазар — он такой. Боязливый. Шишка упадет — а он в крик, что ему небо на голову валится.

Эх, что может водка с человеком сделать...

Мнение Вацкониса, свидетельствовавшее о том, что людей он оценивал на основании наблюдений, выражало весьма распространенное у погирцев отношение к Бальтазару: много злобы, но много и презрения. Иначе говоря, они считали, что там, где любой другой спокойно пройдет сто шагов, Бальтазар запыхается, бегая кругами и колотя в несуществующие стены. Но он не знал, что его так воспринимают, и что к презрению примешивается жалость. Тюрма, по которой он метался, была для него реальна, и если бы они попытались объяснить, что все это только иллюзия, он не стал бы и слушать, будучи уверен, что они слепы и ничего не понимают. Он впихивал им водку, чтобы их лица на мгновение прояснились. Выпивая с ними, он хотел услышать слова похвалы, которые доказали бы ему самому, что "Бальтазар хороший". Никогда прежде, при всех своих внутренних проблемах, он не должен был заботиться о том, как смотрят на него другие. Жилось ему хорошо, некоторые могли ему немного завидовать, но и только. А теперь эта проклятая комиссия и происки усадьбы, да еще — как будто и без того он не был в деревне чужаком — Сурконт несмело упомянул о дочери: одно слово, но этого было достаточно, чтобы предостеречь Бальтазара.

Брага в бочке неумоимо булькает, отблеск костра освещает круглощекое лицо. Вся аппаратура — внизу, в яме, он сидит на краю, за спиной у него темнота, из которой выступают блестящие листья лещины. Почему чья-нибудь рука, взлетев над лесами, закрыв собой звезды, не протянется в эту маленькую точку кружащейся земли? Ее направлял бы лунный свет на Балтийских волнах... Почему она не схватит и не унесет бедного Бальтазара? Куда? Все равно. Например, она могла бы зашвырнуть его в середину оркестра во время концерта в большом городе — падали бы пюпитры, переполох, он ползал бы на четвереньках, неуклюже перебирая ногами в больших башмаках. Наконец, он бы поднялся — шатающийся, всклокоченный.

— Кричи!

И Бальтазар, послушный приказу своего мучителя, обрушил бы на зал признание в тайной болезни, которая точит столько из нас, рожденных на берегах Иссы.

— Мало!

Мало!

Жить — мало!

— Кричи!

Дикий вой:

— Не так! Не так!

Против того, что земля — это земля, а небо — небо, и ничего больше. Против установленных природой границ. Против необходимости, из-за которой я всегда я.

Никакая рука не поднимет сто, и Бальтазара мучит икота. Он чешет грудь, засовывая пальцы под расстегнутую рубаху, а на плечи накинута кожа: ночь прозрачна и холодна.

Всеобщее презрение деревни Погиры легко объяснимо: вот человек, который не знает, чего хочет. Он осложняет себе жизнь, путается — быть может, лишь затем, чтобы не остаться один на один с тревогой без формы и имени. А ведь вполне возможно, что с начала мира его ждало предназначение, которое только он мог выполнить — но не выполнил, и на том месте, где должен был вырасти дуб, остался воздух с едва различимыми контурами ветвей.

Он сползает с края ямы вниз, садится на корточках, подставляет кружку под трубку и пьет. В лесной чаще слышится плач терзаемой птицы. И опять тишина, потрескивает огонь. Небо уже бледнеет, по его темной стороне прочертила линию падающая звезда.

— Убить.

— Кого?

— Не знаю.

LVII

Бекас — серая молния. Взметнувшись, он делает несколько зигзагов низко над землей и лишь затем выправляет полет. Трудно сказать, почему кажется, что изобретение ружья давно предусмотрено вселенским порядком. Каро дрожал с поднятой передней лапой, Ромуальд выстрелил и убил птицу. Томаш не успел даже вскинуть ружье.

Все это происходило на мокром лугу, где под травой виднелась поверхность красной от ржавчины воды. Влага приятно холодила ноги, защищенные от острых стеблей и гадюк онучами и лаптями. Утреннее солнце играло в каплях росы. Они шли гуськом за собакой. Охотиться собирались вчетвером, но Дионизий отговорился, поэтому пошли только Ромуальд, Томаш и Виктор.

Быть может, когда-то здесь было озеро, но на его бывшем дне теперь раскинулись луга с острой осокой, а дальше, перед ними — торфяник, кочки, поросшие карликовыми сосенками, тут и там заросли спутанного лозняка. Поравнявшись с первыми деревцами, Томаш вдохнул знакомый запах. Торфяник — это царство запахов. Из мха здесь торчат кустики багуна *Ledum palustre* с узкими кожистыми листьями, в тепле насыщенного паром воздуха созревают голубые ягоды пьяники — большие, как голубиные яйца. Вкус у них освежающий, но много есть не стоит — закружится голова. Впрочем, неизвестно, от них или от долгого вдыхания ароматов. Молодые тетерева под руководством матери находят здесь достаточно пищи, а петухи, проводящие лето в одиночестве, забираются в заросли линять — некоторое время им едва хватает сил, чтобы летать.

Ищи. Каро, ищи!

Каро описывал круги, мелькала его белая шерсть с рыжими пятнами; он вилял хвостом и время от времени вопросительно на них оглядывался. Ромуальд в холщовом френче, опоясанный патронташем, с сеткой для дичи через плечо показывал ему рукой направление. Виктор тащил свою большую кожаную сумку с принадлежностями для пистонки.

Томаш пришел в Боркуны как ни в чем не бывало и, здороваясь с Барбаркой, сделал вид, будто его тогда в бричке не было. Потом, когда они уже шагали одни, Ромуальд, будто невзначай, спросил:

— А что тетя? Не собирается приехать?

Томаш опешил. Почему Ромуальд притворяется?

Но он чувствовал, что запутается, если будет вдаваться в подробности.

— Я не знаю. Кажется, сейчас занята.

Вот и весь разговор о ней. С выставленным вперед стволом Томаш всматривался в беготню Каро, полностью сосредоточившись на том, что произойдет, и тревожась. Ему уже давно не давало покоя, что он до сих пор не подстрелил ни одной птицы на лету. Утки-подлетки не в счет — он пальнул тогда в их гущу одновременно с Ромуальдом. Самое время попасть хотя бы в одну — тетерева были испытанием. Первый сегодняшней трофей — тот бекас — лишь усилил его напряжение, ибо способность водить стволом за движущейся целью, прикидывать, сколько до нее метров, и все это в течение секунды, казалась ему недостижимой. Если бы он по крайней мере взял того бекаса на мушку, но где там — все случилось слишком быстро. Не успела судорога отпустить его сжавшееся горло, как Каро уже нес убитую птицу.

— Они сейчас крепко сидят, — сказал Ромуальд, — собака может носом ткнуть. Ты, Томаш, не оглядывайся.

Они по колено проваливались в мох.

— О, вон там они могут быть.

Но тетеревов не было, и они все дальше углублялись в торфяник, а Каро свешивал язык, потом прятал его и снова принимался за работу.

Да, хуже всего, когда человек не ожидает. Сначала он напрягает внимание и к каждому кусту приближается с осторожностью, затем немного забывает о цели: его захватывает сам ритм шагов, и лозняки — вроде тех, что напротив, — кажутся лишь частью пейзажа, которая сейчас останется позади. И именно тогда, как назло...

На мгновение они потеряли Каро из виду. Внезапно Томаш был поражен, оглушен осколками взорвавшего воздух звука: треск, мир рвется на части, паника, огонь, кровь приливает к лицу, взор туманится, руки трясутся. Они. Они. Так близко, что в суматохе хлопающих крыльев он видел их вытянутые шеи и клювы как у куриц. Он прицелился — собственно, *и не целился* даже, а просто в спешке потянул за спуск, лишь бы выстрелить, веря в какое — то чудо. Одновременно рядом неуклюже наводил ствол ссутулившийся Виктор. Томаш слышал его выстрел. Его собственный тетерев летел дальше, а другой, перед Виктором, упал. Пес бросался из стороны в сторону, не зная, чьего тетерева хватать в зубы: Виктора или Ромуальда.

Выбрасывая пустую гильзу, Томаш старался переносить поражение мужественно, но ясное небо затянулось трауром, сердце билось сильно, будто после испуга. Он думал (если у него вообще было время о чем-либо подумать), что попадет чудом, что ему это причитается — что ж, сам виноват, в другой раз будь умнее.

Виктор стучал шомполом, заряжая свою развалину.

— Гы до гиг еггё догегёмся (то есть: мы до них еще доберемся), — сказал он тактично, давая понять, что не стоит переживать из-за одного промаха.

Вскоре мрачность Томаша, еще более мучительная из-за того, что приходилось держать фасон, прошла. Будущее манило. Теперь спокойствие, прежде всего спокойствие. Со всех сторон их окружали болезненные седые сосенки, с нижних ветвей которых свисали бородастые лишайники. Ромуальд, наблюдавший за движениями Каро, поднял палец.

— Есть, учуял.

Пес застыл с торчащим вверх хвостом. Они подходили широкими шагами, с ружьями наизготовку. В Томаше билась мольба о помощи.

— Пиль!⁸⁹

Каро двинулся вперед, но вновь застыл, гипнотически глядя в одну точку.

— Пиль!

Может, кто-то и способен это выдержать, но он, Томаш, — нет. Пока он решал, что сохранит хладнокровие, послышался треск, словно рвалась ткань, — не такой, как он ожидал, — затем трепыхание, хлопанье низко мелькающих белых крыльев и выстрел Ромуальда.

— Это куропатки. Дай сюда, дай!

Куропатка была бело-коричневая, с ногами в гетрах; снежность крыльев выделялась на фоне остального тела. Искоса поглядывая на сетку Ромуальда, Томаш завидовал, вместо того чтобы радоваться, что познакомился с новым видом и теперь запишет в свою книгу его латинское название.

Однако его утешало, что он не поддался соблазну и сдержался, не отяготив свою охотничью совесть новым промахом. По-прежнему оставалась надежда, и высвобождение ног из пористой массы не вызывало раздражения. После каждого шага вытесняемая из лаптей вода мягко похлопывала. Они убили гадюку, которую Каро бешено облаивал, поднимая верхнюю губу с выражением человека, съевшего что-то кислое. И — вот оно. Пес выжидал — полно времени, чтобы настроиться на благоразумную бдительность. Медленно, вытаскивая из воды одну лапу за другой, он оглянулся на них: здесь ли, воспользуются ли.

⁸⁹ "Пиль!" — команда легавой собаке, но которой она должна поднять птицу на крыло.

Взрыв. Боже, как легко, как легко, он летит сюда — лишь бы не поспешить. Вот он уже на мушке. Господи, помоги! Выстрел — и Томаш в изумлении, еще не веря, что несчастье случилось на самом деле, видит, как тетерев спокойно летит дальше. Это противоречие между его напряженной волей, мольбой и фактом подавило его окончательно. Ведь в сущности он, как и тогда, был уверен, что все решает таинственная связь между ним и дичью, а меткость прилагается как результат особой благодати.

Прямо возле него упали два молодых тетерева, сбитые дуплетом Ромуальда. Оба были только ранены — есть такой вид ранения, который парализует дичь: ни летать, ни бегать она уже не может, но жива и почти невредима. Томаш поднимал их, а они крутили шеями. Чувствуя себя обязанным сделать хотя бы это, если ничего другого не получилось, он взял их за ноги и стал бить головами о приклад берданки. Это не помогло — они жалобно и тонко кудахтали. Горькое наслаждение, вымещение злобы и в то же время стыд. Впрочем, стыд он подавлял, оправдывая себя тем, что так надо. Он положил ружье, размахнулся и изо всех сил стукнул ими о ствол сосенки. Мало вам? Ладно, получайте еще. И так до тех пор, пока клювы у них не открылись и из них не начали стекать капли крови.

— Отдохнем, пожалуй. Надо бы подкрепиться, а то в животе бурчит. Солнце уже высоко.

Они присели на кочку и принялись за хлеб с творогом, извлеченный Ромуальдом из сетки. Никогда прежде Томаш не сидел рядом с ними вот так — внезапно они стали ему чужими, словно были отделены стеной. Они живут в краю, куда ему вход заказан. Даже Виктор, этот заика Виктор, только что выстрелил и попал. В них есть что-то такое, чего в нем нет. Но разве он не умеет подкрадываться к дичи, разве они его не хвалили? Это какая-то тайна, что Виктор с его неуклюжим видом может, а он не может. С неба лилось безмятежное сияние, парник болота дурманил, ящерики шуршали на своих сухих островках среди лишайников. Томаш делал вид, что в полудреме подставляет лицо солнцу, а печаль катала в нем холодные шары, тяготившие изнутри.

— Что ж ты, Томаш, не стреляешь?

Он не мог. Он знал, что этим только умножит число своих неудач. Что за день! Сейчас все кончится: вот уже впереди виднеется лысый пригорок, откуда окольная тропа ведет в Боркуны, вот они сворачивают на нее. Виктор промазал, но Ромуальд — нет. Однако, когда стайка взлетела прямо там, где начиналась сухая почва, Томаш не выдержал. Ему казалось, что напоследок его должны ждать утешение и награда, что он не заслуживает судьбы отверженного.

Ромуальд с любопытством глядел на его дымящееся ружье и улетающего тетерева.

— Тебе не везло сегодня. Так бывает.

Его слова не отражали всей ситуации. Томаш ненавидел себя за то, что разочаровал его.

LVIII

Охота на тетеревов потому оставила у Томаша такие дурные воспоминания, что он давно подозревал в себе различные изъяны. Настоящий и даже очень способный охотник, когда нужно было вабить, подкрадываться и превращаться в дерево или камень, неплохой, судя по всему, стрелок из засады, он по малейшему поводу терял голову и начинал пороть горячку. Если случай с тетеревами был показательным, то перед ним вставало непреодолимое препятствие. Он никогда не станет полноценным человеком. Вся его система представлений о себе рассыпалась в прах. Он так хотел, так стремился, так привык считать себя гражданином леса, и вдруг, словно по иронии судьбы, которая отказывает в том, чего больше всего желаешь, услышал "нет". Нет. Так кем же тогда он должен быть? Кто он? Дружба с Ромуальдом, карта государства для избранных — все это потеряно. Он не мог расстаться с берданкой и, терзаясь, все же брел в лес — там печаль отступала.

Пятна света на подлеске и шум наверху успокаивали Томаша — он забывал о себе. Там ему не надо было ни перед кем сдавать экзамен. Никто от него ничего не ждал, он ничего не искал — просто ступал как можно тише, останавливался и радовался, что разные существа его

не замечают. Временами ему приходило в голову, что он был счастливее, когда не носил ружья, ибо в сущности убивать вовсе не нужно. Хотя, с другой стороны, если ты идешь в лес без ружья, каждый спросит: зачем? Глупо как-то: невозможно объяснить, "зачем"; а так — "на охоту", и сразу все понятно. А еще этот ствол за плечом придает хождению дополнительную прелесть. На всякий случай: может, неожиданная встреча с птицей или зверем, в которого надо будет выстрелить, — трудно угадать, что может случиться.

Ружье не сыграло никакой роли при встрече с косулями. Томаш шел по одной из тех ровных тропинок, которые покрыты бурой хвоей и теряются где-то в болоте, лишь зимой, когда ударяют морозы, но ним ездят санки с дровами. И вдруг ноги у него подкосились — поначалу он даже не понял, что за явление перед ним. Вот именно — явление, да и только. Красноватые стволы деревьев двинулись с места и начали танцевать; свет исполнял танец среди перьев папоротника. Не стволы — живые существа, поросшие рыжей корой, на самой границе растительной стихии. Они щипали траву прямо перед ним, их тонкие копытца стремились вперед, шеи колыхались; одна повернула к нему голову, но, вероятно, не отличила от неподвижных вещей. Он хотел одного: чтобы это продолжалось вечно, чтобы он мог раствориться и, став невидимым, принимать в этом участие. Возможно, моргание или запах Томаша насторожили их. Легкими скачками они исчезли в зарослях лещины, а он остался, почти сомневаясь, было все это на самом деле или только померещилось.

В другой раз он наткнулся на молодую лису, копавшуюся под пнем. Тут уж Томаш не просто созерцал ее мордочку и хвост — в нем пробудилось чувство долга, а также мысль, что он мог бы искупить все свои вины, если бы принес ее Ромуальду. Эта мысль заслонила собой всё, однако стоило ему прикоснуться к ружейному ремню, как лису подбросило, словно на пружине, и ни один листок даже не шелохнулся.

Но однажды оружие ввело его в искушение, и вышло это очень скверно. В верхних ветвях лещин он заметил извивы яркой змеи — частично среди зелени, частично в воздухе. Это была белка, хоть и не такая, каких он видел раньше, — может, потому, что горизонтальное перемещение удлиняло ее, придавая красоты. Под ней слышались испуганные крики маленьких птичек — видимо, она угрожала их гнезду. Томаш, не будучи в силах устоять, из одной любви к ней выстрелил.

Это была молодая, совсем маленькая белка: то, что снизу казалось ею самой, на самом деле было лишь следом от ее прыжков, в котором долго переливались цвета. Она сгибалась и распрямлялась на мху, держась лапками за грудь в белой манишке с проступившим кровавым пятнышком. Не умея умереть, она пыталась вырвать из себя смерть, как копье, которое внезапно вонзилось в нее и вокруг которого она только и могла вертеться.

Томаш плакал, стоя над ней на коленях, и лицо его дергалось от внутренних терзаний. Что теперь делать, что делать? Он отдал бы полжизни, чтобы спасти ее, но лишь бессильно участвовал в ее агонии. Этот вид был для него наказанием. Он склонился над ней, а ее лапки с маленькими пальчиками складывались, словно она молила его о помощи. Он взял ее на руки, и если в другой ситуации такое прикосновение вызвало бы у него желание целовать и ласкать, то сейчас он только сжимал зубы: уже не обладать — кричал голос внутри, — а отдать ей себя. Но это было невозможно.

Труднее всего было вынести ее крохотность и корчи — будто шарик ртути боролся с застыванием. Перед Томашем вновь приоткрылась какая-то тайна, но на такое короткое мгновение, что он сразу потерял к ней доступ. Плавные движения сменились конвульсивными подергиваниями, темная полоска впитывалась в шерсть на пушистых щечках. Судороги все слабее. Умерла.

Томаш сидел на пеньке, лес шумел. Минуту назад она играла здесь, собирая орехи. По каким-то причинам, которых он не мог ясно сформулировать, это было страшнее, чем смерть бабки Дильбиновой. Одна-единственная — никогда среди всех живущих на свете белок не найдется такой же, и никогда уже ей не воскреснуть, потому что она — это она, и никто другой. Но куда уходит ее ощущение, что она — это она, ее тепло, ее гибкость? У животных нет души. В таком случае, убивая зверя, ты убиваешь его навсегда. Христос не сумеет ей помочь. Бабка

взывала: "Спаси!". Христос привлечет ее к Себе и поведет. Он мог бы спасти и белку, раз Он всемогущ. Даже если белки не молятся. Но ведь эта белка молилась: молиться — это то же, что хотеть, хотеть жить. А виноват он, Томаш. Подлый.

Закопать ее в землю — она сгниет, не останется и следа. Нести ее он не станет; ему будет стыдно смотреть людям в глаза. Повернуться и уйти. Его внимание привлек высокий муравейник, построенный из сухих еловых иголок. Ничто не предвещало, что в нем кто-то живет, но по узким тропинкам к нему спешили большие рыжие муравьи, а когда Томаш снял верхний слой и засунул туда палочку, углубление закишело ими. Он копал дальше — до тех пор, пока из развороченных тоннелей не высыпали целые толпы метавшихся в панике муравьев. Тогда он принес белку, положил туда и засыпал. Они аккуратно объедят ее со всех сторон, пока не останется белый скелет. А он придет сюда и найдет его. Что делать с ним потом, он еще решит — лучше всего положить в коробку и спрятать куда-нибудь, чтобы сохранялся как можно дольше.

Дорогу он отыщет легко: сосна с кривым суком, затем камень, островок грабов. Он поднял берданку (незаряженную), перекинул через плечо и начал продираться к тропинке.

Подлость. Убивать не тех, кого защищают быстрота и полет, а лишь слабых, не чувствующих опасности. Белка даже не видела его, ничто ее не предупредило. Молодые тетерева крутили шеями — теперь уже в нем, — и он слышал глухой стук их голов, разбиваемых об деревце. Образ настолько живой, что Томаш прикоснулся к шероховатой коре, с которой каждый раз осыпались хрустящие пластинки. И другие угрызения совести. Правда, бабушка Мися рассказывала, что в детстве он собирал в саду виноградных улиток, чтобы из жалости бросать их в Иссу. Он думал (может, потому, что они выползают на дорожки после дождя), что этим окажет им услугу. Там, на дне реки они погибали, но он делал это из благих побуждений. Или утка, которой он подарил жизнь. Однако этого слишком мало.

Если бы он мог к кому-нибудь прижаться, выплакаться, пожаловаться. Внезапно Томаш ощутил такое острое желание, чтобы дуб, мимо которого он проходил по краю пасеки, превратился в живое существо, что скорчился от сосущего под ложечкой чувства, от страха, подобного тому, какой испытываешь на качелях. На сухой ветке покаркивала сизоворонка. Томаш всегда гонялся за ними, хотя они никогда не позволяли к себе приблизиться. Только две птицы обладают таким ярко-голубым оперением, точно летающие краски: зимородки и сизоворонки — *Corracias garrulus*, как он записал в своей тетради. Теперь он даже не поднял голову.

Уже так давно велись разговоры, что приедет мама и возьмет его с собой в город, где он будет ходить в гимназию... И вечно одно и то же: через месяц, скоро — а все без толку. "Мама, мама, приезжай", — повторял он, идя с берданкой в своих высоких охотничьих сапогах. Слезы текли по его лицу, и он слизывал их соленые капли. Слова мольбы не вызывали никаких отчетливых воспоминаний — лишь нежность и лучистость.

Но ему не нужна была такая лучистость, как в тот августовский день, — с зеркальцем воздуха, кружащимся над ржаным жнивьем. В последнее время его иногда посещало странное чувство: люди, собаки, лес, Гинье были такими, как всегда, и все же не теми, что раньше. Чтобы выдуть яйцо, на конце его проделывают дырочку и высасывают через соломинку все, что внутри. Так и здесь: от всего вокруг оставалась видимость, скорлупа. Вроде то же, что и прежде, но не то.

И скука. Вскакывая утром с постели, человек либо отвечает на призыв к радости, играм и труду — и тогда целого дня едва хватает; чтобы сделать все намеченное, — либо никакой зов в нем не звучит, и он не знает, куда и зачем идти. "Томаш еще не вставал?" "Что с тобой, может, заболел?" — "Нет". На берегу Иссы он не понимал, что ему там когда-то нравилось: листья были покрыты толстым слоем поднятой с дороги пыли, зной перезревающего лета, вода ленивая и маслянистая, с полосками налетевшего сора, которые медленно растягивало течение. Он извлек на свет свои удочки и очистил от ржавчины крючки. Червяк извивается в пальцах, острие крючка целится в розовую точку посередине, входит в нее — нет, уж лучше ловить на хлеб. Ему было все равно, задрожит ли поплавок: ловя рыбу, он лишь напрасно

повторял прежние, совсем другие действия, пытаясь пробудить в себе интерес, — и в конце концов забросил рыбалку.

Тогда он вытащил тетради по арифметике, к которым не притрагивался с тех пор, как после доноса Юзефа уроки прекратились. Решение ежедневно посвящать час занятиям выполнялось не слишком долго — он запутался в какой-то задаче и потерял охоту к учебе. Потом, вновь порывшись в библиотеке, нашел там книгу "Аль-Коран". Он знал, что это священная книга магометан. Видно, кто-то в Гинье интересовался их религией — прадед или прапрадед Томаша. Хотя некоторые абзацы были непонятны, он читал ее с удовольствием, ибо она учила, как человек должен поступать, что можно, а чего нельзя. Нравилась она ему и потому, что фразы, прочтенные вслух, звучали убедительно.

Висевшая без дела на гвозде берданка вызывала у Томаша чувство стыда за неисполненный долг. Он собирался пойти в Боркуны, но всякий раз откладывал это. Ромуальд не появлялся. Тетка узнала — видимо, от бабушки Миси, — что Томаш ходил с ним на тетеревов, но не подала виду, что это хоть как-то ее интересует.

— Томаш, помоги носить яблоки.

И он помогал. Даже усталость, после того как он таскал за Антонину полные корзины яблок, приносила некоторое удовлетворение. Он пользовался деревянным коромыслом, к обоим концам которого на крючках из раздвоенной ветки лещины подвешивались корзины. Сад арендовал теперь еврей, родственник Хаима. Большой подвал под свирном с полками, на которые укладывали лучшие сорта, терпко пах камнем и утопанной землей. Томаш грыз ранет, и упругая мякоть, которую он всегда так любил, удивляла тем, что ничуть не изменилась.

Прошло, наверное, около месяца, прежде чем он вспомнил о скелете, да и то ему пришлось заставить себя отправиться в лес. Муравейник он нашел, но белки в нем не было. Он так и не узнал, что с ней случилось.

LIX

Пост, который назначил себе Томаш, был строгим. Можно было только пить воду — без еды. Он решил выдержать так два дня. Сильнее, чем надежда избавиться от клейма, его подталкивала сама потребность в умерщвлении плоти. Он чувствовал, что это правильно, что так надо — по справедливости.

Причины у него были. Словно в знак того, что он не такой, как все, его поразила странная болезнь. Утром он украдкой приносил в кружке воду и старался смыть пятна с простыни. По ночам ему снились кошмары: Барбарка, голая, обнимала его и секла розгой. Печаль. Должен быть какой-то способ разорвать завесу. Потому что окружавшие его вещи были либо пусты внутри, либо — как ему иногда казалось — покрыты какой-то паутиной, лишавшей их четкости. Не выпуклые, а плоские. К тому же завеса скрывала секрет, раскрыть который он стремился, как во сне, когда человек бежит, уже вот-вот достигнет цели, но ноги словно налиты свинцом. Бог — почему Он создал мир, в котором смерть, смерть, и смерть? Если Он благ, то почему нельзя ступить шагу, чтобы не убить, пройти по тропинке, чтобы не раздавить гусениц и жуков, даже если стараешься на них не наступать? Бог мог сотворить мир по-другому, но захотел именно так.

Неудача на охоте и постыдный недуг исключили Томаша из общества людей, но тем самым склонили к размышлениям наедине со всем. Пост должен был очистить его, вернуть ему нормальность и в то же время дать понимание. Наказывая себя, человек демонстрирует отвращение к совершенному им злу и — своей наказующей частью — призывает Бога.

Томаш убедился в действенности этого способа. Утром ощущение пустоты — как перед святым причастием. Потом, через несколько часов, ужасно хочется есть, и приходится преодолевать искушение: ну, позволь себе хоть кусочек яблока. Чем дальше, тем легче. В основном он лежал и дремал, внутренне облагораживаясь. Но самое главное произошло с предметами вокруг — с небом и деревьями, — когда он вышел на крыльцо. Томаш открыл —

ни больше, ни меньше, — что, слабея, выходит из себя и, превратившись в точку, парит у себя над головой. Зрение этого второго "я" было острым и охватывало остальную часть себя как нечто знакомое, но в то же время чужое. Эта остальная часть уменьшалась, уходила вниз, вниз, и вся земля вместе с ней, но предметы на земле по-прежнему были видны во всех подробностях, хоть и летели на дно пропасти. Печаль отступала — слишком новый открывался вид. Антонина рассказывала, что богиня Верпея сидит на небе и прядет нити судьбы, а на конце каждой из них качается звезда. Если звезда падает, значит, Верпея перерезала нить — тогда какой-то человек умирает. Томаш, вместо того чтобы снижаться, напротив, устремлялся вверх, подобный паучку; который быстро поднимается на ветку, сматывая невидимую паутину.

Он осуществил задуманное, хотя к вечеру следующего дня совершенно ослаб, а, когда вставал, голова у него кружилась. На ужин он съел простоквашу и картошку; и никогда еще ее запах (с маслом) не казался ему таким чудесным.

В утешение Бог послал Томашу мысли, которые прежде никогда его не посещали. Стоя на газоне, он любил широко расставить ноги, наклониться и смотреть сквозь их ворота назад: перевернутый таким образом парк выглядел неожиданно. Пост тоже менял не только его, но и то, что он видел. Однако переставал ли при этом мир быть таким, как раньше? Нет. И новое, и прежнее существовало в нем одновременно. Если так, то, может, мы не совсем правы, когда сетуем, что Бог все плохо устроил? Откуда мы знаем, не проснемся ли мы однажды и не обнаружим ли еще одну неожиданность, удивляясь, какими раньше были глупцами? И, кто знает, не смотрит ли Бог на землю сквозь расставленные ноги или после такого долгого поста, с которым пост Томаша не идет ни в какое сравнение?

Но белка мучилась. Может ли кто-нибудь взглянуть на нее с другой стороны и сказать, что это нам только привиделось, что нет — она не страдала? Этого уже, наверное, не скажет никто, даже Бог.

Во всяком случае, благодаря посту перед Томашем открылась щель, сквозь которую падал соединявшийся с ним луч. Он прикоснулся пальцем к стволу клена и удивлялся, что его невозможно проткнуть. Там, внутри, ждала страна, по которой он, уменьшенный, бродил бы целый год и дошел бы до самой сути, до деревень и городов за пределами коры, в древесине. Впрочем, это не совсем так. Городов там нет, но их можно себе представить, потому что ствол клена огромен, и не только в человеке, который на него смотрит, но и в нем самом кроется возможность быть то одним, то другим.

Одиночество тяготило Томаша — он тосковал по растворению в другом человеке и разговору без слов. Однако его требования были чрезмерными. Бабушка Мися — да, но ведь он не мог бы ей ни в чем признаться, ее суть была не в этом. Что до исповеди, то он относился к ней прохладно. Его отпугивало испытание совести по вопросам из молитвенника, на которые нужно давать утвердительные или отрицательные ответы, не затрагивающие главного. Он носил свою вину в себе — всеобъемлющую и не поддающуюся разделению на грехи.

Боже, дай мне быть таким, как все, — молился Томаш, а демоны напрягали слух, обдумывая дальнейшие действия. Помоги мне научиться хорошо стрелять и не дай забыть, что я решил стать естествоведом и охотником. Исцели меня от этой мерзкой болезни (тут, учитывая низкий ранг многих демонов с берегов Иссы, трудно поручиться, что они не разражались беззвучным хохотом). А когда Тебе будет угодно просветить меня, дай мне понять. Твой мир — какой он есть на самом деле, а не каким мне кажется (демоны мрачнели, потому что, оказывается, дело было серьезнее, чем они думали).

Многочисленные противоречия, которые можно усмотреть в желаниях Томаша, для него самого противоречиями не были. Он скорбел о смерти и страдании, но воспринимал их как особенности мира, в котором жил. Поскольку это не зависело от его воли, он должен был заботиться о своей позиции среди людей, а ее можно занять, приобретая навык убивать. Теперь он предпочел бы поддерживать дружбу с Ромуальдом и ходить в лес без необходимости проливать кровь, но слагал с себя ответственность, хотя полностью избавиться от нее ему так и не удалось.

LX

— Мама! Мама!

Дионизий немного плаксиво, умоляюще обращался к старухе Буковской, но это не помогало.

— Сатана! — кричала она, стуча кулаком по столу, — Сатана, на беду я его родила. Позор! Позор!

Она очень покраснела, и Дионизий опасался за ее здоровье. Теперь она тяжело дышала, сгибалась на стуле и хваталась за живот.

— Ой-ой, как под ложечкой щемит!

И продолжала причитать:

— В грязь нас всех втоптал. Мать свою убьет — что ему. Ох, Дионизий, тошно мне.

Дионизий подошел к буфету, налил полстакана водки и поставил перед ней. Она осушила стакан одним бульком и вытерла губы. Вновь пододвинула к нему стакан, давая понять, что хочет еще. Он долил, радуясь, что она не отказывается от лекарства.

— Виктор, ты побудь с мамой.

И вышел на крыльцо. Там на завалинке сидел очень хмурый Ромуальд и курил.

— Ну как?

Дионизий сел рядом с ним и начал свертывать самокрутку.

— Кричит и изнемогает. Ты теперь лучше ей на глаза не лезь.

— Так я ж и не хочу.

— И надо тебе было? Не лучше потихоньку, подготовить?

Ромуальд пожал плечами.

— Разве ты ее не знаешь? Потихоньку — не потихоньку, все одно бы вышло.

Они замолчали. Куры копались под яблонями, где у них были насиженные места в рассыпчатой земле, усеянной следами их лап. За одной из них гнался петух; догнал, потрепыхался на ней, наконец отпустил, неловко слезая. Она отряхнулась, как всегда, удивляясь служившемуся, и сразу обо всем забыла, даже не успев над этим задуматься. Встряхивая гривой, скакал стреноженный конь. Дионизий вскочил, потому что конь полез на грядку созревающего мака. Поднял с земли палку, запустил в него и замахал руками, чтобы прогнать. По траве, меланхолично крикая, тащились утки — припекало солнце, сентябрь был сухой.

— Что же теперь будет? — спросил Дионизий.

— А что может быть? Пошумит, да и успокоится.

— Но как же это? Благословения, говорит, не даст.

Длинное лицо Ромуальда было темным от щетины и досады.

— Не даст и не надо. Что прикажешь делать? Ты маму слушаешься, а она и тебе жениться не разрешила. И так худо, и так нехорошо. Кто ей угодит?

— Однако ж, сам знаешь, хамка, — буркнул Дионизий.

— Твоя была шляхтянкой, а мама все равно не захотела.

Это было не совсем верно. В тот раз дело было в другом: не в избраннице, а в самом сыне, которого Буковская ревновала и предпочитала оставить холостяком. Теперь же случилось нечто действительно ужасное, а представить, как до этого дошло, было слишком трудно: так же трудно представить себе, как муха постепенно запутывается в паутине.

Шляхетский герб. На дне большого сундука лежали старые семейные документы — правда, после смерти старика Буковского, который еще умел их расшифровать, никто к ним не прикасался, но они были. Смешать кровь Буковских с кровью рабов, которых веками били кнутом, — значит втоптать шляхетский герб в грязь. Да, Буковские работали, как крестьяне, и никто по внешности не мог бы отличить их от крестьян, но каждый из них был равен королям, ибо когда-то они избирали королей. Если твои отец, дед, прадед и прапрадед ни перед кем негнули спину, трудно вынести мысль, что может родиться Буковский, в котором пробудятся

темные инстинкты угодливости, раболепства и лукавства, свойственные людям низших сословий. Тогда у него уже не будет никакой защиты в виде памяти о том, кто он и чем обязан своей фамилии; он тоже женится на крестьянке, и род растворится в грязной толпе, которая не знает и не хочет знать, откуда произошла.

Поэтому у старухи Буковской, стоявшей на страже чистоты крови, было достаточно поводов для отчаяния. У нее были основания злиться и на саму себя. Она не противилась тому, чтобы Ромуальд держал в Боркунах Барбарку, рассчитывая на его благоразумие, хотя некоторые детали должны были ее предостеречь. Барбарка слишком прочно обосновалась, слишком многое себе позволяла.

Ромуальд попросил объявить в костеле о помолвке. Ксендз Монкевич не подал виду; что у дивлен, но эта новость пролилась бальзамом на его сердце: то, что начиналось не по-христиански, кончается по — христиански, и даром что шляхтич — все-таки порядочный человек. Здесь можно задаться вопросом, правильно ли, со своей точки зрения, поступил Ромуальд, объявляя о помолвке. Если он хотел сохранить Барбарку, чтобы было кому тереть ему спину в бане, то правильно. Учитывая некоторые обстоятельства, трудно было жить, как прежде, а точнее, следовало ожидать, что будет трудно. Однако он решился на это не без сомнений и угрызений совести. Возможно, отчасти ему помог гнев на Хелену Юхневич, которая поиграла с ним, но в конце концов, не являясь вовсе, показала, что все это были сплошные панские прихоти: не про него честь.

Выдавить из себя решение в присутствии матери было для Ромуальда немалым испытанием, и он весь вспотел. Он много говорил о хозяйстве — что нуждается в помощи и должен жениться. На ком? Да хоть бы на — тут он произнес имя. Ответом был сардонический хохот. Он сказал, что все уже решил — тогда она подняла крик, стала бросаться стульями, схватила палку и начала его охаживать.

Вернувшись в горницу, Дионизий застал мать неподвижно глядящей в одну точку, со сжатыми кулаками на столе. Водки в бутылке значительно убыло. Виктор пялился на нее, сидя на кровати с полуоткрытым ртом. Голова ее тряслась.

— Позор.

И снова тихо, обращаясь к самой себе:

— Позор, позор.

Дионизий очень любил мать, ему было жаль ее. Однако говорить было уже не о чем. Со своего табурета он наблюдал за святым Алоизием, чья рука с пальмовой ветвью была засижена мухами. В стеклянной мухоловке на окне сыворотка была полна черных точек, которые еще двигались, а самые сильные топтали своих утонувших товарищей по несчастью, неуклюже волоча намокшие крылья.

LXI

Ничто не может сравниться со спокойствием бабушки Миси. Она покачивается на волнах великой реки в тишине вод за пределами времени. Если рождение — это переход из безопасного материнского лона в мир острых, ранящих вещей, — то бабушка Мися так и не родилась, навсегда оставшись *укутанной* в шелковый кокон Бытия.

Нога нащупывает мягкость одеяла и подтыкает его, наслаждаясь собой и даром осязания. Рука натягивает пушистую материю на подбородок. За окном белый туман, кричат гуси, по стеклу каплями росы стекает осенний рассвет. Спать дальше — или, скорее, балансировать на грани сна. Тогда ничто не достигает нашей внутренней точки таким, как это выражают мысли и слова; исчезает разница между одеялом, землей, людьми и звездами; остается единое, — которое даже не есть пространство, — и восторг.

Исходя из опыта своих утренних пробуждений, бабушка Мися понимала относительность названий, которые люди дают вещам, и относительность всех человеческих дел. Можно даже осмелиться утверждать, что учение, преподаваемое Церковью, не согласовывалось у нее с осязательной, большей истиной, а единственная молитва, в которой она

по — настоящему нуждалась, сводилась к повторению: "О". "Язычница", — говорила о ней бабка Дильбинова — и была права. Порок, который человек открывает в себе, совершая какие-либо действия, не затрагивал Мисю. Вместо того чтобы напрягать волю, стремясь к цели, она расслаблялась. Ни одна цель не казалась ей достойной усилий. Неудивительно, что она не вникала в нужды и заботы других. Хотят, нуждаются — а зачем?

Проснувшись окончательно и лежа с открытыми глазами, она думает о разных деталях повседневной жизни, но они для нее не слишком важны, и никогда бабушка Мися не вскочит в спешке, чтобы сделать что-нибудь недоделанное вчера или срочно нуждающееся в ее присмотре. Она упивается памятью о пребывании в бесконечности и мурлычет, пока ее поглаживает огромная рука. То, что для других было бы серией хлопот, для нее просто происходит, не более того. Например, Люк — тоже мне, партия! Или амуры Хелены — хотя с Ромуальдом, кажется, все кончено, — или эта реформа. А еще Гекла с ее постоянными обещаниями приехать, так что ни в одно из них уже не веришь.

Пожалуй, Невидимые, которые прохаживались по скрипучим полам среди потрескивающей мебели "гостиной", переживали из-за того, что она не переживает, больше, чем она сама из-за всех этих затруднений. Впрочем, должно быть, они уже давно отступились от нее. К их несчастью, трудно атаковать невинных, не сознающих греха. Хотя, возможно, собранные ими наблюдения помогли подобрать новый вид искушений, которыми они начали докучать Томашу.

Ковыряя в носу, что способствует осенним размышлениям, Томаш впервые задумался о Мисе как о личности и начал сурово ее осуждать. Ведь она — ужасная эгоистка, не любит никого, кроме себя. Но когда он пришел к такому выводу, из этого странным образом начали вырастать разные сомнения. Достаточно на нее взглянуть, чтобы понять, как она довольна своими коленями, ямкой в подушке, как она погружается в себя, словно в уютную перину (Томаш чувствовал Мисю изнутри, или ему так казалось). А разве он сам не похож на нее? Разве ему — так же, как ей, — не лучше всего, когда он нюхает свою кожу, сворачивается клубком, наслаждается тем, что он — это он? Тогда — благодарность Господу Богу и молитва. Только нет ли в этом какого-то обмана? Бабушка Мися набожна. Хорошо, но не самой ли себе она поклоняется? Вот говорят: Бог. А что если это только любовь к самому себе так рядится, чтобы красиво выглядеть? Ведь что мы по — настоящему любим? Свое тепло, возможно, биение своего сердца, свою закутанность в одеяло.

Нельзя отказать демонам в смекалке. Какая неожиданная удача — подорвать доверие Томаша к внутреннему голосу, лишить его покоя, пользуясь его мнительной совестью. Теперь он уже не сможет попросить Бога, чтобы у него в голове прояснилось, ибо, падая на колени, будет думать, что падает на колени перед самим собой.

Томаш хотел верить себя Богу Истинному, а не мгле, которая клубится над нами, питаюсь тем, что внутри нас. Стоило ему немного обуздать свою склонность к самоистязанию после того поста, стоило пережить несколько радостных пробуждений, как он уже снова терял точку опоры, размазывал по стеклу туман, а по лицу его текли слезы одиночества.

Тем временем бабушка Мися каждое утро купалась в своих наслаждениях, и ей даже в голову не приходило, что это может быть для кого-то соблазном.

LXII

— Сейчас все кончится.

Этот голос или сигнал вибрировал в воздухе над сухой травой, в которой пели сверчки. Бальтазар пошатывался, стоя на тропинке, пораженный распадом вещей. Откуда он здесь? Что делает? Что общего у него со всем этим? Размазанные и плоские, предметы метались перед ним, вызывая отвращение своей чуждостью. Он витал посреди пустоты. Хуже того — у нее не было середины, а земля не давала ногам опоры, бессмысленно убегая из-под них. Он шел, а от него в обе стороны разлетались искры насекомых. Зачем они, всегда одни и те же? Прыгают.

— Сейчас все кончится.

Лесенка закрипела, горница пуста, жена с детьми поехала в Гинье, к матери, жбан с пивом на столе, рядом каравай хлеба. Он наклонил жбан, отпил несколько глотков и со всей силы хватил его об пол. Брызги коричневой жидкости звездообразно расплескались по шершавым доскам. Он ухватился за стол; запах вымытого щелоком дерева, весь этот слегка прелый запах дома был ему омерзителен. Оглядываясь по сторонам, он заметил прислоненный к печи топор. Подошел к нему, схватил и, покачиваясь, с топором и опущенной руке вернулся к столу. Затем размахнулся и ударил сверху — не поперек, а вдоль, и не вслепую. Стол с треском рухнул, каравай покотился и упал коркой вниз, показав обсыпанное мукой дно.

Из другой комнаты Бальтазар принес большую, оплетенную лозой бутылку и поставил на пол. Потом пнул ее ногой. Прислонившись к стене, он смотрел, как жидкость с бульканьем растекается в большую лужу, подступая к сломанному столу и огибая хлеб. Это зрелище увлекло его, потому что из всего, что было вокруг, именно оно вдруг приобрело силу, четкость. Набухшая по краям материя лениво расплзлась, затекая под лавки, оставляя островки, которые тут же затопляла. В ней словно уже содержалось все необходимое, и, думая только о ней, Бальтазар вынул из кармана спички.

Вот тогда он и испытал тот миг на грани бытия и небытия: секунду назад не было, а секунду спустя есть — навсегда, до окончания века. Его пальцы сжимали коробок, пальцы другой руки приближали к нему палочку с черным концом. Быть может, он всегда хотел быть чистым актом, вспышкой творения — так, чтобы следствие никогда не отягощало: ведь оно догоняло его, когда он, недоступный для прошлого, уже сосредотачивался на новом акте. Он чиркнул спичкой о коробок — вспыхнул язычок пламени. Бальтазар долго всматривался в него, словно видел впервые в жизни, пока не обжегся. Пальцы разжались, и спичка, упав, погасла. Он вынул новую, с размаху чиркнул ею и бросил. Погасла. Он зажег третью, наклонился и медленно приложил ее к разлившемуся керосину.

Затем опрокинул на стелющийся огонь лавку и вышел. Блуза его была расстегнута, подпоясываться он не стал. В кармане табак и бутылка водки.

— Сейчас всё кончится.

Будущее. Его не было. Голос знал, небо бледное и ясное, сверчки поют, день, мочь, день — их уже не будет, они не нужны. Откуда-то приходит и укрепляется уверенность. Знал ли Бальтазар, куда идет? Он шел. Но обернулся и — ужас следствия, ужас неисправимого при виде дыма, сочившегося из открытых окон дома. Этот вечный протест Бальтазара против закона, гласящего, что любое действие не остается само в себе, но приковывает нас цепью. И бутылка, извлеченная дрожащими пальцами, и падение в траву; а потом переход на четвереньки, и вопль, когда кажется, что кричишь, но из горла вырывается лишь хриплый шепот.

Вероятно, у Бальтазара хватило бы самообладания, чтобы бежать и тушить дом. Но он даже не подумал, что можно так поступить. Он давился криком не из за того, что сделал, а из за того, что должен был это сделать и, может быть, уже держа спичку; сознавал одновременно и свою свободу; и то, что он сделает именно это и ничего другого. Точно так же, стоя на четвереньках, подобно зверю, он знал, что не вскочит и не побежит тушить пожар.

К нему, извиваясь, как змея, ползла фигура с деревянным мечом, описывая им круги соломенного цвета. Бальтазар видел ее сверкающие глаза с вертикальными прачками и лукаво распростертое тело. Он вскочил и, тяжело дыша, вырвал из изгороди толстый кол, а в граве перед ним никого не было. В воздухе раскачивались нити бабьего лета слегка изогнутые сверкающие линии. Лес вокруг золотой от солнца, знойная тишина.

Никого — ни врага, ни друга, кроме неуловимого и потому страшного присутствия. Бальтазар резко обернулся, чтобы отразить нападение сзади. Откуда-то из канавы с треском вылетела сорока. Дым из окон шел столбами, которые поднимались над гонтом крыши и образовывали пелену, тянущуюся над верхушками грабов.

— Сейчас все кончится.

— Лес.
— Государственный.
— Нет.
— Разве это лес?
Это Бальтазар.
— Бальтазар горит.

Погирские мужики выходили из садов на жнивье, чтобы было лучше видно. Затем созывали друг друга, хватали ведра, багры, топоры и всем миром спешили на помощь. За мужчинами бежали дети и собаки, за ними — кучка любопытствующих женщин.

В том, что случилось потом, нужно отделить предположения от действительного хода событий. В любой реконструкции фактов, даже если с виду они очень логично между собой связаны, есть бреши, и если их заполнить, все предстает в совершенно ином свете. Однако никто не пытается этого сделать — этому мешает удовлетворенность достигнутой ясностью.

Бальтазар поджег свой дом и затаился там, где по обе стороны скотопогонной дороги кончались его изгороди. Затаился он, поскольку ожидал, что пожар заметят в Погирах и придут тушить, а он решил этого не допустить. Таковы предположения. На самом деле никакого умысла в его действиях не было: он сидел в траве и стучал зубами от страха перед угрожавшими ему ползучими тварями и мистическими сороками. Многие объясняют дисгармонию между его духом и телом. Дух мог полностью погружаться в хаос и ужас, однако тело сохраняло самообладание и быстроту реакции — отяжелевшее, но по-прежнему могучее. Поэтому со стороны казалось, что оно подчинено целенаправленной воле.

Погирцы издали видели пламя и слышали отчаянный вой пса, к чьей будке уже подбирался огонь. Занятые этим, они остолбенели, когда внезапно он вырос перед ними словно из-под земли — всклокоченный, дикий. В руке у него был все тот же вырванный из изгороди кол. Желая сделать оборонительное движение, он замахнулся. Он не ожидал появления людей. Для него это было нечто — наступавшее широким фронтом, светившееся множеством лиц.

Впереди шел старик Вацконис. Видя, что Бальтазар поднял кол, он заслонился топором. Тогда тело Бальтазара почуяло опасность и сделало свое дело. Кол со всей силы, сообщенной ему рукой, опустился на голову Вацкониса, и тот упал.

— Убил!

— Уби-и-ил!

И второй крик — призыв к единению:

— Eј, Vugai!⁹⁰ — Эй, мужчины!

Это был вырубленный участок, между пнями росли молодые дубки, а там, где лес корчевали, среди зелени темнели ямы. Полтора десятка людей с воплями неслись, перепрыгивая через эти ямы, их рубахи хлопали на бегу. Бальтазар убежал в сторону высокого леса. Теперь он был лишь сопротивляющимся телом, и оно определяло его цель. Он не думал, но знал, что игра идет не на жизнь, а на смерть, поэтому целью был обрез, спрятанный в дупле дуба.

Однако они тоже знали: если он уйдет в лес, им его уже не поймать. Они отрезали ему путь вперед, и он повернул налево; они снова побежали наперерез, он повернул еще больше и угодил в ольшаник, отделенный от леса его собственным полем, а с другой стороны граничивший с пастбищами.

В засохшей грязи Бальтазар начал увязать, из-под его сапог летели комья черного торфа. Бежать дальше у него не хватало дыхания. Он должен был, но дыхания не хватало, и он с воем полз на четвереньках, утопая в липком месиве, а сердце его разрывалось. Тем временем погоня остановилась. Они совещались. Чтобы схватить его, им нужно было окружить ольшаник и

⁹⁰ Так у автора. Правильно по-литовски пишется: "Ei, vugai"

устроить облаву. Они решали, кто куда пойдет. Бальтазар слышал их и подыскивал себе оружие. Кол он бросил, убегая. Ему удалось нащупать толстую палку, но та оказалась трухлявой и рассыпалась, поэтому он схватил камень.

Люди из Погир могли теперь свести с ним давние счеты — с преступником, который бросился убивать их за то, что они по-соседски пришли ему на помощь И, несомненно, хотели забить его до смерти. Они понимали, что Бальтазар силач, что на него надо идти всем вместе, и подбадривали друг друга ругательствами.

Мелко вздрагивая, движутся стрелки часов; одновременность жестов, взглядов, движений на большой земле, гребень касается длинных блестящих волос, в зеркалах отражаются пучки света, гудят туннели, взбивают воду винты кораблей. Сердце Бальтазара билось, отмеряя время, из открытого рта текла слюна — нет, нет, еще не сейчас! Жить — как угодно, где угодно, лишь бы жить. Он искал убежища, вжимался в грязь, рвал торф, словно желая зарыться, выкопать себе нору. Эта сцена — он здесь, а они вокруг — была словно подтверждением голоса или сна. Это неизбежно должно было случиться. Спрятаться ему было негде. Ольшаник, густой по краям, здесь был довольно редким, старые деревья не пропускали свет, необходимый кустам. Полумрак, толстые корни, между ними следы коровьих копыт и кое-где плоские лепешки навоза. Они не пройдут мимо, увидят его издалека. Обрез. Нужен обрез. Нет обреза.

Быть может, Бальтазар должен был выйти к ним с поднятыми руками. Для этого ему нужно было отделить пожар дома и призраков от людей из Погир. Однако они явились как исполнит ели, связанные со всем предыдущим. Глаза его были вытаращены, вылезали из орбит; в руке он сжимал камень.

Они стучали по стволам деревьев, как на настоящей облаве. Их голоса приближались. Тактику, избранную Бальтазаром, следует приписать остаткам его сознания. Вместо того чтобы ждать, он двинулся к ним — к тем, кто шел со стороны поля. Возможно, если бы он застал их врасплох, ему удалось бы убежать. Но он был слишком тяжел, начал увязать и не разогнался как следует.

Он напоролся на молодого человека, известного в округе тем, что девушки на всех вечерках считали его лучшим танцором. Бальтазар почти столкнулся с ним и с расстояния двух шагов запустил ему в лицо камень. Если ты хороший танцор, это свидетельствует об известной ловкости: парень уклонился. Четверть секунды — и камень со свистом пролетел мимо его головы. Бальтазара от острия топора спас прыжок за дерево. Поднялся крик:

— Вон он! Вон он! Вон он!

Снова бросившись бежать, Бальтазар обеими руками ухватился за молодое деревце и вырвал его с корнем. Как он это сделал, непонятно — это было выше человеческих сил. Вооруженный этим деревцем как огромной палицей, измазанный в грязи, он встретил бежавших ему навстречу людей.

— Вон он! Вон он! Вон он!

Овцы в лучах солнца взбивают пыль на травяном ковре. Под яблоней шуршит еж. От берега отчаливает паром, человек держит под уздцы лошадей, которые храпят, вдыхая запах воды. Высоко в небе, над землей, покрытой мхом лесов, летят журавли и перекликаются: "Кру-у, кру-у".

Они схватились на полянке. Воздух засвистел от замаха Бальтазара, но в ту же секунду на его плечо обрушилась палка; пальцы его разжались и выпустили деревце. Багор с железным крюком на конце, чтобы срывать горящие крыши, — его толстое ясеневое древко сжимал обеими руками Вацконис — сын — поднимался для удара.

Если бы можно было остановить одно мгновение происходящего на всем свете, заморозить и смотреть, будто оно в стеклянном шаре, отрывая его от мгновения "до" и мгновения "после", превратить линию времени в океан пространства. Нет.

Череп Бальтазара затрещал. Он пошатнулся и рухнул во весь рост. Слышно было сопение усталых людей, эхо повторяло "вон он", грохотали поспешные шаги остальных.

Между тем догорали дом Бальтазара, конюшня, коровник и хлев. Из всего хозяйства в

лесу уцелел только сеновал.

— Поделом ему.

— Чертов сын.

LXIV

Старик Вацконис умер, но Бальтазар остался жив. Его перевезли в Гинье, в дом тестя. Сурконт сразу же послал за доктором. Никогда еще Томаш не видел дедушку таким раздраженным. Он, всегда такой добродушный, теперь отвечал резко, отворачивался, его коротко стриженные седые усы топорщились, скрывая какие-то невысказанные слова. Он пошел в село и сидел у постели больного, который не приходил в сознание.

Большая керосиновая лампа, поставленная на табурет, ярко светила. Бальтазар лежал на кровати, с которой убрали все подушки, оставив только одну — у него под головой. С него смыли грязь и кровь, иссиня-смуглое лицо оттеняла белая повязка из грубого полотна. Надо было его соборовать, но тогда, вопреки всем ожиданиям, он открыл глаза. Взгляд его был как будто удивленным, спокойным. Казалось, он не понимает, где находится, и что все это значит.

Настоятель, связанный тайной исповеди, не разглашал услышанного и лишь уверял, что Бальтазар был в полном сознании. Быть может, внезапное потрясение освободило его от паутины и тумана, в которых он плутал. Его разговор с ксендзом продолжался долго. Потом, с течением времени, Монкевич начал кое-что рассказывать, находя оправдание в пользу, которую он из этого извлекал. Он подкреплял некоторыми подробностями свои проповеди о ловушках, подстерегающих человеческую душу и таким образом многие факты стали достоянием общественности.

Хотя ксендз Монкевич был опытным священником и слышал в своей исповедальне всякое, все же он был поражен. Не столько тяжелыми грехами (в них Бальтазар исповедался ему впервые, словно прежде не осознавал их и вдруг увидел), сколько, пожалуй, отчаянием или упорством, с каким этот человек возвращался к мысли, что он осужден. Настоятель объяснял ему, что никто не имеет права так говорить, что милость Божия безгранична, и раскаяния в грехах достаточно, чтобы получить прощение. А раскаивался Бальтазар искренне и глубоко. Настолько глубоко, что обращал свое раскаяние против всего, чем был прежде, не щадя ничего. Он внимательно слушал ксендза, но спустя мгновение повторял свое: "Мне ничего не поможет" и "он здесь".

Стало быть, Бальтазар воспринимал ясность, с которой видел свое прошлое, как светлый круг в темноте, откуда он пришел и куда уходил. У него уже выработался навык ожидать все новых ухищрений, которые ввергнут его в прежние страдания. А слова "он здесь" звучали так уверенно, что ксендз Монкевич беспокойно оглядывался.

Виновному в столь тяжелом прегрешении, как отчаяние, он должен был отпустить грехи и преподать последние таинства. До сих пор настоятелю не приходилось иметь дело ни с чем подобным и, мучимый совестью, желая быть в ладу с самим собой, он пытался обнаружить у Бальтазара хоть тень надежды. Ему удалось добиться того, что больной уже не возражал, — впрочем, просто потому, что явно слабел. Пребывание с ним расстроило нервы Монкевича — словно недуг, который ему пришлось лечить, был заразным, а он мог противопоставить Злу лишь немного, но не хотел в этом признаваться.

Когда в горницу вошли люди, Бальтазар от недостатка сил или желания ничем не обнаружил, что замечает их присутствие. Он всматривался в одну точку и туда, в пространство, сказал:

— Дуб.

Относилось это к обрезу в дупле дуба в силу простого автоматизма возвращения к прошлому, или выражало какую-то мысль? Сразу после этого он потерял сознание.

Доктор Кон приехал поздней ночью. Он сказал, что шансы есть — вот если бы, например, операция... Но для этого нужно везти его на лошадях, а потом по железной дороге в большую больницу. Иными словами, оставалось ждать и не утруждать себя ненужными хлопотами.

Бальтазар дожид только до утра. Подсолнухи выставляли из тумана свои черноватые диски, сонно кудахтали куры, стряхивая с крыльев росу. Тогда он еще раз окинул взглядом потолочные балки над головой, липа людей, и все это, вероятно, показалось ему странным.

— Ребята, вместе.

Это были его последние, непонятные слова, и спустя несколько минут он умер.

Утром уже не было нужды туда заглядывать. Поэтому для Томаша маска смертного покоя не заслонила образа живого Бальтазара. Верхняя губа немного по-девичьи приподнята, тени и усмешки пробегают по круглому, всегда слишком молодому лицу — пусть он таким и останется.

— Ну? Что я говорила? Допился до смерти, мерзавец, — и бабушка Мися крестилась, прибавляя: — Упокой, Господи, его душу.

Антонина вздыхала, сетуя на судьбу человека, который сегодня живет, а завтра гниет. Что касается Хелены, то она совсем забыла, что вынашивала планы переселить Бальтазара и переехать в его дом. Она лишь сожалела, что столько добра сгорело, но это сожаление вытекало не из эгоизма, а из заботы о плодах трудов человеческих.

На похороны пришли все жители усадьбы. Шел дождь, и Томаш прижимался к бабушке Мисе, держа над ней раскрытый зонтик. Капли святой воды с кропила настоятеля исчезали в струях ливня, шумевшего в листьях дубов.

Настоятель размышлял о случае Бальтазара, и мысли его путались. В правильности сделанных выводов он уверился, лишь когда привык произносить их вслух и утверждаться в своем мнении через многократное его повторение. Он говорил о людях, которые не позволяют проникнуть в свое сердце Святому Духу: человеческая воля свободна, но устроена так, что может либо принять, либо отвергнуть дар. Он сравнивал ее с ключом, бьющим на вершине горы: сначала вода разливается, ищет себе путь, но в конце концов должна потечь в ту или иную сторону.

Не будучи ни слишком хорошим проповедником, ни богословом, Монкевич после смерти Бальтазара умел пронять своих слушателей, в чем ему помогало взаимопонимание с ними — они всегда знали, кого он приводит в качестве примера. Бальтазар довольно долго занимал заметное место в памяти людей. Женщины любили страшать им своих мужей, если те слишком много пили.

Дедушка Томаша заказал за душу лесника несколько месс. Настоятель, принимая деньги, любезно благодарил его и злился на себя на эту ненужную любезность, от которой он так и не сумел избавиться в общении с панами. В то же время он думал свое. Вероятно, он был недалек от мысли, что частично Бальтазар стал жертвой усадьбы. Правда, лишь частично, но нее же.

Итак, Бальтазара больше нет, и это "нет" не так — то легко себе представить, если учесть, что его произносят уста, которые через несколько лет или минут тоже окажутся в сфере "нет". Зато бочки, в которых Бальтазар гнал самогон, несомненно, осязаемы. Люди из Погир перенесли их поближе к деревне и успешно использовали. Бочки эти стали причиной раздора между ними, а также обвинении в воровстве, выдвигавшихся семьей покойного. Огородом же Бальтазара пользовались кабаны.

LXV

Березовые рощи в мае нежно-зеленые — на фоне темных еловых лесов они выделяются полосами света, в какой мы склонны облекать планету Венеру. Осенью эти рощи светло-желтые и поблескивают солнечными лоскутками. Красная листва осин горит на верхушках огромных подсвечников. А еще октябрь в лесу — это цвета спелой рябины, палевой растительной шерсти и опавших на тропинки листьев.

Они охотились там, где холмы спускаются к болотам, и видели перед собой крутые склоны в их вздымающейся красоте. Воздух в то утро был прохладным и прозрачным. Ромуальд сложил ладони рупором и звал собак:

— Ха ли! То ли! Ха ли! То ли!

— О-о-о-о-ли-и-и! — разносило эхо.

Томаш стоял рядом с ним. От сомнений и самоистязаний не осталось и следа — они показались ему надуманными, еще когда Барбарка сказала после мессы, что Ромуальд приглашает его в следующее воскресенье на охоту с гончими. Правда, он не знал, как относиться к Барбарке после новости о скорой свадьбе, обсуждая которую дома лишь пожимали плечами и высказывали не слишком лестные замечания. Но, по правде сказать, он никогда не знал, как к ней относиться. Главное, Ромуальд его зовет. Значит, возможно, не было никакого презрения, и все это ему только казалось. И точно, Ромуальд встретил его, удивляясь, отчего Томаш так долго не появлялся, и расспрашивал, что он подделывал.

Томаш был счастлив. Он вдыхал острые запахи, его легкие наполнялись ощущением силы. Он расправил плечи и, оттолкнувшись от земли, мог бы прыгнуть на сто или двести метров и приземлиться, где угодно. Приложив ладони ко рту, он подражал Ромуальду:

— Ха ли! Толи!

— Угс туг, — пролопотал Виктор. — Гам, — и показал рукой.

Собаки бежали внизу, по лужайке. Впереди Лютня, за ней Дунай и Заграй. Они ничего не нашли, и нужно было позвать их, чтобы перейти на новые позиции.

Мир казался Томашу простым и ясным, оборвалась его связь с самим собой, погруженным в раздумья. Вперед! Он нащупал за спиной замок ружья, и этот холод радовал. Чему бы ни суждено сегодня случиться, все должно быть хорошо.

Томаш всегда считал будущее складом готовых вещей, ожидающих исполнения. В него можно проникнуть предчувствием, поскольку будущее каким — то образом заключено в теле. Некоторые живые существа выступают в качестве его представителей — например, кошка, перебежавшая дорогу. Но прежде всего нужно вслушиваться во внутренний голос, отзывающийся либо радостно, либо глухо. Если будущее дано, а не создается здесь и сейчас, имея возможность в любой момент стать тем или иным, то какова тогда роль нашего желания и наших усилий? Этого Томаш не мог себе уяснить. Он знал, что должен покоряться совершающимся через него предначертаниям, поэтому каждый его шаг принадлежал ему и в то же время не принадлежал.

Он покорялся. Голос звенел радостью как кристалл. Ноги ступали по слою прелых листьев, металл ружья позвякивал о колечко на поясе. В пихтовых рощах тишина, лишь порой промелькнет ореховка с крапчатой шей; в больших муравейниках ни малейшего движения — оно происходит где-то внутри этих погружающихся в зимний сон государств. Томаш шел бы так часами, но тут Ромуальд остановился и, поглаживая щеку, стал раздумывать, в какую сторону пойти. Здесь сходились три тропинки, и они выбрали ту, что шла по краю довольно крутого косогора. Кое-где они смотрели на верхушки елей сверху, видя их у себя под ногами, в других местах лес спускался постепенно, его пересекали овраги, окруженные полуголыми лещинами, а на дне — яркая зелень трав. У одного из таких оврагов Ромуальд оставил Томаша, велел ему следить и за тропинкой, и за прогалиной внизу. Томаш смотрел на удаляющиеся спины Ромуальда и Виктора с сожалением — нам всегда кажется, что товарищей, идущих дальше, ждет что-то более интересное.

Он прислонился к стволу сосны. Потом присел, положив ружье на колени. Напротив него послышался шорох. Томаш присмотрелся и увидел мышь, высунувшую носик из норки под плоскими корнями. Носик принюхивался, смешно шевелясь. Решив, что опасности нет, мышь побежала, и он потерял ее из виду среди палевых листьев. Его внимание привлек еще один шорох — из гущи веток что-то легко сыпалось. Он встал и задрал голову, но ель, с которой летела шелуха от шишек, была огромной. Там, высоко, возились маленькие птички, мелькнуло крыло, сквозь которое просвечивал солнечный свет, но кроме этой возни он не смог ничего разобрать. Томаш обошел дерево вокруг — все без толку. А его так и подмывало что-нибудь разведать — ведь он даже не знал, как они называются, и не мог разглядеть их с такого расстояния. Вообще с мелкими птицами у него было больше всего хлопот. Например, Ромуальд, когда его спрашивали об их видах, только махал рукой: "А кто их знает?"

Томаш вздрогнул и очнулся, потому что вдруг услышал в глубине леса гон. Как будто

орган внезапно загудел в костеле: не отдельные голоса, а сильно нажатая педаль, хорал, который с первых же тактов развивался в восходящую и нисходящую мелодию. Эхо усиливало его, и Томаш сжимал ружье, вперивая взгляд то в рыжую тропинку; то в дно оврага. Он не понимал, в какую сторону бегут собаки. Звуки гона то нарастали, то затихали, а сама их ритмичность и вся чаща, превращенная в глубоко урчащую грудь, действовали так, что Томаш даже перестал прислушиваться, откуда раздаются голоса. Если бы он был с Ромуальдом, то узнал бы, что хотят сообщить гончие, и пришел бы в возбуждение, но этот язык для него ничего не означал и был достаточен сам по себе.

Кажется, удаляются. Он уже не верил, что прямо здесь, перед ним может появиться зверь, и постепенно поддавался той лени, которая охватывает нас, когда мы считаем, и всё сходится, и уже неохота проверять дальше, или когда исключаем несчастный случай. Своим прочным существованием зелень на дне оврага и тропинка отрицали возможность чего-то другого, добавленного к ним. Впрочем, Томаш был отчасти прав: Ромуальд, не слишком уверенный в меткости его выстрелов, поставил его там, где вероятность была ничтожной, — он знал, что зайцы редко бегают через эту прогалину.

Бездеятельно вслушиваясь в зов леса, Томаш погрузился в мечтательное состояние. Свободный от ответственности и безмятежный, он начал забавляться, разгребая подстилку и краем подошвы прокапывая в земле ямки. В голову ему приходили образы, совершенно не подобающие его возрасту: эта ямка — канал, здесь река, теперь надо провести еще один канал. А гон продолжал свой разговор с пространством, и его отголоски шли по верхушкам бора.

Как же Томаш не заметил, что собаки гонят иначе, чем всегда, что в их голосах звучит просьба: внимание! внимание! Нет, витая в облаках, ни о чем не думая и ротозействуя, он не ожидал, что приговор уже вынесен, что трагедия приближается.

Все было подготовлено так, чтобы удар сразил наповал. Доверчивость героя. Его долго взращиваемый страх, а затем избавление от страха, то есть та точка слабости, любви, желания, без которой человек никогда не стал бы целью молний; и обманчивая веселость, и обещание, что пережитые в прошлом страдания больше не повторятся. Наверное, нет истинной трагедии без неведения: вот на него уже направлены снопы прожекторов, вот он движется окутанный ими под пристальными взглядами затаивших дыхание зрителей. Безумец, он ничего не ожидает, слишком поддавшись магии слуха, копая ямки, которые принесут ему — погибель.

Собаки гнали козла.⁹¹ Идя по его следу, они описали большую дугу, и их лай донесся до Томаша откуда-то из долины. Услышав этот лай, он поднял голову и устремил рассеянный взгляд туда, далеко. И тогда прямо перед ним ударила молния: не то чтобы он ее увидел — он всем телом ощутил, что субстанция оврага взрывается новой, неизвестной вещью. Одновременность изумления, вскидки ружья, выстрела и мысли: "это козел", — но в бессознательном состоянии, с тем отчаянием свершившегося, когда нажимаешь на спуск и уже знаешь, что промахнулся.

Рот Томаша был открыт. Он еще не осознал смысла случившегося. Затем из его уст вырвался стон, он в бешенстве швырнул ружье на землю — все вокруг лишилось своего содержания — и присел, всхлипывая, простреленный навывлет жестокостью судьбы.

Ветерок покачивал над ним пушистые сосновые лапы. Собаки смолкли. Так значит, его безмятежность была всего лишь ловушкой. Почему, почему внутренний голос давал ему уверенность? Как сумеет он вынести это безграничное унижение? Теперь козел замер под его пальцами, сжимавшими веки, — застыл в прыжке, согнув передние ноги и откинув назад шею. Если бы на одно мгновение раньше, на одно мгновение. Ему было в этом отказано.

Кусты зашелестели, оттуда, скуля, выскочила Лютня и обратила к нему взгляд; за ней двое других — они не понимали. Теперь еще и их разочарование — человек выстрелил и уронил достоинство человека. Он неподвижно сидел на пеньке с ладонями на пылающих щеках. Хрустнула ветка под сапогом — это шли судьбы.

⁹¹ Козел (охотн.) — самец косули.

Ромуальд встал над ним.

— Где же козел, Томаш?

Он не шелохнулся, не поднял глаз.

— Я промазал.

— Так он же ж прямо на тебя пер. Я бы мог забежать, да думаю — пускай Томашу достанется.

И подошедшему Виктору, раздраженно:

— Томаш козла упустил.

Каждое слово вонзалось в Томаша как холодное острие. Никакого спасения. Он боялся взглянуть на их ища. Загнанный в себя, в свою тюрьму, в обманувшее надежды тело, от которого он не мог отречься, Томаш стискивал зубы.

Обратный путь в молчании. Те самые, совсем недавно милые ему развилки и повороты — теперь бесцветные скелеты. Чем он это заслужил? Еще более мучительной, чем стыд, была обида на себя или на Бога за то, что предчувствие счастья ничего не значит.

На лугу, где надо было поворачивать в Боркуны, он сослался на то, что его ждут дома, и попрощался.

— Томаш! Ружье! — кричали они ему вслед.

Берданка осталась у них, прислоненная к ольхе. Он не обернулся, засунул руки в карманы и пытался насвистывать.

LXVI

Томашу было полных тринадцать лет, когда он сделал открытие: после настоящего отчаяния обычно приходит настоящая радость, и тогда забываешь, как выглядел мир, пока ее не было.

На астрах лежит иней. Ветка с покрытым изморозью кончиком качается — с нее слетела синица. Он стоит под грушей напротив окна, где раньше жила бабка Дильбинова, и вдыхает запах сморщенных коричневых плодов на земле — запах увядающего сада. Затем смотрит в щель между ставнями. Нет, наверное, еще слишком рано. Она спит. А может, уже проснулась? Он подходит к ставням и осторожно поднимает крючок, но тут же отводит руку.

Им овладела новая тревога: а заслуживает ли он ее — учитывая все то, что у него внутри? Если между ними стоит корзинка с фруктами, он выбирает самое плохое яблоко — чтобы она случайно его не взяла. Накрывая на стол, следит, чтобы ей достались тарелки без единой щербинки (в доме почти все выщерблены), кладет вилку, раздумывает — ему кажется, что он положил себе хорошую, а ей немного потертую, — и быстро меняет. Разбудить ее — да, ему уже очень хочется, но это был бы эгоизм.

Из-за пруда эхом отзывается неровное гудение молотилки. Он обходит дом, вбегает на крыльцо, где сохнут семена настурции, и сталкивается в кухне с Антониной. На полу в коридоре доски с легкими вмятинами от многолетнего хождения. Он заглядывает в гардеробную. Вот взвесит этот узел с шерстью, а потом послушает у нее под дверь. Он снимает со стены безмен, зацепляет крюк за углы полотнища и двигает латунный стержень. На секунду это отвлекает его, но внезапно он все бросает и прикладывает ухо к двери. Больше он уже не может сдерживаться и нажимает ручку — тихо, чтобы без скрипа заглянуть в щелочку. Но дверь скрипит, и из комнаты слышится ее голос: "Томаш!".

Тогда, вернувшись с охоты, он заболел. Еще по дороге он трясся, а дома, стуча зубами, быстро разделся и залез между простынями. Бабушка Мися дала ему потогонный отвар из сушеной малины. Он уже носил в себе болезнь, и обманчивое упоение, испытанное утром, предвещало горячку, а может, болезнь была ему нужна. Подтягивая колени к подбородку, он желал лишь одного: забиться в нору и ощущать на себе тяжесть одеяла и кожуха. Это было несколько недель назад, но как это было давно...

Каштановые волосы, лежащие на подушке, когда Томаш подходит к ней в полумраке, она заплетает в косу, сидя перед зеркалом и склоняя голову набок. Однако сначала он

прикасается губами к ее щеке и присаживается на кровать — на самый твердый край, торчащий выше матраса. Шпилька или что — то другое, чего нельзя как следует разглядеть, таинственно поблескивает на столике. Потом ставни открываются, Томаш смотрит на нее сзади, в зеркале ее глаза — немного раскосые, серые или с таким блеском, что не знаешь, какого они цвета. Толстые брови опускаются, когда она смеется, так что глаза прячутся в щелочках между ними и щеками.

По рассказам о своем раннем детстве Томаш знал только два события, связанных с матерью, и часто думал о них, пока ему не начало казаться, что он помнит разные подробности. Однако это было невозможно, он был тогда совсем маленьким.

"Купальное место" представляло собой нечто вроде просвета в ряду деревьев, где всегда была тень, — туда можно было попасть, спустившись с поля к берегу Иссы. Мать положила его у дорожки и была уже в воде, когда увидела на жнивье бегущего в их сторону пса со свешенным языком и поджатым хвостом (а в округе было много случаев бешенства). Она выскочила, схватила Томаша и, голая, неслась наверх, в парк. Томаш сам не знал, откуда он взял это полотенце, которое она схватила, не глядя, и которое развевалось за ней; и каким образом он чувствовал ее страх, хватающий воздух рот, стук сердца. Видел он и пса — рыжего, с впальми боками, — и слышал позади его дыхание. Беспомощный, зависящий только от ее быстроты, он в ужасе замирал, боясь, что она не сможет бежать дальше, упадет. Впрочем, "она" была не более чем символом — даже не таким, как на фотографии, и не таким, как настоящая она, к которой он теперь мог ежедневно прикасаться. В разговорах с ней он упрямо возвращался к тому случаю и, после того как она все рассказывала, спрашивал: "А полотенце? Ведь там было полотенце". — "Какое еще полотенце?"

О втором событии Томаш не упоминал при ней вовсе. В полтора года он заболел дифтеритом и был при смерти, а мать, по точному описанию Антонины, билась головой об стену и шла по комнате на коленях, моля Бога о милости. Она подняла сложенные руки и поклялась: если Томаш выздоровеет, она пойдет в пешее паломничество к чудотворной иконе Божией Матери Остробрамской в Вильне. И ему тотчас полегчало. На вопросы об этом обете взрослые отвечали уклончиво: "Ну, понимаешь, такие времена: война, неразбериха, где уж ей об этом думать". И Томаш вынужден был смириться с тем, что паломничества она не совершила. Теперь это соединялось с беседами, которые она, Хелена и Мися обычно вели в ее комнате. Мать захватывающе описывала свои военные странствия недалеко от линии фронта или свой нынешний переход через границу — в диком лесу, ночью, одна с контрабандистом, который показал ей тропу; но там было так темно, что она заблудилась и боялась двинуться с места, чтобы не наткнуться на пограничников, поэтому спряталась в чаще, где дождалась рассвета. Хелена с восхищением приговаривала: "Что ты говоришь, Текла, что ты говоришь!" Но, оставшись один на один с Мисей, начинала со снисходительного: "Ну да, Текла вечно..." Это означало, что несерьезная, легкомысленная, невероятные приключения, а денег никогда нет, и так далее. Мися, стоя у печи, с удовольствием подзуживала Хелену; чтобы та высказывала побольше этих сахарных претензий, а глупая Хелена не понимала, что бабка просто потешается над ней. Однако Томаша эти замечания тетки очень ранили — ведь был тот обет. Может, и в самом деле легкомысленная? Откуда-то из глубины в нем поднималась обида за то, что она оставила его вот так, одного. Поймав себя на этом, он тут же признал, что виноват перед ней. Он искал, какое бы наложить на себя наказание, и выбрал самое суровое — запретил себе приходиться к ней по утрам в течение трех дней. Самое суровое, ибо могло показаться, что он не помнит о ней, занятый другими делами. Если у него снова появлялся соблазн осуждать ее, он закрывал глаза и заставлял себя вспоминать, какая она прекрасная и смелая.

Листья красные, Исса дымится среди порыжевшего аира. Иногда они запрягают лошадь и едут по деревням навещать друзей матери — еще с девичьих времен. Жбаны с пивом стоят на столе, и попыхивают трубки, и поднимаются стаканы, и дети, и собаки, и зеленые, расписанные цветами сундуки. Из сеней пахнет сыром, молочной сывороткой, яблоками, на перекладинах лестниц усаживаются куры: ленивое спокойствие избы в то время года, когда

работы в поле закончены, и хозяйство замыкается в себе, в прямоугольнике двора. Грязь на дорогах мягко хлюпает, переливаясь сквозь спицы колес. Печь уже топится, в сумерках хорошо смотреть на огонь и ни о чем не думать. Розовый свет, пусть все так и остается, — но постепенно угли гаснут, все меняется, темно, а двигаться не хочется.

Фитиль лампы, у которой абажур с одной стороны белый, а с другой зеленый, надо долго подрезать ножницами, чтобы он не оставлял на стекле черных следов. Томаш делает уроки, она откладывает спицы со свитером и слюнит карандаш, чтобы исправить его задачу. Потом придвигает стул к его стулу, они сидят, прижавшись друг к другу плечами, круг лампы, они здесь, а за окном в саду ухают совы.

Однако от случившегося нелегко освободиться. Как-то раз она спросила его, кем он хотел бы стать. Он покраснел и потупил голову.

— Я... Наверное, священником.

Она насмешливо смотрела на него.

— Что за глупости ты плетешь. Почему же именно священником?

— Потому что я... Потому что я...

Он глотал слезы, не в силах их остановить. Он не мог выдать из себя: "Потому что я не попал в козла и беспокоился, что ты забыла об обете", — впрочем, это была бы не вся правда.

— Потому что я... хуже других.

Благодаря тому, что священник носит сутану, ему можно быть не таким, как все люди, — предъявляемые к ним требования его не касаются. Вот что он пытался объяснить.

Выражение ее лица было таким, что он должен был добавить:

— Да, вот так.

— Ничего-то ты о себе не знаешь.

Он отвернулся и процедил сквозь зубы:

— Я не хочу быть один.

Так дверь открывается только раз: лицо над серым свитером под горло и незнакомка — лучится, зовет, ждет, влечет. Он, застыв, не может понять и внезапно, с криком — прыг, руки оплетают его: она. Нет, это уже никогда не повторится.

Сон спокоен. Она укутывает его одеялом, ее поцелуй ласково провожает его в гущу ночи. Ее шаги удаляются, а Томаш, уткнувшись носом в подушку, размышляет: что он может ей дать? Тетрадь с птицами? Нет, это было что-то другое. "Но ведь я люблю ее".

LXVII

Вечером накануне дня св. Андрея лили воск: у матери получился веночек из цветов или терний — неизвестно, а у него — плоский лист с тенью, напоминающей Африку; и на нем крест. Сразу после этого выпал снег, клубы пара вырывались изо рта людей, которые, входя, громко топали, чтобы стряхнуть с каблуков стеклянистую массу. Движущееся хрустящее месиво на Иссе превращалось в лед. Приближалось Рождество — не такое, как всегда: пустая тарелка, которую ставят в сочельник для странника, теперь действительно была для кого-то незнакомого, а не как в прошлые годы с тихой надеждой: вдруг приедет мать? Не Антонина, а она занималась теперь вместе с Томашем подготовкой к празднику: сама приготовила борщок с ушками⁹² и слижики.⁹³ Слижики — это кусочки теста, скатанного в валик, которые пекут, пока они не затвердеют как камушки. В тарелке их поливают сытой — на столе стоит

⁹² Польский борщок — процеженный овощной отвар, в который добавляют (в пропорции приблизительно один к одному) свекольный квас. В него кладут ушки, внешне напоминающие маленькие пельмени. На Рождество в качестве начинки для ушек чаще всего используют грибы.

⁹³ Слижики (лит. slizikai, польск. slizyki) — маленькое печенье с маком из дрожжевого теста.

полный ее кувшин. Сыта состоит из воды, меда и тертого мака. Томаша не слишком интересовали блюда между борщом и сладким. Он накладывал себе в глубокую тарелку клюквенный кисель и пухнул от любимого кушанья, а сено, которое кладут под скатерть в память о том, что младенец Иисус лежал в яслях, служило мягким матрасом для его локтей, когда он уже изнемогал от обжорства. Потом они с матерью пели колядки под елкой, и она учила его новым, незнакомым. Они зажигали конюшенный фонарь и шли на Пастерку,⁹⁴ увязая в рыхлом снегу.

Мать Томаша была женщиной практичной и решила, что на зиму они останутся в Гинье. В мороз переходить через границу слишком тяжело, а, кроме того, надо было подождать и по другим причинам. Дела отца Томаша шли по-разному, но чаще всего — скверно. После всевозможных перипетий с увольнениями он мыкал горе в должности муниципального чиновника. Хелена получала свою долю в виде земли, значит, и Текле что-то полагалось; но, чтобы раздобыть деньги, которые можно будет обменять на доллары, надо обмолотить и продать зерно, дождавшись хорошей цены. Пришла ей в голову и смелая идея, услышав о которой Хелена воскликнула: "Ты с ума сошла!" Идея заключалась в том, чтобы контрабандой провезти через границу пару лошадей: такой породы крепких низкорослых лошадок кроме как в Литве, нигде нет — значит, в подарок мужу. Но ведь она одна еле пробралась — как же с лошадьми? Глупости, все получится.

Эта граница, открытая только для контрабандистов, волков и лис, ибо город Вильно поляки считали своей собственностью, а литовцы — бесправно отнятой поляками столицей, была для многих сущим наказанием. Мать выбрала коней, четырехлеток, обоих буланных с темной полосой вдоль хребта. Кони эти должны были довести их до самого дома, причем она рассчитывала на свою удачливость и на то, что пограничников удастся задобрить, если поблизости не будет офицеров и если не получится проехать так, чтобы совсем никто не заметил.

Белый пух в оконных нишах и тишина, а в ней монотонное посвистывание снегирей, шелушащих семена сирени. Приближающееся путешествие пробудило в Томаше интерес к географии. Для этих уроков использовался немецкий атлас изданный в 1852 году. Мать исправляла в нем карандашом границы государств, ибо многие из них имели теперь другие контуры. В атласе не были обозначены ни Гинье, ни окрестные селения. Обижаться на это не имело смысла, но Томаш думал о картах вообще: ты тыкаешь пальцем в какую-нибудь точку, а там, под пальцем — леса, поля, дороги, деревни, ходит множество людей, и каждый из них особенный, чем-то отличающийся от других. Ты поднимаешь палец, и ничего нет. И если в костеле у него появлялся соблазн воспарить и смотреть сверху на коленапреклоненных людей, то здесь ему хотелось раздобыть волшебное увеличительное стекло, которое извлекало бы из бумаги все, что там кроется. Чем больше внимания уделяешь этому пространству с его очертаниями материков, кружочками и линиями, тем больше оно привлекает. Это все равно, что ваять две цифры — один и два — и представлять себе, что там между ними. Если бы можно было нарисовать карту; на которой были бы обозначены все дома и люди, — где каждый из них стоит или куда идет, — то ведь остались бы еще лошади, коровы, собаки, кошки, разнообразные птицы, рыбы в Иссе. А если и их нарисовать — то блохи на собаке, и блестящие жуки в траве, и муравьи, и так далее. Значит, карта всегда бывает неточной. И, корпя над ней, делаешь еще одно открытие: здесь, на стуле я один, а там, под моим пальцем, задержавшимся над пустым местом, где должно быть Гинье, — другой. Я указываю на уменьшенного себя. И этот другой "я" — не такой, как "я" здесь, но уравненный, смешанный с другими людьми.

День прибавлялся. Дедушка возвращался из поездки по делам в очень хорошем настроении, потому что его усилия наконец возымели действие. Ему обещали, что власти признают раздел Гинья между ним и Хеленой. В конечном счете донос Юзефа не повредил.

⁹⁴ Пастерка (польск. Pasterka) — полуночная рождественская месса, совершаемая в память о поклонении пастухов.

Юхневичи должны были переехать после Юрьева дня — их имение действительно парцеллировали.

Вот уже и Вербное воскресенье — правда, без зайчиков на вербах, среди мороза и снега: в этом году весна запаздывала. Потом из-под перегнивших листьев и хвои пробивались голубые цветы печеночницы, а Томаш размышлял, что это последняя весна, и, может быть, он уже никогда сюда не вернется. Он долго бродил по парку, пока, наконец, не присмотрел местечко на склоне, посреди квадратной полянки. Выкопав молодой каштан, он перенес его туда и посадил. Если когда-нибудь он снова окажется в Гинье, то первым делом побежит на эту полянку проверить, каким большим выросло его дерево.

Вода в Иссе была еще ледяной, только у берега из нее высывались первые трубочки листьев светло — зеленого цвета, а на середине отражались клубящиеся облака. Однажды на тропинке в прибрежных зарослях он встретил подругу своих детских игр Онуте. Время от времени он видел ее издалека, но теперь это произошло не так, как обычно. Она остановилась и какое-то мгновение разглядывала его как будто с любопытством, а точнее со странным выражением лица. Это была уже взрослая девушка. Она потупилась, а Томаш, почувствовав жар за воротником и на щеках, с суровым видом прошел мимо. За суровостью скрывалась дрожь, но Онуте могла подумать, что он, уже почти пан, пренебрегает ею. Так предполагал Томаш впоследствии, когда опасность миновала, и ему было обидно.

LXVIII

Через шесть месяцев после свадьбы Ромуальда и Барбарки у них родился сын. Голые черные борозды проглядывали на полях из-под тающего снега, но, хотя было начало апреля, опять подморозило, и в костел они везли его на санях. При крещении ему нарекли имя Витольд.

Хмурое небо, в лозняке каркали вороны, бич Ромуальда — с красной кисточкой, для парадных выездов — небрежным движением стегал коня по хребту. Барбарка приоткрывала клетчатый сверток и заглядывала внутрь: ребенок спал. Они ехали, разумеется, не зная ничего о времени, которое отмечено не только возвращением весен и зим, колыханием зреющих хлебов, прилетом и отлетом птиц. Земля, по которой скользили полозья выкрашенных в зеленый цвет саней, не была вулканической, из нее не извергался огонь, и никто здесь не думал о пожарах и потопах, свойственных человеческой истории.

Витольд раскричался перед самым домом. Барбарка положила его в колыбель-качалку и, укачивая, оглядывалась на накрытый праздничный стол. Быть хозяйкой у себя дома — большая радость. Когда она открывала дверцы буфета, где пахли испеченные ею булки, ее переполняла сладость, равная их сладости. Мои булки. Мой муж. Мой сын. И, что не менее важно, мой пол — половицы скрипят, и скрипят шнурованные башмачки. Итак, лицо ее сияло, входили гости, Ромуальд потирал руки и говорил: "Ну, Барбарка, давай подкрепимся".

Старуха Буковская, осмотрев внука, пришла к выводу, что он похож на сына не на невестку. Ей приходилось утешать себя и этим, и опрокидыванием рюмки за рюмкой. Потом за окнами сгущалась ночь, в ветвях посвистывал оттепельный ветер, и если бы кто-нибудь подошел, привлеченный светом, то увидел бы, как они смеются, тяжело откидываясь на спинки стульев, а собаки (которым зимой из-за холода разрешалось находиться в доме) чешутся посреди горницы. Когда собака чешет шею задней лапой, она стучит по полу, но стекло не пропустило бы звук.

Волк на краю леса поворачивает голову в сторону светящегося в темноте окна и с минуту наблюдает за непонятным людским жилищем, навсегда отделенным от того, что он способен постичь. А, может быть, такой квадрат привлекает и других, более смысленных существ? Правда, если это, к примеру, черти во фраках, то они скоро будут наказаны за интерес к происходящем внутри человеческих домов. Мелким делам они придают слишком большое значение, чтобы сохраниться в памяти жаждающих пропорции людей. Вскоре уже никто на берегах Иссы не будет рассказывать, что видел одного из них, болтавшего ногами на

мельнице, или слышал их танцы. Если бы и рассказывал, верить в это не стоит.

Оттепельный ветер был западным, с моря. На волнах между берегами Швеции и Финляндии, между ганзейским городом Ригой и ганзейским городом Данцигом качались корабли и гудели во мгле. Барбарка пеленала ребенка, держа его за ноги и слегка приподнимая маленькую попку, вызывавшую в ней умиление. Этого умиления, а также ее чувств, когда она расстегивала блузку и давала сыну грудь с голубовато просвечивающей жилкой, не следует выносить за пределы соответствующей им сферы опыта. На границе животного и человеческого суждено нам жить, и это хорошо.

LXIX

Приблизительно в это же время Ромуальд нанял нового батрака, Доминика Малиновского. Если Домчо впервые в жизни покинул Гинье, значит, у него были на то серьезные причины.

Они с хозяином, у которого он работал той зимой, стояли тогда в овине и молотили цепами зерно. Может быть, стычки можно было избежать, несмотря на то, что еще с утра все к ней шло. Домчо умел сдерживаться. Его рот всегда был узким и сжатым от утаивания того, что он хотел бы сказать, но не мог. В зрелость он входил все более похожим на тощую хищную птицу. Иногда его так и подмывало схватить этого негодяя за горло, но он знал, что поддаваться своим желаниям опасно. "Бух" — поднимал эхо цеп старика, "бах" — отвечал ему цеп Домчо. Так, на два голоса, они и работали. Потом сделали перерыв, потому что старик должен был вволю накричаться на кого-нибудь из домочадцев. Собственно, с этого все и началось.

Этим "кем-нибудь" была служанка того же возраста, что и Домчо, который считал ее глупой и напрасно дающей собой помыкать. Впрочем, неважно, какие он испытывал к ней симпатии, — довольно того, что теперь он сказал слово в ее защиту: А затем жилистая, ожесточенная сила старика столкнулась с силой Домчо, и он чувствовал под своим и пальцами это горло, держал его секунду в воздухе и швырнул на землю, так что тот аж застонал. Домчо выходил за ворота, слыша за спиной проклятия.

Миг торжества. "Ты не будешь мной командовать". Однако, подходя к избе возле парома, он начал думать, что из этого может выйти. И, действительно, вышло. Старик восстановил против него других богачей — они держались вместе, и с тех пор Домчо уже не мог рассчитывать у них на заработок. Нужно было искать работу — выпало в Боркунах.

А пока Домчо сидел дома и вырезал из дерева ложки, квашни и клумпы, чтобы каждый день приносил хоть немного денег. Иногда мать с лавки напротив наблюдала за его ловко сновавшими руками. Она говорила "земля", и тогда он поднимал глаза на ее изборожденное морщинами лицо, на рот в скобках двух глубоко врезавшихся складок кожи. Всегда одно и то же, ее ходатайство о получении земли по реформе. "Ведь Юзеф говорил". "Везде уже парцеллируют..." Домчо ничего не отвечал. Он склонял голову и вонзал свой нож в липовое дерево с большим, чем обычно вниманием. Задумавшись, он медленно вел лезвие к себе, прочерчивая длинную борозду.

LXX

Отъезд Томаша с матерью отложили до июня. Она велела приладить к телеге ореховые дуги, на них натянули кузов — как на цыганских повозках. До границы надо ехать сотню километров, оттуда еще около сорока — пригодится, если дождь, а кроме того, чтобы можно было спать в пути. Приготовила она и большой запас копченого сыра с тмином, копченых колбас и ветчин с дымком — таких, какие любил отец Томаша.

Накануне отъезда дедушка привел Томаша в свою комнату, закрыл дверь, сел и кашлянул. Потом начал говорить, что в городе люди испорчены, и надо быть осторожным, чтобы не попасть в дурную компанию, но тут же снова фыркнул носом — "тх, тх" — и,

казалось, сконфузился, потому что Томаш спросил, как отличить дурную компанию. "Ну, знаешь, водка, карты..." — тут дедушка привлек его к себе, и Томаша охватило сильное волнение, когда он целовал колючие щеки, пока внезапно дедушка не отстранил его и не начал искать по карманам платок.

В то утро Томаш завтракал, обжигая губы чаем, и вскочил, оставив стакан недопитым. За окном виднелся белый кузов телеги — все было погружено, последние торопливые разговоры. Он сбежал с крыльца, и — дальше, по покатоному газону, минуя ряд цветущих пионов. Кусочек долины между деревьями парка в утреннем тумане, над росами розовел погожий день, пели птицы. Он хотел запомнить. "Забудешь ты нас, ох, забудешь". Когда все собрались на ступенях, Антонина грустно брала его лицо в обе ладони. Щеки бабушки Миси пахли как мокрые ранеты. Люк пищал, чмокал, тискал. И благословения, и крестные знамения в воздухе. "Ну, Томаш!" — серьезно сказала мать. Они перекрестились. Он сжимал в руках жесткую кожу поводеев. При таких прощаниях всегда бывает момент, когда кто-нибудь должен это прервать — лучше всего неожиданно. Он взмахнул кнутом, колеса застучали; они слышали крики и, оглядываясь, видели за полотном кузова — в уменьшающемся проеме зеленого тоннеля аллеи — машущие платочки, поднятые руки.

Вот уже вожжи натянуты — они осторожно спускались по размытой дороге. Среди буйной листвы мелькнул скорбящий Христос. Сзади белая стена свирна. Томаш пустил коней рысью, и так они миновали дубы кладбища, под которыми навсегда оставались Магдалена, бабка и Бальтазар. Гинье исчезало за поворотом, впереди — неведомое.

Потом, когда кони взбирались в гору, в последний раз блеснула Исса, уложенная петлями на лугах. Родная река, ее вода сладка воспоминаниям. Мускулы под шерстью коней двигаются, они преодолевают подъем. На равнине Томаш щелкает кнутом и грозит: "Эй, ты, Бирник, я тябе!"

Коней, которые должны были оказаться за границей, вдали от мест, где они родились, звали Смилга и Бирник — в память о прежних хозяевах. Смилга был известен как честный и работающий конь: он из кожи вон лез, чтобы тянуть телегу, и потому не растолстел. Зато Бирник, равнодушный к ударам и толстый, как огурец, лишь делал вид, что тянет, взваливая всю работу на своего товарища. Правда, в гору Бирник взбирался с ожесточением: препятствие оскорбляло его лень, и он старался как можно быстрее преодолеть его.

Платок матери в разноцветных цветах, и примятое сено в мешке образовало ямку, — а ведь это только начало пути, — и ведро, чтоб поить коней, хоть и привязано крепко, все-таки бренчит, и с дышлом что-то не в порядке. Они едут по лесным опушкам, где кони размахивают хвостами, отгоняя слепней, — в сторону больших озер, тем самым путем, которым прибыла когда-то в гробу Магдалена. Есть там дуб, под ним в полдень можно сделать привал разложив на траве салфетку. Вечером перед ними откроется новый край, где, насколько хватает глаз, воды больше, чем земли, — озеро за озером, полуострова сливаются с разделяющими озера перешейками; скопления зеленых островков. Затем вниз, по холмам, между камнями — огромными и высокими, как застывшие звери. На лугах сенокос, мерно качаются ряды маленьких человеческих фигурок. На ночь они остановятся в рыбацкой деревушке - тишина, лодки, пахнувшие смолой, хрупанье жующих рядом коней.

Остается пожелать тебе счастья, Томаш. Твоя дальнейшая судьба навсегда останется домыслом, и никто не угадает, что сделает с тобой мир, в который ты стремишься. Черти с берегов Иссы трудились над тобой, как могли, остальное — не их забота. Ты теперь смотри за Бирником. Он опять засыпает, равнодушный ко всему, и не ведает, что благодаря тебе его когда-нибудь вспомнят. Ты поднимаешь кнут — и здесь наш рассказ обрывается.

Томас Венцлова. Послесловие

Чеслав Милош (1911–2004) написал роман "Долина Иссы" в самую трудную пору своей жизни. В феврале 1951 года он оставил польскую дипломатическую службу в Париже и стал "невозвращенцем". В сложных ситуациях он бывал и раньше — видел сталинскую оккупацию

в Вильнюсе в 1940 году, тайно пересек советско-польскую границу и оказался в занятой гитлеровцами Варшаве, а после поражения нацистов жил в "народно-демократической" Польше, ставшей сателлитом СССР. Уже до войны его справедливо считали первым польским поэтом своего поколения. Замечательные стихи военного времени укрепили эту репутацию. Человек левых, хотя и весьма своеобразных взглядов, Милош пытался сотрудничать с коммунистическим правительством, стал культурным атташе Польши в Вашингтоне, потом во Франции: однако ему самому, равно как и властям, становилось все яснее, что работать на сталинский режим он не может. Его отозвали в Варшаву; со скрипом разрешили опять выехать в Париж, и там он покинул польское посольство, найдя тайный приют у Ежи Гедройца — редактора эмигрантского журнала "Культура".

Много лет спустя, двенадцатого июля 1973 года. Милош писал Иосифу Бродскому, человеку сходной судьбы. "Вы наверняка сейчас не в состоянии заняться чем бы то ни было, ибо должны освоиться со множеством новых впечатлений. Это вопрос внутреннего ритма и его согласования с ритмом жизни, которая Вас окружает. <...> Предполагаю, что Вы очень беспокоитесь, как все мы из нашей части Европы, воспитанные на мифах, что жизнь писателя кончается, если он покидает родную страну. Но это миф, понятный в странах, где цивилизация долго оставалась крестьянской, и где большую роль играла "почва". Все зависит от человека и его внутреннего здоровья. <...> Первые месяцы изгнания очень тяжки. Не следует считать их мерой того, что случится позднее. Увидите, что перспектива меняется со временем. Желаю Вам пережить эти первые месяцы как можно лучше".

Это письмо Бродский называл главным письмом, которое он получил в жизни. Тогда он очень мало знал о Милоше, но вскоре оба стали близкими друзьями. Милош был живым примером того, что эмиграция для писателя не означает проигрыша и гибели. Однако он сам перенес не только первые месяцы, но и первые годы изгнания с огромным внутренним напряжением.

Причин тому было немало. В Польше его, разумеется, объявили предателем и дезертиром: в хоре проклинаящих были слышны голоса писателей — друзей или учителей Милоша — Ярослава Ивашкевича, Антония Слонимского, Константина Ильдефонса Галчинского. Многие эмигранты считали беглеца коммунистическим агентом, заброшенным на Запад со специальным заданием, и писали на него доносы соответствующим властям: эти доносы надолго закрыли Милошу въезд в Америку; где находилась его жена и дети. Исключением среди эмиграции были Гедройц и его группа, но тогда их трудно было назвать влиятельными: положение изменилось лет через десять, и как раз Милош способствовал этому более других. Нелегко было попросту выживать — поэт говаривал, что в первые годы оказался "на дне" в прямом смысле слова. Но эти трудности были скорее внешними. Глубинные сложности сводились к двум. Милош был из тех, кто очень связан с "почвой", с деревенской традицией, с обычаем, погружен в живую среду языка и литературы — обрыв связей с родиной казался ему концом писания, а следовательно, концом всего. Во-вторых, его отношения с марксистской доктриной были далеко не простыми. Он отталкивался от истмата, даже ненавидел его, но считал логически безупречным учением, которое неизбежно перекроит будущее человечества, обрекая противников на жалкую судьбу. В худшие минуты собственная жизнь казалась ему жизнью человека, изменившего гегелевскому "духу истории" — как ни ужасен был этот дух, воплотившийся в Сталине и его присных. Именно этому духу присягала почти вся западная интеллигенция от Пабло Неруды до Жана-Поля Сартра. Вначале едва ли не единственным крупным писателем, который поддерживал Милоша, был Альбер Камю, прошедший сходный путь — юношей он верил в марксизм, но совесть не дала ему склониться перед "исторической закономерностью".

От полного отчаяния и самоубийства спасала работа. За десять первых месяцев эмиграции Милош написал "Порабощенный разум" — эссеистическую книгу, которая часто и сегодня первой приходит на ум, когда вспоминают его имя. Это анализ того, какими путями интеллигенция "принимает коммунизм", хотя втайне пытается сохранить от него некоторую призрачную независимость (здесь играют роль и страх, и подкуп, но сводить дело только к

ним было бы слишком просто). Книга вышла почти одновременно — в начале 1953 года — по-польски, по-французски, по-английски и по-немецки: сейчас она доступна и русскому читателю. Появился прекрасный сборник стихов "Дневной свет", в который вошли вещи, не напечатанные в Польше (иначе говоря, извлеченные на свет Божий из рукописей), а также написанное уже в эмиграции. Роман "Захват власти" — пожалуй, несколько более слабый, чем другая проза Милоша, — был издан на европейских языках раньше, чем по-польски, — и получил литературную премию, что поправило дела поэта. Несколько позднее была опубликована книга воспоминаний "Родная Европа". Все эти произведения с трудом, но проникали и в Советский Союз. Я помню, как читал "Родную Европу" в Вильнюсе. Она попала в город, который Милош считал своим, в письмах, присланных разным адресатам, отдельными страницами (иногда в страницы ради пущей конспирации были завернуты конфеты). За полтора года таким образом передали всю книгу — только две страницы потерялись при пересылке.

С течением лет Милош стал работать в Конгрессе Свободы Культуры, созданном еще в 1950 году. Постоянным участником Конгресса был Камю, а кроме него Бертран Рассел, Джон Дос Пассос, Артур Кестлер, Франсуа Мориак, Карл Ясперс. Итальянец Иньяцио Силоне придумал для Конгресса девиз "habeas anīmam" ("каждый имеет право на душу"). Оказалось, что единомышленников у польского изгнанника все же немало. Но преодолеть эмиграционный шок и обрести новую перспективу помогла прежде всего "Долина Иссы".

Говоря об этом романе, Милош всегда вспоминал своего "терапевта" — писателя и мыслителя Станислава Винценза. Человек другого поколения (он родился на двадцать три года раньше Милоша), Винценз обладал отчасти сходным опытом. Дальний потомок французских иммигрантов, он родился и вырос в теперешней Западной Украине (как Милош в Литве), был с головой погружен в тамошнюю традицию и оставил книгу "На высокой полонине" — эпос, отчасти философский трактат о жизни гуцулов и евреев-хасидов в окрестностях Станиславова, ныне Ивано-Франковска. Первая часть этой огромного сочинения появилась еще в 1930-е годы. Когда в его родные места пришли Советы, Винценз не избежал тюрьмы, но вышел из нее и через Яблоницкий перевал бежал в Закарпатье (тогдашнюю Венгрию); потом с приключениями добрался до родины предков — Франции. Он поселился в альпийских горах у Гренобля, в крестьянском доме, и продолжал дело своей жизни. К нему по совету Гедройца Милош стал ездить еще летом 1951 года — в самое тяжелое для себя время. Беседы с Винцензом, по словам поэта, были своего рода экзорцизмами, то есть, изгнанием бесов. Именно Винценз помог ему вернуться к своим корням и найти в них опору. Оказалось, что эмиграция не есть непоправимый разрыв с родной почвой, традицией, языком, скорее она помогает углубить с ними отношения — как помогла изгнанному из Украины писателю в Альпах. Кроме этого, Винценз учил, что важнее всего интерес к здешнему, земному миру, к его мелочам и оттенкам — они сильнее, чем головные доктрины, сковывающие и отравляющие сознание. Богословские познания Винценза были полезны в долгих разговорах, которые подводили к решению вопроса, занимавшего Милоша всю жизнь *unde malum*, откуда зло — и столько зла — во вселенной, коль скоро полагается, что ее Создатель всеблаг.

"Долина Иссы" — один из трех романов Милоша, причем несомненно лучший (два других — схематичный "Захват власти". а также "Парнасские горы", странная, незавершенная, оставшаяся в рукописи вещь, которую можно с некоторой натяжкой отнести к научной фантастике). Работа над романом была начата осенью 1953 года. "Культура" публиковала его глава за главой, а отдельной книгой издала в 1955 году. Через год "Данина Иссы" появилась и по-французски в переводе Жанны Херш. Хотя Альбер Камю был от "Долины" в восторге и сравнивал ее с трилогией Толстого "Детство. Отрочество. Юность", во Франции роман успеха не имел: рецензенты, склонные поддерживать ангажированную, то бишь антикапиталистическую, просоветскую литературу, обвиняли его в эскапизме и в поисках легкого решения социальных проблем. В шутку, а может и не совсем в шутку, Милош писал Гедройцу, что это книга "о дьяволах и вурдалаках". Действительно, о чертях идет речь уже во второй главе, после краткого географического введения. Невидимые силы зла иногда ощутимо

вклиниваются в действие, а несколько побочных историй приобретают почти мифологический характер (мертвая Магдалена — по крайней мере в воображении сельских жителей — ведет себя как упырь, пока ее не пронзают осиновым колом). Но это лишь внешняя сторона милошевской метафизики. Роман пронизан вполне серьезными религиозными мотивами. Одновременно это роман воспитания, история о том, как пробуждается и созревает сознание ребенка — Томаша Дильбина, говорящего по-польски литовского шляхтича, несомненного авторского двойника.

На первый взгляд, произведение Милоша кажется традиционным: оно написано ясным и простым языком и внятно по композиции. Хотя в нем попадаются отступления, вводные эпизоды, а изложение событий не всегда линейно, нельзя утверждать, что Милош прибегает к формальным экспериментам. "Долина Иссы" скорее продолжает опыт польской региональной прозы. В чем-то она перекликается с книгами усадебного реализма, такими как романы Юзефа Вейссенгофа и Марии Родзевичувны, хотя значительно превосходит их по качеству. Впрочем, явные параллели к милошевской книге можно обнаружить не только в польской, но и в литовской литературе, у таких писателей, как Шатрийос Рагана или Винцас Креве. Интересно, что несколько раньше Милоша книгу "о чертях и вурдалаках" издал литовец Казис Борута, стихи которого Милош переводил на польский в 1930-е годы. Это был полуфольклорный роман "Мельница Балтарагиса" (1945), вышедший в советизированной Литве и вскоре запрещенный (сам Борута угодил в сталинскую тюрьму). О "Мельнице Балтарагиса" Милош узнал через много лет после выхода своей книги, а все же это совпадение поучительно. Можно говорить о дальних перекличках с русской классикой — кроме Толстого, что отметил Камю, скажем, с Аксаковым, а с другой стороны и с Гоголем "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Однако традиционность, даже некоторая старомодность "Долины Иссы" — иллюзорна: на самом деле это сложная современная вещь, требующая обширного комментария.

Прежде всего стоит объяснить автобиографическую подкладку романа, а заодно и необычную социально-этническую структуру изображенного в нем мира. Милош, как и его предшественник Адам Мицкевич, говорил, что он родом не из Польши, а из Литвы. Но в случае Мицкевича это парадокс: когда в первой строке "Пана Тадеуша" звучит возглас "Отчизна милая, Литва", имеются в виду окрестности Новогрудка, то есть не современная Литва, а Беларусь (называвшаяся "Литвой", так как до конца XVIII века она принадлежала Великому Княжеству Литовскому). Кстати, Милош в детстве удивлялся, почему в "Пане Тадеуше" изображены буки, которых в Литве нет — об этом сказано на первой странице "Долины Иссы". Сам он родился в настоящей Литве, даже в ее центре — селении Шетейне (по-литовски Шетеняй) на берегу Невяжи (Нявежис), на север от Ковно (Каунаса). В романе Невяжа-Нявежис превращается в Иссу, а Шетейне в Гинье (по-литовски, вероятно, было бы Гиняй, Giniiai). Имя "Исса" взято у соседней — километрах в пятидесяти — реки Дубисы; в его написании ощущается извилистость, а в звуке слышно шипение ужа — существа, важного для местной мифологии.

Как видим, каждый топоним в этих краях имеет две формы славянскую и более древнюю балтийскую, сиречь польскую и литовскую. Дело в том, что литовское дворянство — шляхта — в XVI–XVII веках перешло на польский язык, а литовский сохранился главным образом среди крестьян. В романе об этом то и дело говорится. "Например, когда мальчишки бегут голые, чтобы бухнуться в воду, они не могут кричать ничего кроме: "Ej, Vugai!", то есть: "Эй, мужчины!" Vir, как узнал Томаш впоследствии, по-латыни значит то же самое, но литовский, вероятно, старше латыни".⁹⁵ Служанка Антонина (ее прототип — реальная нянька Милоша Антанина Рупис) говорит на мешанине двух языков, литовский для нее родной, а польский — приобретенный.

Все это слегка напоминает Ирландию Йейтса и Джойса, где господствует английский, в то время как архаичный гэльский (на английский совершенно не похожий) оттеснен в

⁹⁵ Здесь и далее цитаты из романа приводятся в переводе Н. Кузнецова

провинциальные углы. Впрочем, он сохранил свой престиж и считается особо поэтическим — Йейтс на нем иногда писал, а Джойс им серьезно интересовался. Но литовский сохранился куда лучше гэльского — начиная с XIX века он стал возрождаться, превратился в литературный, потом и в государственный, в конце концов вытеснил (или почти вытеснил) польский. В детстве Милоша польский еще обладал прерогативами языка высшего сословия, иначе говоря, языка культуры. В долине Иссы-Нявежиса это было заметно лучше, чем во многих иных местах. Вес шляхты там был особенно высок. Писатель-классик Генрих Сенкевич — которого Милош, правда, не любил — в очень популярном историческом романе "Потоп" описал этот край как землю обетованную польского рыцарства. Литовские крестьяне вместе со шляхтой участвовали в восстании против царизма в 1863 году. Как правило, они понимали польский (язык народных песен в романе — обычно диалект польского, близкий, кстати, и к белорусскому), а шляхтичи худо-бедно могли объясниться по-литовски. При этом люди из высшего слоя не только сохраняли литовские по происхождению фамилии, но и считали себя литовцами; они говорили на польском языке, но противопоставляли себя, иной раз даже резко, так называемым "короняжам" — полякам из Варшавы или Кракова ("короняж" по происхождению, Ромуальд Буковский в романе осознается как "неполностью свой"). Конец этому странному сосуществованию народов и языков положил XX век. В 1918 году Польша и Литва, отделившись от российской империи, восстановили свою независимость. Отношения между двумя новыми государствами сложились скверно. Предполагалось, что в Литве должны жить прежде всего литовцы, а полякам следует убраться в Польшу. Родители Милоша должны были переехать из Шетейне (ныне Шетеняй, и никак иначе!) в Вильнюс, который оставался польским еще двадцать лет. Уехал и малолетний Чеслав — уходом его двойника Томаша из родных мест кончается роман.

Этнический узор тогдашней Литвы передан в "Долине Иссы" с немалой точностью. По форме имен и фамилий можно судить о литовском или польском самоотождествлении. Пакенас, Вацконис, колдун Масюлис, "погирский американец" Балуодис — явные литовцы, об этом говорит древнее, исчезнувшее в славянских языках окончание "с". Девочка Онуте, с которой Томаш проходит первые уроки секса — литовка (по-польски она была бы Ануся). Домчо Малиновский. Сыпневский, Шатыбелько, ксендз Монкевич, тетка Хелена Юхневич, не говоря уже о "чужаках" Буковских — поляки, или по крайней мере склоняются к польской стороне. Гора Вилайнай — литовское название, деревня Погиры — колонизированное (по-литовски Погиры несомненно называются Пагирай, то есть "Полесье"), Даже имя коровы Марге — явно литовское, оно означает "Пеструха".

Впрочем, семья Томаша, да и многие другие семьи находятся как бы на грани: Дильбин и особенно Сурконт — литовские по происхождению фамилии, в далеком прошлом, по-видимому, Дильбинас и Суркантас. Но так как семья уже не в первом поколении говорит по-польски, она постепенно вытесняется как "панская", "чужеродная". Появляются литовцы нового поколения, такие как учитель Томаша Юзеф (сам себя очевидно, называвший Юозапас или Юозас). "Он принадлежал к тому племени, которое летописцы нашего времени окрестили националистами, — то есть жаждал трудиться во славу Имени. И здесь была загвоздка, причина его обид. Он-то, конечно, имел в виду Литву, а Томаша должен был учить читать и писать прежде всего по-польски. То, что Сурконты считали себя поляками, он расценивал как предательство — трудно найти более здешнюю фамилию. И ненависть к панам — за то, что они паны, сменившие язык, чтобы еще больше отгородиться от народа, и невозможность ненавидеть Сурконта, который именно ему доверил внука, и надежда, что он откроет мальчику глаза на величие Имени, — все эти смешанные чувства выражались в покашливании, когда Томаш листал перед ним хрестоматию. С другой стороны, бабка Томаша Мися Сурконтова "была очень недовольна этими уроками и братанием с "холопами" она не допускала и мысли о существовании каких-то там литовцев, хотя ее фотография могла бы послужить иллюстрацией к книге о том, какие люди веками жили в Литве". Трения приводят к слепой ненависти и даже к преступлениям. В разговоре с Вацконисом Юзеф утверждает: "все славяне — что поляки, что русские — одна дрянь, а сам Вацконис шныряет в окно Томаша гранату,

которая закатывается под его кровать, но не взрывается. Все это — признаки нового иска, куда более нетерпимого и жестокого, чем прежние. Не следует удивляться, что в сознании Томаша зарождается недоверие, когда при нем слишком много рассуждают о гербах и знаменах. Является "нечто вроде двойной привязанности" Здесь очевиден автобиографический подтекст: Милош был одинаково привязан к Польше и Литве, предпочитал называть себя не поляком и не литовцем, а последним гражданином Великого Княжества Литовского — в чем-то более человеческой страны.

Любопытно, что герой "Долины Иссы" в ранней рукописи должен был носить фамилию Валенис. Милош мыслил его как этнического литовца, отпрыска состоятельной крестьянской семьи, который должен был стать священником и епископом. Духовную стезю в те времена избирали многие литовские интеллигенты, в том числе писатели и поэты. В царскую эпоху только она была доступна для литовца, получившего образование, но желающего оставаться в Литве, прочие должны были искать себе работу в других углах империи. Валенис — не случайная фамилия: исследователи установили, что она встречалась и встречается в родных местах Милоша. Дочь управляющей именем Шетейне, Жукаускайте, вышла замуж за Антанаса Валениса (кстати, их сын, тоже Антанас, в 2000–2006 годах был министром иностранных дел Литовской республики). Но вскоре Милош решил сделать Томаша не крестьянским сыном, а шляхтичем, придав его семье черты своей собственной. Дильбины — это Милоши (по-литовски Милашюсы), отцовская ветвь, а Сурконты — это Купаты (по-литовски Кунотасы), материнская ветвь. Многие факты и имена взяты из семейной хроники. Текла — мать Милоша Вероника, бабушка Мися — ее мать Юзефа Сыруць (Сирутис). Однако в конце романа Томаш также хочет стать ксендзом: религиозная проблематика в романе остается стержневой.

Этот стержень придает "Долине Иссы" новые уровни сложности. Метафизика романа двоится: под христианским слоем просвечивает более древний и примитивный, изображенный не без юмора или иронии, но все же значительный. И поляки, и литовцы — католики. Но в среде, говорящей по-литовски (в меньшей степени в польскоязычной), очень долго сохранялись — пожалуй, и сейчас сохраняются — остатки язычества. Литва крестилась последней в Европе: та ее часть, что на восток от Иссы-Нявежиса, приняла новую веру в 1387 году, та, что на запад — только в 1413-м. Реликты язычества — в легендах, гаданиях, обычаях, песнях — Милош подчеркивает на каждом шагу. Часть из них, несомненно, восходит к реальным воспоминаниям его детства и юности, часть заимствована из книг польских и литовских романтиков — они также были ему знакомы с ранних лет. Такова, например, история Сауле-солнца, Месяца и громовержца Перкунаса, известная по первому сборнику литовских народных песен который и 1825 году издал профессор Кенигсбергского университета Людвиг (Людвикас) Реза. Рассказы о разнообразной нечисти напоминают о прославленном сборнике с занятным названием "Из жизни привидений и чертей" (1903) литовского фольклориста, национального деятеля Ионаса Басанавичюса. Когда деревенские девушки поют песню о женихе-мертвце, в ней легко увидеть древний сюжет Леноры — русскому читателю знакомый по балладам Жуковского. Другие мифические мотивы можно найти в сочинениях историка Теодора Нарбута, жившего в середине XIX века: Нарбут не чуждался стилизации и прямого вымысла, но именно поэтому был — и по сей день остается — очень популярным. Из Нарбута взят, например, идол Рагутис, литовский Вахх или Приап, статуя которого смущает ксендза Монкевича:

"Настоятель гневно хмыкал, ерзя на стуле, когда читал о неслыханном изобилии богов и богинь, почитавшихся некогда в стране, и узнавал знакомые, на удивление стойкие суеверия, над искоренением которых трудился. Неизвестно, душеполезно ли такое чтение. К примеру, закрываешь ты книгу, снимаешь очки и приступаешь к другим делам, как вдруг совершенно неожиданно встает перед тобой образ Рагутиса — такого, каким его откопали где-то в лесных песках. Толстый божок пьянства и разврата, вырезанный из дубовой колоды, лукаво усмехается: его ступни в деревянных башмаках огромны — он стоит на них, не нуждаясь в опоре, во всей своей старательно изображенной непристойности, *in naturalibus*. И не думать о

нем решительно невозможно.

Костел в Гинье построен на месте древнего языческого капища. Тетка Томаша отправляется к колдуну за лекарством для овец, и это считается совершенно естественным. Местные жители уверены, что излечиться от укуса гадюки "можно с помощью заговора, или прижигая рану раскаленным докрасна железом, или напившись до белой горячки, но лучше всего применять все три средства одновременно". Язычество и христианство причудливо перемешаны в сознании бабушки Миси Сурконтовой: "Интересовалась она прежде всего колдовством, духами и загробной жизнью. Из книг читала только жития святых, но, по-видимому, ее не занимало их содержание, а пьянил и приводил в мечтательное состояние сам язык, звучание благочестивых фраз. <...> В разных мелких происшествиях она угадывала предостережения и указания Сил. Ибо в конечном счете надо знать и уметь правильно себя вести — тогда окружающие нас Силы служат и помогут". У бабки многое унаследовал сам Томаш: "...он был одиноким ребенком в царстве, которое менялось по его воле. Черти, быстро съезживавшиеся и прятавшиеся под листьями, когда он подбегал, вели себя как куры, которые, всполошившись, вытягивают шею и таращат глупый глаз". Переходя от литовской мифологии к ее "метамифологическому" обсуждению, Милош говорит.

"Может быть, трухлявые ивы, мельницы и заросли по берегам особенно удобны для существ, которые поназываются людям, только когда сами того пожелают. Видевшие их говорят, что черт невысок, ростом с девятилетнего ребенка, носит зеленый фрак, жабо и белые чулки, волосы заплетает в косицу, а в башмаках с высокими каблуками пытается скрыть копыта, которых стесняется. К этим рассказам следует относиться с некоторой осторожностью. Весьма вероятно, что черти, зная суеверный трепет народа перед немцами — людьми торговыми и учеными, — стараются придать себе серьезности, одеваясь как Иммануил Кант из Кенигсберга. Недаром на берегах Иссы нечистую силу называют еще "немчиком" — имеется в виду, что черт стоит на стороне прогресса. Однако трудно предположить, что они носят такие костюмы ежедневно. <...> И как отличить существ, появившихся здесь с приходом христианства, от других, прежних местных жителей: от лесной колдуньи, подменяющей детей в колыбелях, или от маленьких человечков, выходящих ночью из своих дворцов под корнями черной бузины? Есть ли между чертями и прочей тварью какой-то сговор, или они просто живут друг возле друга, как сойки, воробьи и вороны? И где тот край, куда прячутся те и другие, когда землю давят гусеницы танков, у реки копают себе неглубокие могилы приговоренные к расстрелу, а среди крови и слез, в ореоле Истории, встает Индустриализация? Можно ли представить себе съезд в пещерах — глубоко в недрах земли, где уже жарко от огня жидкого центра планеты, — на котором сотни тысяч маленьких чертей во фраках серьезно и с грустью слушают ораторов, выступающих от имени центрального комитета ада?"

Здесь — под покровом иронических фраз — скрыты крайне серьезные и важные для Милоша темы: речь идет о рационализме, духе науки и прогресса, которые в XX веке привели к безумию и аду на земле. От архаических, даже смехотворных верований перебрасывается мост к богословию — а также и к истории. Мировое зло всегда было в центре философских раздумий Милоша. Он многие годы интересовался манихейством и даже пытался как-то соединить его элементы с христианским учением (манихейство — гностическая религия, полагающая зло активной силой, а не просто нехваткой добра). Надеждой и даже амбицией Милоша было создание некоей "пострационалистической" науки, учитывающей опыт таких мыслителей, как Эммануил Сведенборг, Уильям Блейк и старший родственник самого поэта, французский автор Оскар Милош: эта наука рассматривала бы человека не как результат биологической эволюции, а как странное существо, одинокое во вселенной, таинственное для самого себя и постоянно преодолевающее свои границы. Можно по-разному оценивать эти взгляды Милоша, но он был последователен.

"Долили Иссы" — в сущности богословский роман, сниженный с традицией Достоевского: он говорит о добре и зле, а также о грехе и благодати, каре и прощении, предопределении и свободе. В него не случайно вторгается глава о далеком предке Томаша

Иерониме Сурконте, а через него — о кальвинистах и арианах, которые всю жизнь занимали Милоша. Кальвинизм, кстати, сохранился в его родных местах. Отзвуки давних религиозных споров живы в милошевской Литве, которая отличается редкостным разнообразием вероучений. Здесь присутствуют не только католичество и протестантство, но и православие (уместно вспомнить, что совсем рядом с Шетеняем, по другую сторону Иссы-Нявежиса было имение Петра Столыпина). Присутствуют иудаизм и даже мусульманство: мятущийся Бальтазар идет за помощью к раввину, а Томаш находит в семейной библиотеке Коран — книгу, которая учит, "как человек должен поступать, что можно, а чего нельзя". Во многочисленных человеческих драмах, составляющих сюжетные линии романа, выражены трансцендентные, метафизические мотивы: при этом Милош не боится домысливать все до конца, во всяком случае до того конца, где умолкает человеческий разум.

Метафизика по-своему явлена уже в судьбе Ромуальда Буковского и его Барбарки, которые существуют скорее в мире рода, чем в мире духа ("На границе животного и человеческого суждено нам жить, и это хорошо", — говорит о них автор). По-другому она просвечивает в примитивном богоборчестве Домчи Малиновского, который садистически убивает собаку, кощунственно издевается над облаткой (частый сюжет литовского фольклора) и вообще верит не столько в Бога, сколько в ужей и водяных. В этом крестьянском парне можно угадать будущего коммуниста или — скорее — террориста-эсера: кстати, последних в межвоенной Литве было много, и некоторых из них Милош знал. Более глубоки истории самоубийцы Магдалены и убийцы Бальтазара. Магдалена — современная Ева, согрешившаяся с ксендзом Пейксвой и от этого погибшая, открывает для Томаша вечный вопрос, "почему я — это я? Как это возможно, что, обладая телом, теплом, ладонью, пальцами, я должен умереть и перестать быть собой?" Ее богооставленность — следствие чрезмерной сосредоточенности на себе: "Чтобы отравиться крысиным ядом, надо потерять всякую надежду, да к тому же так поддаться своим мыслям, что они заслонят собой весь мир, пока человек не перестанет видеть ничего, кроме собственной судьбы". Будет ли она прощена — или она настолько отвернулась от Иного, что это стало невозможным? И будет ли прощен загубивший ее ксендз Пейксва? В судьбе лесника Бальтазара очевидны отзвуки Достоевского (возможно, лесник — побочный сын деда Сурконта, как Смердяков — побочный сын Федора Карамазова). Это история душевной болезни, но также почти средневековая история одержимости дьяволом — духом лжи и отчаяния. Не в силах справиться со своей совестью, Бальтазар бунтует против того, что земля — это земля, а небо — небо, и ничего больше: пораженный "распадом вещей", он умирает в уверенности, что предопределен к гибели — словно потерявший всякую надежду кальвинист. А может быть, надежда появляется в последнее мгновение? Не нам знать.

Природа вызывает в созревающем уме Томаша все те же вопросы: что есть предопределение и что есть свобода воли. "Но там, на другом берегу, осталась его утка. Что она делает теперь? Чистит клювом перья, с криканьем хлопает крыльями и благодарит за радость после миновавшей опасности. Кого благодарит? Постановил ли Бог оставить ее в живых? Если да, значит, это Он подсказал Томашу не стрелять. Но почему в таком случае ему казалось, что все зависит только от его воли?" Убийство и агония белки открывает ему глаза на то, что мир сей построен на страдании: природа есть бесконечная цепь смертей. Это было постоянным предметом манихейских размышлений Милоша, а впрочем, не его одного: подобным мыслям предавались, например, русские обериуты, особенно Заболоцкий. Мир лежит во зле. Однако это не есть конечный вывод "Долины Иссы".

Мир есть также дар человеку, дворец, данный ему для радости и благодарения. Милош часто говорил о метафизической основе "Пана Тадеуша" — лес и травы, домашний быт и утварь, земледелие, ремесла приобретают у Мицкевича измерения первозданного рая. "Долина Иссы" во многом следует знаменитой польской поэме (кстати, тоже написанной в эмиграции, в Париже). К Мицкевичу непосредственно отсылают сцены охоты, играющие в романе существенную роль, даже рассказы Ромуальда о таинственных, недоступных для человека областях леса, где водятся опасные, а все же любопытные существа. Сходны пейзажи, описания деревенской жизни, язык, полный специфических терминов и этим

приводивший в отчаяние первую переводчицу романа на французский язык Жанну Херш. Стоит заметить еще одну параллель: и в "Пане Тадеуше", и в "Долине Иссы" мать поручает ребенка, попавшего в опасность, опеке Остробрамской Мадонны (хотя мать Томаша — как это было в реальной жизни с матерью Милоша — не исполнила свой обет).

Хищная острота авторского взгляда, подмеченная многими критиками, с одинаковым успехом передает и конкретный, пластичный образ описываемого мира, и его гераклитовскую изменчивость, и непреходящую гармонию, которая существует как бы на лезвии ножа, но все же существует. Мир в "Долине Иссы" искупается прежде всего памятью — и данной в памяти надеждой. "Никто не живет один: человек беседует с теми, кого уже нет, их жизнь воплощается в нем, он поднимается по ступеням и, идя по их стопам, осматривает закоулки дома истории. Из их надежд и поражений, из знаков, которые после них остались — будь то даже одна высеченная в камне цифра, — рождаются покой и сдержанность в суждениях о себе. Тем, кто умеет их обрести, дано великое счастье. Они никогда и нигде не чувствуют себя бездомными — их поддерживает память обо всех, кто, подобно им, стремился к недостижимой цели". Пожалуй, наиболее точная формула преодоления мирового зла дана в одной из лучших сцен романа — сцене смерти бабки Дильбиновой: "Если бы при этом присутствовал ксендз Монкевич, он мог бы засвидетельствовать поражение Невидимых. Ибо закону, гласящему, что все умершее рассыпается в прах и навеки гибнет, бабка противопоставила единственную надежду — Поправшего закон".